АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1982

СОДЕРЖАНИЕ

Иванов В. В., Трубачев О. Н. (Москва). Федот Петрович Филин . . 3
Трубачев О. Н. (Москва). Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики 10

К 1500-ЛЕТИЮ ГОРОДА КИЕВА

Русановский В. М. (Киев). Роль Киева в развитии литературных языков Киевской Руси 27
Франчук В. Ю. (Киев). Киевская летопись как памятник языка 41

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Бертельс А. Е. (Москва). Разделы словаря, семантические поля и тематические группы слов 52
Азербаев Э. Г. (Москва). К происхождению порядковых числительных в тюркских языках 64
Винтер В. (Киль). О маркированности, соответствии норме и «естественности» 72
Шендельс Е. И. (Москва). Совместимость/несовместимость грамматических и лексических значений 78
Арнольд И. В. (Ленинград). Импликация как прием построения текста и предмет филологического изучения 83

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Дегтярев В. И. (Ростов-на-Дону). Собирательность и категория числа в истории славянских языков 92
Гринавецкис В. З. (Вильнюс). Развитие аттракции ударения в говорах и литовского языка 102
Поломэ Э. (Остин). Социолингвистически ориентированное обследование (Анализ деятельности Комиссии по изучению роли языков и их преподавания в Восточной Африке) 109
Ольдерогге Д. А., Жуков А. А. (Ленинград). Африканские языки и общая лингвистика 121
Голышенко В. С., Демьянов В. Г., Котков С. И. (Москва). Об одном «освещении» изданий памятников древнерусского языка 126

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Бельчиков Ю. А. (Москва). *Граудина Л. К.* Вопросы нормализации русского языка 132
Дерягин В. Я. (Москва). *Одинцов Г. Ф.* Из истории гиппологической лексики в русском языке 135
Мордовина С. П. (Москва). *Pennington A. E.* Grigorij Kotošixin. O Rossii v carstvovanie Alekseja Mixajlovica 137
Ольдерогге Д. А., Сова Л. З. (Ленинград). *Ahmed Chamanga M., Gueunier N.-J.* Le dictionnaire comorien-français et français-comorien de R. P. Sacleux 139
Москальская О. И. (Москва). Grundzüge einer deutschen Grammatik . . . 142
Кривоносов А. Т. (Москва). *Lütten J.* Untersuchungen zur Leistung der Partikeln in der gesprochenen deutschen Sprache 145
Корди Е. Е. (Ленинград). Relations prédicat-actant(s) dans les langues de types divers 151
Сухачев Н. Л., Казанский Н. Н. (Ленинград). Aspects de l'éspace en

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 154

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-92-04

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука», «Вопросы языкознания», 1982 г.

ФЕДОТ ПЕТРОВИЧ ФИЛИН
(1908—1982)

ФЕДОТ ПЕТРОВИЧ ФИЛИН

(1908 — 1982)

Член-корреспондент АН СССР Ф. П. Филин, директор Института русского языка АН СССР, главный редактор журнала «Вопросы языкознания», исследователь и руководитель исследований, словарей и важных научных мероприятий, умер 5 мая в возрасте семидесяти четырех лет. Смерть застала его на посту, при исполнении этих ответственнейших обязанностей, в момент обдумывания планов будущих работ.

Из жизни ушел человек, полувековая научная деятельность которого была неразрывно связана с историей отечественного языкознания. Жизненный и научный пути Ф. П. Филина — это пути человека, прочно связавшего свою судьбу с судьбой своего народа.

Ф. П. Филин родился в крестьянской семье. Начиная со вступления в ряды Российского Коммунистического Союза молодежи, проявилась общественная активность Федота Петровича, которую он сохранял всю жизнь.

Влияние на формирование научного мировоззрения молодого аспиранта, а затем ученого таких крупных деятелей науки, как Н. Я. Марр, И. И. Мещанинов, С. П. Обнорский, Б. М. Ляпунов, Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский, В. М. Жирмунский помогло развитию у Федота Петровича живого интереса к истории русского языка, к диалектологии, к историческому прошлому русского народа, к общим вопросам науки о языке, особенно к идеям развития языка в связи с развитием мышления и общества, к проблемам социальной лингвистики.

После аспирантуры Ф. П. Филин в 1936 г. начинает работать в Институте языка и мышления и преподает в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена. На основе этих лекций позже Ф. П. Филин создал книгу «Очерк истории русского языка до XIV столетия» (1940). В 1936 г. выходит в свет его первая крупная монография — «Исследование о лексике русских говоров. По материалам сельскохозяйственной терминологии». Это был первый в изучении русских народных говоров опыт системного исследования цельной тематической группы диалектной лексики. Федот Петрович стремился воссоздать историю сельскохозяйственной терминологии, установить способы образования терминов и их семантическую структуру, показать их территориальную распространенность. В этой книге Ф. П. Филин выступал как лексиколог, опирающийся на показания диалектной лексики при решении вопросов истории языка и истории народа. Для него было совершенно ясно, что дальнейшее развитие историко-лингвистических и диалектологических исследований не может быть успешным без применения методов ареальной лингвистики. Необходимо было создавать диалектологический атлас русского языка, и Ф. П. Филин со всей присущей ему энергией начинает эту сложную работу.

В 1936 г. по плану Ф. П. Филина организуется экспедиция по собиранию материалов для атласа в район озера Селигер. По материалам этой экспедиции Федот Петрович совместно с М. Д. Мальцевым создают «Лингвистический атлас района озера Селигер» (опубликован в 1949 г.) — первый опыт картографирования диалектных особенностей определенного района.

Война прервала эту работу. Ф. П. Филин как коммунист и как патриот в первый же день войны подал заявление с просьбой послать его добровольцем на фронт.

В марте 1946 г. Ф. П. Филин вернулся к научной работе во вновь организованный Институт русского языка АН СССР, сначала — заведующим Сектором диалектологии (в Ленинградском отделении), а после защиты в 1947 г. докторской диссертации — заместителем директора Института. В 1949 г. вышла в свет монография Ф. П. Филина «Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописей)» — итог многолетних разысканий Федота Петровича в области русской исторической лексикологии. В этой книге он поставил вопросы состава и развития лексики этой эпохи и прежде всего — проблемы диалектного расслоения древнерусского языка по лексическим данным. Эти проблемы будут волновать Ф. П. Филина до самых последних дней.

После лингвистической дискуссии 1950 г. Ф. П. Филин продолжал интенсивно работать и думать над проблемами теории лексикологии и лексикографии и над организацией практической лексикографической работы. С 1954 г. Ф. П. Филин — заведующий Словарным сектором Ленинградского отделения Института языкознания и председатель редколлегии 17-томного «Словаря современного русского литературного языка» (с 6-го тома). Этой последней работой он руководит до окончания всего словаря — последний том вышел в 1965 г. То, что такой огромный труд был успешно завершен, свидетельствует об организаторском таланте Ф. П. Филина, руководившего большим коллективом ученых. Наша национальная гордость — академический 17-томный словарь — в 1970 г. был удостоен Ленинской премии.

В 50-е годы со всей очевидностью назрела необходимость обобщить накопленные материалы по диалектной лексике и фразеологии, и Ф. П. Филин выступает инициатором создания многотомного «Словаря русских народных говоров». В 1957 г. он назначается руководителем группы этого словаря, а в 1961 г. выпускает «Проект "Словаря русских народных говоров"», явившийся вкладом в развитие общей теории диалектной лексикологии и лексикографии. С первого выпуска (1965 г.) вплоть до самых последних дней жизни (издан уже 18-ый выпуск и подготовлен 19-й) Ф. П. Филин был бессменным главным редактором этого словаря.

В 1962 г. Федот Петрович избирается членом-корреспондентом АН СССР, с 1964 по 1968 г. он—директор Института языкознания АН СССР, а с 1968 г. до дня кончины — директор Института русского языка АН СССР. С 1971 г. Федот Петрович был главным редактором журнала «Вопросы языкознания». Под руководством Ф. П. Филина журнал заметно обогатился новой тематикой, постоянно привлекая новые силы и не уклоняясь от острых споров по фундаментальным вопросам науки о языке. Признание научного и общественного авторитета крупнейшего языковеда нашего времени выразилось в обширной общественной и общественно-научной деятельности Ф. П. Филина.

В 1962 г. увидела свет крупная монография Ф. П. Филина — «Образование языка восточных славян», а через 10 лет — еще одна большая книга — «Происхождение русского, украинского и белорусского языков», отмеченная в 1977 г. премией имени А. С. Пушкина, присуждаемой Президиумом АН СССР. В этой последней книге вопросы происхождения, формирования и развития трех восточнославянских языков поставлены с такой широтой и обстоятельностью, с какой они никогда не ставились в отечественном языкознании.

Ф. П. Филин был ученым с широким научным кругозором. Хотя общепризнано, что он является прежде всего историком и диалектологом, надо сказать, что ему не были чужды и вопросы современного русского языка, проблемы его развития в советскую эпоху, вопросы нормирования языка, культуры русской речи. По всем этим вопросам Федот Петрович печатал многочисленные статьи, охотно соглашался выступать на телевидении (передача «Русская речь») и на радио (передача «В мире слов»). Он болел за судьбы родного языка, резко выступал против засорения его ненужными заимствованиями (прежде всего — американизмами), страстно пропагандировал чистоту и культуру русской речи.

В последние годы особым вниманием Федота Петровича пользовались вопросы функционирования русского языка как средства межнациональ-

ного общения народов СССР. Под его руководством и при его авторском участии созданы такие книги, как «Русский язык в современном мире» (1974) и «Русский язык как средство межнационального общения» (1977). При его активном содействии в 1974 г. в Институте русского языка АН СССР была организована группа по изучению русского языка как средства межнационального общения, преобразованная в 1978 г. в специальный сектор.

Научные заслуги Ф. П. Филина отмечены орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Знак Почета, международное его признание выразилось в избрании Федота Петровича почетным доктором Краковского (Ягеллонского) ун-та (1978) и Хельсинкского ун-та (1977).

З 1976 г. началась подготовка к переизданию, точнее — к новому изданию 17-томного «Словаря современного русского литературного языка», председателем редколлегии которого был утвержден Ф. П. Филин. В Институте русского языка развернулась работа над «Словарем языка В. И. Ленина», принципы которого были разработаны Федотом Петровичем. Несколько лет назад Ф. П. Филин принял на себя обязанности главного редактора «Словаря русского языка XI — XVII вв.». Основное внимание он продолжал уделять разработке историко-лингвистических проблем русистики.

В последние годы жизни Ф. П. Филин поставил перед сотрудниками своего Института задачу создания новой академической истории русского языка. Этот большой коллективный и уже осуществляемый поэтапно труд должен был представить наиболее полное описание и анализ эволюции строя русского языка на всех его уровнях: фонетическом, морфологическом, словообразовательном, синтаксическом и лексическом. Сам покойный принял особенно близкое, личное участие в разработке планов создания русской исторической лексикологии. В основе нового подхода к этой проблеме лежала давно созревшая идея Федота Петровича, что академическую историческую лексикологию сейчас уже нельзя строить «на глазок», опираясь лишь на «ряд» избранных, облюбованных примеров по лексике. Нужны фронтальные обследования и совершенно конкретные подсчеты составных элементов русского словарного состава в его истории. База этой истории — письменность, русская историческая лексикография, наши исторические словари и их картотеки. Но Ф. П. Филин смотрел на вещи широко, можно сказать,— с небывалой для русиста широтой. Будучи сам лично исследователем живого и письменного языка, он постепенно, но глубоко осознал тот далеко не для всех своих коллег очевидный факт, что письменность — важный, но относительно поздний этап, за порогом которого лежит дальнее начало многих явлений, что вначале была не простота и единство, а сложность, в том числе сложность словарного состава. Творчески усвоив эту новую для русистики идею, Ф. П. Филин смело пошел на удревнение и углубление масштабов истории русского языка, аналог чему мы находим в удревнении истории русского народа, предпринимаемом сейчас акад. Б. А. Рыбаковым, и видим здесь знамение времени. Ф. П. Филин применил в русской исторической лексикологии идею сложности праславянского лексического состава, понятие праславянского лексического диалектизма. Он первый не на словах, а на деле взялся за сплошное обследование опубликованных материалов нового Этимологического словаря славянских языков для нужд создания русской исторической лексикологии. Этим проникнута его вводная статья к коллективной монографии по русской исторической лексикологии и лексикографии, утвержденной к печати Ученым советом Института русского языка АН СССР уже две недели спустя после смерти Федота Петровича. Ясно, что такой метод широкого хронологического подхода и сплошного статистического анкетирования накопленных наукой материалов означает новый этап, качественно отличный от известных пособий по исторической лексикологии русского языка у нас (1956 г.) или за рубежом (1975 г.). Прискорбно, что Ф. П. Филин еще не имел под рукой всего Этимологического словаря славянских языков (о чем, кстати, он так мечтал), прискорбно, что он не успел осуществить замысла, но начало положено.

Таков один относительно небольшой эпизод научной жизни Ф. П. Филина, его последних лет, которые были (в том числе и самый последний, омраченный прогрессирующей болезнью год) годами незатухающей творческой активности, новых замыслов, но также и — подведения итогов. Смерть прервала работу Федота Петровича над монументальным, первым в нашей стране и крупнейшим в славянских странах сводным «Словарем русских народных говоров». Твердо все рассчитав как опытный лексикограф, он знал, что при нынешнем темпе публикации словаря (кстати, очень регулярном и нормальном), он, скорее всего, не доживет до полного выхода в свет своего СРНГ. Но то, что он трезво запланировал и наметил осуществить именно в эти последние годы, он осуществил. Перешагнув за семьдесят лет, он говорил близким сотрудникам, делясь сокровенными желаниями: «Я еще хочу успеть написать книгу о русском литературном языке и книгу по теории языкознания». Именно так и обещал — не три, не четыре и не цикл исследований, а две эти книги — и ушел от нас человеком слова, выполнив обещанное. Все знают эти книги, вышедшие в свет: «Истоки и судьбы русского литературного языка» (М., 1981) и последнюю книгу Ф. П. Филина «Очерки по теории языкознания» (М., 1982).

Сознание, что он пишет свои последние книги, видимо, не покидало его: «Кажется, теперь пришла пора подвести некоторые итоги» («Очерки по теории языкознания», с. 16). Это сознание — и в гордых аввакумовских словах («понеже люблю свой русской природной язык»), которыми Федот Петрович кончает книгу о литературном языке. Вместе с тем обе книги как бы вырастают из всего предшествующего опыта работы Ф. П. Филина, органически продолжая даже такие, на первый взгляд не связанные, крупные его труды по исторической диалектологии, как упоминавшиеся уже «Образование языка восточных славян» и «Происхождение русского, украинского и белорусского языков».

Ф. П. Филин — широко известный ученый, диалектолог, лексиколог, лексикограф, историк языка. Прошедшее всего четыре года тому назад его семидесятилетие наглядно показало его всенародную и международную известность, признание и авторитет в этих дисциплинах. Более чем полувековая (начиная с 1931 г.) научная деятельность всегда отличалась острым вниманием к узловым, спорным вопросам. Русист Ф. П. Филин умел быть специалистом-исследователем, популяризатором для самой широкой аудитории и лингвистом-теоретиком. Обращение к общему языкознанию в последней книге Ф. П. Филина — необходимый итог деятельности Филина-исследователя. Бывают разные пути, но покойный ученый был во многом прав, отстаивая и рекомендуя путь в общую теорию языкознания через обязательный этап исследовательской работы с конкретным языковым материалом. Его рекомендации на этот счет другим, младшим коллегам заслуживают внимания в наше время безусловной важности общего языкознания, когда конкретные и специальные отрасли повернуты лицом к общей теории языка больше, чем когда бы то ни было, что лишь усугубляет нашу ответственность и повышает требования к формированию творческой личности, оказывающейся перед соблазном немедля решать онтологические вопросы. Право быть лингвистом-теоретиком надо заслужить, и Ф. П. Филин заслужил его всей предшествующей своей исследовательской деятельностью. Он верно видел и умел вскрывать сильные и слабые стороны современного общего языкознания. Надо отдать должное его умелой ориентации в сложной и противоречивой литературе по этим вопросам, его в целом безошибочной здоровой реакции неприятия, которой он отвечал на сложный теоретический язык выражения не всегда свежих мыслей, на инфляцию научного терминотворчества и мифотворчества, на безответственное злоупотребление метафорой.

Ясно, что Ф. П. Филину было чуждо «чистое» языкознание, потому что он видел язык в его социальной обусловленности, смысл языка — в его общественной функции, он не мирился с признанием языка всего лишь «одной из» семиотических систем. Что такое язык? Что такое слово с его значениями? На эти кардинальные вопросы мы найдем у Ф. П. Филина или ответы, или материал, над которым сможем продуктивно думать

дальше. Последнее очень ценно, потому что такие основные понятия, как «язык» или «значение», крайне трудно поддаются однозначному определению, чем нередко — вольно или невольно — злоупотребляют при абстрактном подходе. Твердая фактическая почва русистики безусловно затрудняет свободу интерпретации и служит тем самым пользе общего языкознания. Мы хотим сказать, что для лучшего понимания Филина-теоретика целесообразно обращаться к его чисто русистским трудам, внимательное чтение которых вознаградит и того, кто думает над самыми общими вопросами.

Диалектическое и материалистическое мировоззрение Ф. П. Филина, неизменный трезвый взгляд на вещи, нетерпимость к преувеличениям побуждали его выступать всякий раз против сомнительного «торжества науки над здравым смыслом». Стихийное (народное, национальное) сознание единства языка говорило его уму и сердцу больше, чем готовность иных теоретиков постулировать наличие многих языков в одном языке. В книге Ф. П. Филина «Истоки и судьбы русского литературного языка» (с. 9—10) критикуется положение о том, что древнерусский язык — это якобы «другой» язык по отношению к современному русскому языку. Конечно, это типичный пример формальной правильности суждения (раз приходится переводить с древнерусского на русский, значит это другой язык), которое оказывается неправильным, если оценить его по существу. Тот, кто считает древнерусский язык «другим» в отношении современного русского, тот наверняка не учитывает фактор времени, и Ф. П. Филин указывает на это (с. 10). Но такой теоретик не учитывает и возможностей синонимии (в данном случае диахронической). Здесь уместно вспомнить о негативном давлении терминологии на примере теории метаязыка как (другого?) языка описания, а также эффектной, но шаткой семиотической концепции значения у Пирса (Peirce) как «перевода знака в другую систему знаков» (*Jakobson R.* The framework of language. Ann Arbor, 1980, p. 10). Факт перевода, т. е. передачи одних и тех же единиц значения другими или вообще разными выразительными средствами, сам по себе есть лишь проявление синонимии и вовсе не свидетельствует о наличии разных языков. Бессинонимных языков не существует, тем самым «переводить» (лексически, стилистически и т. д.) можно и внутри одного языка, если, конечно, не обеднять содержание последнего и не моделировать его по придуманному ad hoc искусственному языку. Вообще проблема синонимической сложности языка, несмотря на интерес к ней нынешних исследователей, все еще до удивительного недостаточно изучена и оценена, причем именно теми, кто, казалось бы, по роду своих занятий трансформациями и семантическими «языками описания» должен бы был по достоинству оценить потенции языковой синонимии. Кажется, тогда бы не возникли версии статуса разговорной речи как особого языка или особого диалектного языка, резко осужденные Ф. П. Филиным не в смысле недооценки им важности самих предметов, а только как неудачные опыты этикетирования. Теория метаязыка вообще уязвима как раз в плане синонимии, ибо практически применения метаязыка (иначе — языка описания) в толковой, одноязычной лексикографии — это не что иное, как парад синонимов того же самого (описываемого) языка, причем по крайне мере в этих случаях — кстати, важнейших в силу важности толковых словарей,— проблема особого языка описания попросту снимается. Встречаемые в литературе остроумные рассуждения о «метаязыковой потребности» человека начиная с детского возраста (вроде ответов на вопросы ребенка «это что?») или о том, что мы пользуемся всю жизнь метаязыком, сами того не подозревая (мы бы сказали толкованиями, синонимическими переинтерпретациями с применением различных выразительных средств, слов, конструкций) свидетельствуют все о том же — о надуманности проблемы. Разочаровывающей крайностью в этом направлении оказываются попытки создания семантического языка описания из скудного набора «элементарных смыслов», громоздкие и малорезультативные в своей сути (см. *Филин Ф. П.* Очерки по теории языкознания, с. 230).

Конечно, ответственность за неоправданное дробление объекта — языка на ряд якобы самостоятельных объектов (языков в языке) несет формализаторское направление. В основе лежит концепция, что «язык — это система», концепция, понемногу изживаемая или отступающая и прикрывающая свое отступление метафорами. Ф. П. Филин справедливо указывал на нетождественность понятий «язык» и «система» («Истоки и судьбы русского литературного языка», с. 10). Такое сложное целое, как язык, просто не может быть системой. Ср. симптоматичность терминологических новшеств вроде «язык — система систем» пражской школы (что еще сомнительнее и еще менее доказуемо!) вплоть до полного признания за языком сущности несистемного асимметричного сложного целого (М. Вандрушка). Истина и на этот раз где-то посередине. Структурализм принес детализированную методику описания, и Ф. П. Филин неоднократно признает это в своих последних трудах, одновременно резонно указывая не неоправданность онтологических претензий структурализма. Последнее слово структурализма — вскрытие непротиворечивой, уравновешенной системы. Но выделение таковой условно, как условна фиксация синхронии, само это идеальное понятие не в состоянии ни исчерпать, ни объяснить сущности языка. Так что у историзма неизмеримо больше прав на «абсолютизацию», чем у системно-структурного подхода, отметим мы в связи с критикой Ф. П. Филиным статьи С. Г. Бережана («Очерки по теории языкознания», с. 82 и сл.) Действительно, «язык изменяется, оставаясь самим собой» (*Филин Ф. П.* Истоки и судьбы русского литературного языка, с. 150, там же указание на дальнейший источник). И в этом суть, мимо которой прошли структурализм и вообще формальные методы. Суть беспрестанной эволюции языка — в переосмыслениях, противоречиях, асимметрии, сползаниях, которые выпадали из поля зрения структурализма, несмотря на компромиссные попытки («смена языковых состояний»). Механизм смены состояний структуралисты бессильны объяснить (*Филин Ф. П.* Очерки по теории языкознания, с. 77). Все это теперь не вызывает сомнений, накал споров сейчас отодвинулся в прошлое, а тем, кто еще сомневается в сказанном, можно напомнить, что современная наука переживает период постструктурализма. Вспышка генеративизма может быть понята как реакция на кризис структурализма (Ф. П. Филин рассматривает их как продолжающие друг друга направления, в отличие от обычно принимаемого между ними отношения дополнительного распределения и даже отрицания).

Большой практик-исследователь конкретного слова, Ф. П. Филин менее всего был склонен принимать на веру всякого рода обобщения, все, что отдавало преувеличением, а следовательно, упрощением характеристики слова. Он не разделял утрированно релятивистское понимание значения слова лишь как продукта отношений между словами. Напомним, что лучшие современные семантические анализы лексики (например, Д. Н. Шмелев) также настаивают на наличии у слов собственных безотносительных значений. Ф. П. Филин возражал против мнения И. Трира и школы, что изменение значения одного слова лексической группы обязательно влечет изменение других слов, группы, поскольку как исследователь-лексиколог знал примеры обратного. Вообще известная статья Ф. П. Филина (а затем глава в последней книге) «О лексико-семантических группах слов» надежно вошла в фонд нашей науки о слове в языке.

Серьезный исследователь всегда избегает излишеств — как концептуальных, так и терминологических. Таким был и остался Ф. П. Филин. Высоко ставя социальную обусловленность языка и признавая примат истории общества, он был в этом отнюдь не прямолинеен, ибо понимал, что отражение объективной действительности в языке не зеркально («Очерки по теории языкознания», с. 11). Он пытливо выявлял имманентные явления в языке, хотя при этом в его работах не рябило в глазах от термина «имманентный» и ему подобных звучных, округлых терминов, как это имеет место в иных работах. Работы Федота Петровича всегда бывали написаны просто. Так, например, он не последовал за А. И. Соболевским в его теории «второго южнославянского влияния» и не поставил знака

равенства между внешнеисторическим фактом притока балканославянского православного духовенства на Русь в результате поражений XIV — XV вв. и новым пиком церковнославянизации. То, что до сих пор всеми принималось за очевидное, он проверил с обычной скрупулезностью, остановился (вслед за Л. П. Жуковской) на факте предшествования в русской письменности написаний типа тырновского самой реформе Евфимия Тырновского и сформулировал вывод большого общеметодологического звучания о самостоятельной «реславянизации и архаизации письменного языка Московской Руси на всех его уровнях» — («Истоки и судьбы русского литературного языка», с. 285 и сл.). Умение отвергать и развенчивать мифы в науке дается не всем. Книга Ф. П. Филина об истоках русского литературного языка, пожалуй, самое яркое доказательство, что он владел этим даром, причем в труднейших и актуальнейших вопросах не только нашей науки, но и всей культуры. Объединив в этом труде широкое обобщение и его базу — скрупулезное статистическое анкетирование языковых, лексических фактов, он дал наиболее исчерпывающий утвердительный ответ об исконно русской, народной основе русского литературного языка. Этот анализ надолго сохранит свое значение, его трудно будет отныне игнорировать также тем, кто хотел бы, возможно, поменять местами «мифы и факты» («Mythen und Tatsachen») в этом вопросе.

Чуткость к новому, умение обогащаться опытом смежных и родственных дисциплин также принадлежали к числу достоинств Филина-исследователя. Можно сказать, что до Ф. П. Филина вопросы истории русского и других восточнославянских языков исследовались по традиционной схеме «de l'unité à la pluralité». Он первый в русистике, повторяем, систематически использовал идею изначальной диалектной сложности (впрочем, до конца считая вульгарной крайнюю концепцию гетерогенного сложения русского и восточнославянского), поддерживаемый в этом опытом праславянской лексикографии. Этот далекий, казалось бы, от современности и от русистской проблематики опыт был несколько неожиданно и весьма продуктивно привлечен Ф. П. Филиным для рассмотрения в новом свете истоков и путей развития русского литературного языка. Упомянутая традиционная схема первоначального единства и позднего разделения славянских языков и диалектов, привычка ряда поколений ученых датировать это расщепление, а следовательно, и эту «значительную близость» временем «незадолго до первых памятников письменности» внесли свою лепту в упрощение реальных отношений, в которых на деле вторичного с б л и ж е н и я было никак не меньше, чем изначальной близости. Ф. П. Филин высказывает наблюдение о склонности лингвистов преуменьшать расхождения между славянскими языками XI—XIV вв. и о том, как это сказывается на трактовке отношений между русским и церковнославянским языками в нашей науке («Истоки и судьбы русского литературного языка», с. 241). И в X в. это были разные языки.

Федот Петрович удивительно хорошо сохранил в себе это умение учить и учиться. Это в нем было от лексикографа, каковым он был и оставался также при постановке и решении любых других вопросов. Словарный состав языка — это такое открытое и неисчислимое множество, которое способно внушить почтительность любому теоретику, оно наиболее стойко сопротивляется навязыванию схем извне (и воспитывает недоверие ко всякому схематизму), лексикографическая практика — лучший критерий общелингвистической проблемы слова, а также всех аспектов лексического, словообразовательного и грамматического. Словари помогли Федоту Петровичу решить проблему генезиса русского национального и литературного языков. Это были словари, созданные им самим и при его активнейшем участии и руководстве, словари, которые создаются и еще будут создаваться в его Институте. Он всю жизнь делал словари, не уставал от этой признанно труднейшей человеческой работы. Таким тружеником он останется в нашей памяти.

Иванов В. В., Трубачев О. Н.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1982

ТРУБАЧЕВ О. Н.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ ПО ДАННЫМ ЭТИМОЛОГИИ И ОНОМАСТИКИ

Настоящая работа посвящена проблеме лингвистического этногенеза славян — вопросу старому и неизменно актуальному. Тема судеб славянских индоевропейцев не может не быть широка и сложна, и она слишком велика для одного вынужденно краткого очерка, поэтому необходимо заранее отказаться от подробного и равномерного освещения, сообщив лишь некоторые наиболее, как мне представляется, интересные результаты и наблюдения, главным образом из новых этимологических исследований слов и имен собственных, перед которыми поставлена высшая цель — комбинации и реконструкции моментов внешней языковой и этнической истории.

Собственно, задача проста, насколько может быть проста монументальная задача: отобрать и реконструировать форму, значение и происхождение древнего лексикона славян и извлечь из этого лингвистического материала максимум информации по истории этноса. Над воссозданием праславянского лексического фонда работают в Москве и в Кракове [1], если говорить только о новых больших этимологических словарях. Разумеется, над этими и близкими вопросами работает значительно больший круг лиц у нас и во многих других странах. Надежная реконструкция слов и значений — путь к реконструкции культуры во всех ее проявлениях. Почему славяне заменили индоевропейское название бороны новым словом? Как сложилось обозначение действия «платить» у древних славян? Что следует думать относительно ситуации «славяне и море»? Как образовалось название корабля у славян? На эти и на многие другие вопросы мы уже знаем ответы (к вопросу о море мы еще обратимся далее). Однако многие слова по-прежнему неясны, другие вообще вышли из употребления, забыты, в лучшем случае сохраняются на ономастическом уровне. Отсюда наш острый интерес к ономастическим материалам и новым трудам вроде Словаря гидронимов Украины [2], которые углубляют наши знания древней славянской апеллативной лексики и дают пищу для рассмотрения новых принципиальных вопросов по ономастике, например, о славянском топонимическом наддиалекте, о существовании славянских генуинных гидронимов, т. е. таких, у которых апеллативная стадия отсутствует, например, **morica* и его продолжения в разных славянских гидронимиях.

Наконец, древний ареал обитания, прародину славян тоже нельзя выявить без изучения этимологии и ономастики. Как решается этот вопрос? Есть прямолинейные пути (найти территорию, где много или все топонимы-гидронимы чисто славянские) и есть также, должны быть, более тонкие, более совершенные пути. Что происходило с запасом лексики и ономастики, когда мигрировал древний этнос? Называл ли он только то, что видел и знал сам? Но «словарь народа превосходит действительный (актуальный) опыт народа» [3, с. XLVII)], а значит, он хранит еще не только свой древний петрифицированный опыт, но также и чужой, услышанный опыт. Это тоже резерв нашего исследования. Славянская пись-

[1] Подробную характеристику см. [1].

менность начинается исторически поздно — с IX в. Но славянское слово или имя, в том числе отраженное в чужом языке,— это тоже запись без письменности, меморизация. Например, личное имя короля антов *rex Boz* у Иордана (обычно читают *Бож* «божий») отражает раннеславянское **vozъ* или **vožь*, русск. народн. *вож* (калька *rex* = *вож*), книжн. *вождь*, уже в IV в. с проведенной палатализацией, слово вполне современного вида.

Славяне и Дунай

Чем были вызваны вторжения славян в VI в. в придунайские земли и далее на юг? Союзом с аварами? Слабостью Рима и Константинополя? Или толчок к ним дали устойчивые предания о древнем проживании по Дунаю? Может быть, тогда вся эта знаменитая дунайско-балканская миграция славян приобретет смысл реконкисты, обратного завоевания, правда, в силу благоприятной конъюнктуры и увлекающегося нрава славян несколько вышедшего из берегов... Чем иным, как не памятью о былом житье на Дунае, отдают, например, старые песни о Дунае у восточных славян — народов, заметим, на памяти письменной истории никогда на Дунае (scil.— Среднем Дунае) не живших и в раннесредневековые балканские походы не ходивших. Если упорно сопротивляться принятию этого допущения, то можно весьма затруднить себе весь дальнейший ход рассуждений, как это случилось с К. Мошинским, который, слишком строго понимая собственную концепцию среднеднепровской прародины славян, пришел даже к утверждению, что в русских былинах Дунаем назывался Днепр ... [4, с. 152—153]. Ненужное и неестественное предположение. Еще более трудным оказывается положение тех ученых, которые с Лер-Сплавинским пытаются доказать, что у славян был широко распространен первоначально не гидроним *Dunaj*, а апеллатив *dunaj* «лужа», «море», якобы из и.-е. **dhou-nā* [5, с. 74—75]. В последние годы эту неудачную этимологию повторил Ю. Удольф [6, с. 367]. Заметим, что все трое ученых ищут прародину славян в разных местах: Лер-Сплавинский — в междуречье Одера и Вислы, Мошинский — в Среднем Поднепровье, а Удольф — в Прикарпатье. Их объединяет, пожалуй, лишь стремление опровергнуть древнее знакомство славян с Дунаем — гидронимом и рекой, настойчиво подсказываемое языком. А стоило, наверное, прислушаться к голосу языка.

«Прародина» — «взятие родины»

Термин «прародина» крайне неудачен и обременен биологическими представлениями, которые сковывают мысль и уводят ее на неверные пути (есть, правда, словоупотребление еще более романтичное и соответственно менее научное, чем прародина, Urheimat — польск. prakolebka «древняя колыбель» [7, с. 321 и сл.], англ. cradle). Отсюда можно заключить, что если у человека родина — одна, то и у народа, языка — одна прародина. Однако небольшой типологической аналогии достаточно, чтобы задуматься всерьез над другой возможностью. Пример — венгры, у которых родин или прародин было несколько: приуральская, где они сформировались и выделялись из угорской ветви, севернокавказская, где они общались с тюрками-булгарами, южноукраинская, где начался их симбиоз с аланами, и, наконец, «взятие родины» на Дунае — венг. honfoglalás, нем. Landnahme, термин, кстати, очень деловой и весьма адекватный, не содержащий иллюзию изначальности, которая неизбежно присутствует в слове прародина. Исландцы тоже хорошо помнят свое «взятие родины» (landnáma). Поэтому методологически целесообразнее сосредоточиться не на отыскивании одной ограниченной прародины, а на лингвоэтногенезе, или лингвистических аспектах этногенеза. Четкой памяти о занятии родины у славян не сохранилось, о чем, с одной стороны, можно пожалеть, имея в виду доказанную эффектную траекторию древних венгров из Приуралья на Дунай и память о ней, а с другой стороны — нужно научиться правильно интерпретировать сам факт отсутствия па-

м я т и о приходе славян издалека. Ведь существуют примеры тысячелетней памяти о ярких событиях в жизни народа (в первую очередь — об этнических миграциях) даже в условиях полного отсутствия письменности. Отсутствие памяти о приходе славян может служить одним из указаний на извечность обитания их и их предков в Центрально-Восточной Европе в широких пределах.

Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что в настоящее время надо считать законченным (исчерпавшим себя) предыдущий период или направление прямолинейных исканий прародины славян, когда с усилением темпа миграции прямо ассоциировали убыстрение изменений языка и лексики, когда исходный характер этнической области старались обосновать, всеми силами доказывая славянскую принадлежность ее (макро)-гидронимии или обязательное наличие в ней «чисто славянской топонимики», будь то висло-одерская с постепенным расширением в одерско-днепровскую [8], или *правобережно-среднеднепровская* [9], или пропятско-полесская [10].

Первоначально ограниченная территория?

Прежде чем мы приступим к пересмотру распространенной аргументации прародины, полезно вспомнить мудрые слова Брюкнера, который давно ощутил методологическую неудовлетворительность постулата о г р а н и ч е н н о й п р а р о д и н ы: «Не делай другому того, что неприятно тебе самому. Немецкие ученые охотно утопили бы всех славян в болотах Припяти, а славянские — всех немцев в Долларте (устье реки Эмс.— *Т. О.*); совершенно напрасный труд, они там не уместятся; лучше бросить это дело и не жалеть света божьего ни для одних, ни для других» (цит. по [11]). Это, конечно, была шутка, но проблема размера прародины имеет серьезное научно-методологическое значение. Верно замечено, что идея ограниченной прародины (в немецкой этногенетической литературе активно пользуются еще термином «Keimzelle», буквально «зародышевая клетка», что совсем уводит нас в биологию развития) — это пережиток теории родословного древа [12, с. 342]. Необходимо считаться с подвижностью праславянского ареала, с возможностью не только расширения, но и сокращения его, вообще — с фактом с о с у щ е с т в о в а н и я разных этносов даже внутри этого ареала, как и в целом — со с м е ш а н н ы м характером заселения древней Европы, далее — с неустойчивостью этнических границ и п р о н и ц а е м о с т ь ю праславянской территории. Вспомним поучительный пример прохода венгров в IX в. сквозь восточнославянские земли уже в эпоху Киевского государства. Отдельность этноса не исключала его дисперсности [13], а для древней поры просто обязательно предполагала ее.

Изначальность диалектного членения

Хотя современное изучение индоевропейских диалектов ведут обычно от Мейе, он вполне отдавал дань унитаристской концепции индоевропейского праязыка [12, с. 330], а славянские языки тем более производил из «почти единого наречия» [14, с. 1], забывая в данном вопросе завет своего учителя Ф. де Соссюра о диалектном членении внутри первоначального ареала. Стоит ли удивляться, что до последнего времени говорят о «единстве» общеславянского языка [15], покойный З. Штибер пришел даже к выводу, что до 500 г. н. э. в славянском имелась только одна (!) диалектная особенность, в чем ему тут же вполне резонно возразили, что так просто н е м о г л о б ы т ь в тех условиях [16]. Малые размеры праславянской территории, как и первоначальная бездиалектность праславянского языка,— это не доказанные истины, а предвзятые идеи. В науке накоплен большой материал, свидетельствующий об ином. Индоевропеистика давно считается с диалектными различиями внутри первоначального ареала [17]. *Современная романистика уже не держится за идею единой народной латыни* [12, с. 326]. С разных сторон указывают на то, что язык есть интегра-

ция [18], что славянский языковой тип — результат консолидации [19], что уместно говорить о *многокомпонентности каждого языка* [12, с. 334], наконец, доступные письменные свидетельства о древних эпохах прямо показывают, что чем дальше в глубь веков, тем языков было больше, а не меньше. В духе понимания этих или подобных фактов в современной литературе по истории русского и славянских языков можно чаще встретить выражение вроде «славянское этноязыковое объединение» [20]. Верно замечено, что праславянский язык — не искусственная модель, а живой, многодиалектный язык.

Праславянский — живой язык или «непротиворечивая» модель?

Эпоха структурного моделирования в последние два десятилетия ощутимо коснулась и праславянского языка, в чем-то притормозив полноту постижения его оригинальных особенностей, потому что в моделировании, в конструировании «непротиворечивой» модели как нигде проявляется это reductio ad unum [21], упрощающее, а не обогащающее *наши* представления о предмете.

Принимая во внимание авторитетность языкознания, можно понять, что такая унитаристская концепция праславянского языка не могла не влиять негативно на историю и археологию, ср., например, высказывание историка о едином «государстве» (!) всех славян перед их экспансией [2], распространение среди археологов преувеличенных мнений об общности материальной культуры древних славян, тогда как славянство в действительности археологически не монолитно [22]. Архаизм языка отнюдь не проистекает прямо от автохтонизма народа, как, впрочем, и инновации не обязательно связаны с миграциями. Все это самостоятельные лингвистические вопросы. Что же касается этнического автохтонизма, то это особая проблема: Хирт, например, считал, что славяне и балты дольше других оставались в пределах индоевропейской прародины [23, с. 23], а археолог Косинна утверждал, что славяне и арийцы (балтов он вообще в расчет не принимал) были дальше всех от центра на восток [24].

Унитаристская концепция рассматривала лингвистическую дифференциацию (Мейе: «свой собственный тип») как результат внешнего импульса — субстрата [25; 5, с. 95]. Ниже мы еще коснемся разных моделей праславянского языка в духе сложения-вычитания. А в вопросе о субстрате нам больше импонирует точка зрения Покорного в том, что «каждый народ реагирует на свой субстрат по-разному» [26].

Таким образом, на смену представлению о первоначально бездиалектном праславянском языке приходит учение о диалектно сложном древнем языке славян с сильно развитым древним диалектным словарем [3]. Неверным оказывается популярное деление истории праславянского языка на два периода — консервативный (якобы оседлый) период и период коренных изменений (миграционный). Существуют серьезные доводы, что как раз оседлая жизнь создает условия для дифференциации языка, тогда как кочевая жизнь сглаживает различия [12, S. 340].

Из верного общего положения о конечности также языкового развития не следует вывод, что в условиях праязыка и прародины один язык можно объяснить, лишь возведя его к другому, подобно тому как это нередко делается в археологии путем объяснения одной культуры из другой.

«Метод исключения»

Возможна ли чисто славянская гидронимическая область? Нет, это наивная концепция. В пределах славянского ареала всегда были дославянские и неславянские элементы, как были они, бесспорно, и в Прикар-

---

[2] См. в кн. [4, с. 115—116].

[3] О древней диалектной сложности праславянской лексики см. впервые [27]. Например, слав. *vesna*, праиндоевропейского происхождения, никогда не было общеславянским, в южнославянском оно отсутствует — см. [28].

патье, что вынужден признать и Удольф. Стерильно чистое (бессубстратное) этническое пространство — исключительное и сомнительное явление. Нет чисто славянских топонимических территорий [29], и одна эта выразительная констатация бесповоротно зачеркивает «метод исключения» немецкой школы (Фасмер, сейчас — Удольф), который, если применять его прямолинейно («где не жили праславяне?»), исключит славян из Европы совсем, что, конечно, не соответствует действительности и не может отменить факта древнего обитания славян в Центрально-Восточной Европе в достаточно широких (и подвижных) пределах.

Подвижность древнего ареала

Как исследовать древнюю подвижность славянского ареала средствами языкознания — ономастики и этимологии? Важнейшим материалом для этого служат состав и происхождение местных (водных) названий. При этом обращают внимание на кучность однородных названий, а район кучности водных названий исконного славянского вида объявляется районом древнейшего распространения славян, иначе — их прародиной. Именно такой прямолинейный вывод относительно Прикарпатья (бывшая Галиция) сделал в своей новой большой книге (см. [6]) Ю. Удольф. Однако динамика этнических передвижений отражается в топонимии не прямо, а преломленно. Кучность однородных славянских названий как раз характеризует зоны экспансии, колонизованные районы, а отнюдь не очаг возникновения, который по самой логике должен давать неяркую, смазанную картину, а не вспышку. Это положение обосновал В. А. Никонов [30, с. 478]. Удольф обнаружил в Прикарпатье, по-видимому, о д и н и з р а й о н о в освоения славянами, но не искомую их прародину. Второе положение Никонова — об относительной негативности топонимии («в сплошных лесах бессмысленны названия *Лес*...» [30, с. 478] — тоже имеет самое прямое отношение к вскрытию динамики заселения через анализ топонимии, но оно, к сожалению, прошло незамеченным как для Удольфа, так и для его рецензента Дикенмана [31]. Оба они удивлены, почему в гидронимии болотистого Полесья не встретишь термина *Болото*, а, между тем, в Полесье, как мы теперь знаем, все в порядке. В современной индоевропеистике было бы полезно шире применять эти положения, что помогло бы избежать ошибок или явных преувеличений, одно из которых мы специально рассмотрим далее.

Славянский и балтийский

Важным критерием локализации древнего ареала славян служат родственные отношения славянского к другим индоевропейским языкам и прежде всего — к балтийскому. Принимаемая лингвистами схема или модель этих отношений коренным образом определяет их представления о местах обитания праславян. Например, для Лер-Сплавинского и его последователей тесный характер связи балтийского и славянского диктует необходимость поисков прародины славян в непосредственной близости к первоначальному ареалу балтов [5, с. 28]. Неоспоримость близости языков балтов и славян подчас отвлекает внимание исследователей от сложного характера этой близости. Впрочем, именно характер отношений славянских и балтийских языков стал предметом непрекращающихся дискуссий современного языкознания, что, согласимся, делает балто-славянский языковой критерий весьма ненадежным в вопросе локализации прародины славян. Поэтому сначала необходимо, хотя бы кратко, остановиться на самих балто-славянских языковых отношениях.

Сходства и различия

Начнем с лексики как с важнейшей для этимологии и ономастики. Сторонники балто-славянского единства указывают большую лексическую общность между этими языками — свыше 1600 слов [5, с. 25 и сл.].

Кипарский аргументирует эпоху балто-славянского единства общими важными инновациями лексики и семантики: названия «голова», «рука», «железо» и др. [32]. Но железо — самый поздний металл древности, отсутствие общих балто-славянских названий более древней меди (бронзы) наводит на мысль о контактах эпохи железного века, т. е. последних столетий до нашей эры (ср. аналогию кельтско-германских отношений). Новообразования же типа «голова», «рука» принадлежат к часто обновляемым лексемам и тоже могут относиться к более позднему времени. Вышеупомянутый «аргумент железа» уже до детальной проверки показывает шаткость датировки выделения праславянского из балто-славянского временем около 500 г. до н. э. [33].

Существует немало теорий балто-славянских отношений. В 1969 г. их насчитывали пять [34]: 1) балто-славянский праязык (Шлейхер); 2) независимое, параллельное развитие близких балтийских и славянских диалектов (Мейе); 3) вторичное сближение балтийского и славянского (Эндзелин); 4) древняя общность, затем длительный перерыв и новое сближение (Розвадовский); 5) образование славянского из периферийных диалектов балтийского (Иванов — Топоров). Этот перечень неполон и не совсем точен. Если теория балто-славянского праязыка или единства принадлежит в основном прошлому, несмотря на отдельные новые опыты, а весьма здравая концепция независимого развития и вторичного сближения славянского и балтийского, к сожалению, не получила новых детальных разработок, то радикальные теории, объясняющие главным образом славянский из балтийского, переживают сейчас свой бум. Впрочем, было бы неверно возводить их все к теории под № 5 (см. выше), поскольку еще Соболевский выдвинул теорию о славянском как соединении иранского языка *-х* и балтийского языка *-с* [35]. Аналогично объяснял происхождение славянского Пизани — из прабалтийского с иранским суперстратом [36]. По мнению Лер-Сплавинского, славяне — это западные протобалты с наслоившимися на них венетами [5, с. 114]. По Горнунгу, наоборот — сами западные периферийные балты оторвались от «протославян» [37]. Идею выделения праславянского из периферийного балтийского, иначе — славянской модели как преобразования балтийского состояния, выдвигают работы Топорова и Иванова [38—39]. Эту точку зрения разделяет ряд литовских языковедов [40]. Близок к теории Лер-Сплавинского, но идет еще дальше Мартынов, который производит праславянский из суммы западного протобалтийского с италийским суперстратом — миграцией XII в. до н. э. (?) — и иранским суперстратом [41—43]. Немецкий лингвист Шаль предлагает комбинацию: балтославяне = южные (?) балты + даки [44]. Нельзя сказать, чтобы такой комбинаторный лингвоэтногенез удовлетворял всех. В. П. Шмид, будучи жарким сторонником «балтоцентристской» модели всего индоевропейского (об этом — ниже), тем не менее считает, что ни балтийский из славянского, ни славянский из балтийского, ни оба — из балто-славянского объяснить нельзя [45]. Методологически неудобными, ненадежными считает как концепцию балто-славянского единства, так и выведение славянских фактов из балтийской модели Г. Майер [46—47]. Довольно давно замечено наличие многочисленных расхождений и отсутствие переходов между балтийским и славянским [48], выдвигалось мнение о балто-славянском языковом союзе [49—50] с признаками вторичного языкового родства и разного рода ареальных контактов. За этими контактами и сближениями стоят глубокие внутренние различия. Еще Лер-Сплавинский, выступая с критикой произведения славянской модели из балтийской, обращал внимание на неравномерность темпов балтийского и славянского языкового развития [51]. Балто-славянскую дискуссию следует настойчиво переводить из плана слишком абстрактных сомнений в «равноценности» балтийского и славянского, в одинаковом количестве «шагов», проделанных одним и другим (чего, кажется, никто и не утверждает),— переводить в план конкретного сравнительного анализа форм, этимологий слов и имен. Фактов накопилось достаточно, в чем убеждает даже беглый взгляд.

Глубокие различия балтийского и славянского очевидны на всех уровнях. На лексико-семантическом уровне эти различия обнаруживают древний характер. По данным Этимологического словаря славянских языков (ЭССЯ) (сплошная проверка вышедших вып. 1—7), такие важнейшие понятия, как «ягненок», «яйцо», «бить», «мука», «живот», «дева», «долина», «дуб», «долбить», «голубь», «господин», «гость», «горн (кузнечный)», выражаются разными словами в балтийских и славянских языках. Список этот, разумеется, можно продолжить, в том числе на ономастическом уровне (этнонимы, антропонимы).

Элементарны и древни различия в фонетике. Здесь надо отметить передвижение балтийских рядов чередования гласных в противоположность консервативному сохранению индоевропейских рядов аблаута в праславянском [4]. Совершенно независимо прошла в балтийском и славянском сатемизация рефлексов палатальных задненебных, причем прабалтийский рефлекс и.-е. $\hat{k}$ — *š*, не известный праславянскому, проделавшему развитие $\hat{k} > c > s$ [5]. Найти здесь «общую инновацию системы согласных» элементарно невозможно, и недавняя попытка Шмальштига прямо соотнести *š* в слав. *pišetь* «пишет» (из *sj*!) и *š* в литов. *piẽšti* «рисовать» [53] должна быть отвергнута как анахронизм.

Еще более красноречивы отношения в морфологии. Именная флексия в балтийском более архаична, чем в славянском, впрочем, и здесь отмечаются праславянские архаизмы вроде род. п. ед. ч. **ženy* < **gᵘenŏ̄m-s* [6]. Что же касается глагола, то его формы и флексии в праславянском архаичнее и ближе индоевропейскому состоянию, чем в балтийском [55]. Даже те славянские формы, которые обнаруживают преобразованное состояние, как, например, флексия 1-го л. ед. ч. наст. времени *-ǫ* (< и. -е. *-ō* + + вторичное окончание *-m*?), вполне самобытны и не допускают объяснения на балтийской базе. Распределение отдельных флексий резко отлично, ср., например, *-s-* как формант славянского аориста, а в балтийском — будущего времени [14, с. 20]. Старый аорист на *-ē* сохранен в славянском (*мьнѣ*), а в балтийском представлен в расширенных формах (литов. *minėjo*) [56]. Славянский перфект **vědě*, восходящий к индоевропейскому нередуплицированному перфекту **u̯oida(i̯)*, — архаизм без балтийского соответствия [57]. Славянский императив **jьdi* «иди» продолжает и.-е. **i-dhí*, не известное в балтийском. Славянские причастия на *-lъ* имеют индоевропейский фон (армянский, тохарский); балтийский не знает ничего подобного [14, с. 211]. Целую проблему в себе представляют флексии 3-го л. ед.— мн. ч. [58], причем славянский хорошо отражает форманты и.-е. *-t* : *-nt*, полностью отсутствующие в балтийском; если даже считать, что в балтийском мы имеем дело с древним невключением их в глагольную парадигму, то тогда в славянском представлена ранняя инновация, связывающая его с рядом индоевропейских диалектов, за исключением балтийского. Ясно, что славянская глагольная парадигма — это индоевропейская модель, не сводимая к балтийскому [7]. Реконструкция глагола в славянском имеет бо́льшую глубину, чем в балтийском [60].

Что касается именного словообразования, то на его глубокие отличия как в балтийском, так и в славянском обращали внимание и сторонники, и противники балто-славянского единства [61—63].

Поздние балты в Верхнем Поднепровье

После такой краткой, но как можно более конкретной характеристики балто-славянских языковых отношений, естественно, конкретизируется и взгляд на их взаимную локализацию.

---

[4] Имело место прямое отражение вокализма и.-е. **prō-*, **pō-* > слав. *pra-*, *pa-* и преобразование и.-е. **prō-*, **pō-* > балт. **prā-*, **pā-*, иначе ожидалось бы регулярное балт. (литов.) **pruo-*, **puo-*, см. [47, S. 57].

[5] См., вслед за О. Н. Трубачевым, [52].

[6] См., вслед за Кноблохом, [54].

[7] Естественный вывод об индоевропейской самобытности и большей, сравнительно с балтийским, архаичности славянского глагола, несводимости его к балтийскому состоянию в работе [59], к сожалению не сделан.

Эпоха развитого балтийского языкового типа застает балов, по-видимому, уже в местах, близких к их современному ареалу, т. е. в районе Верхнего Поднепровья. В начале I тыс. н. э. там во всяком случае преобладает балтийский этнический элемент [64, с. 236]. Считать, что верхнеднепровские гидронимы допускают более широкую — балто-славянскую характеристику [65], нет достаточных оснований, равно как и искать ранний ареал славян к северу от Припяти. Развитый балтийский языковой тип — это система форм глагола с одним презенсом и одним претеритом, что весьма напоминает финские языки [66] [8]. После этого и в связи с этим можно привести мнение о гребенчатой керамике как вероятном финском культурном субстрате балтов этой поры; здесь же уместно указать на структурные балто-финские сходства в образовании сложных гидронимов со вторым компонентом «-озеро» прежде всего [9].

Подвижность балтийского ареала

Но к балтийскому ареалу мы должны подходить с тем же мерилом подвижности (см. выше), и это весьма существенно, поскольку ломает привычные взгляды в этом вопросе («консервативность» = «территориальная устойчивость»). При этом вырисовываются разные судьбы этнических балтов и славян по данным языка.

Балто-дако-фракийские связи III тыс. до н. э. (славянский не участвует)

«Праколыбель» балтов не извечно находилась где-то в районе Верхнего Поднепровья или бассейна Немана [68], и вот почему. Уже довольно давно обратили внимание на связь балтийской ономастической номенклатуры с древней индоевропейской ономастикой Балкан. Эти изоглоссы особенно охватывают восточную — дако-фракийскую часть Балкан, но касаются в ряде случаев и западной — иллирийской части Балканского п-ова. Ср. фрак. Σέρμη — литов. *Sêrmas*, названия рек, фрак. Κερσης др.-прусск. *Kerse*, названия лиц [69, с. 93, 100]; фрак. Ἔδεσσα, название города,— балт. *Ведоса*, верхнеднепровский гидроним, фрак. Ζάλδαπα — литов. *Žeĩtupė* и др. [70]. Из апеллативной лексики следует упомянуть близость рум. *doină* (автохтонный балканский элемент) — литов. *dainà* «песня» [71]. Особенно важны для ранней датировки малоазиатско-фракийские соответствия балтийским именам, ср. выразительное фрак. Προῦσα, название города в Вифинии — балт. *Prūs-*, этноним [72]. Малоазиатско-фракийско-балтийские соответствия могут быть умножены, причем за счет таких существенных, как Καῦνος, город в Карии,— литов. *Kaũnas* [10], Πριήνη, город в Карии,— литов. *Prienai*, Σινώπη, город на берегу Черного моря,— литов. *Sãmpe* < **San-upe*, название озера. Затронутые фракийские формы охватывают не только Троаду, Вифинию, но и Карию. Распространение фракийского элемента в западной и северной части Малой Азии относится к весьма раннему времени (вероятно, II тыс. до н. э.), поэтому можно согласиться с мнением относительно времени соответствующих территориальных контактов балтийских и фракийских племен — примерно III тыс. до н. э. [69, с. 100]. Нас не может не заинтересовать указание, что славянский в этих контактах не участвует [69, с. 100].

Раннюю близость ареала балтов к Балканам позволяют локализовать разыскания, установившие присутствие балтийских элементов к югу от Припяти, включая случаи, в которых даже трудно различить непо-

---

[8] Автор указывает на глагольную систему финского (один презенс — один претерит) в связи с упрощением системы времени в германском. О финском субстрате теперешнего балтийского ареала см. [67].

[9] Ср. литов. *Akležeris*, *Balteżeris*, *Gùdežeris*, *Juodožeris*, *Klēvžeris*, лтш. *Kalnezers*, *Purvezers*, *Saulezers* и другие сложения на *-ežeris*, *-upe*, *-upis* «финского» типа, ср. *Выгозеро*, *Пудозеро*, *Топозеро* на русском Севере; см. [64, с. 169—171].

[10] См., вслед за Студерусом и Френкелем, [73—74].

средственное участие балтийского или балканско-индоевропейского — гидронимы *Церем, Церемский, Саремский* < **serma-* [75, с. 284]. Западно-балканские (иллирийские) элементы необходимо также учитывать (особенно в Прикарпатье, на верхнем Днестре), как и их связи с балтийским [75, с. 276 и сл.; 76].

Когда появился праславянский язык?

Решить или во всяком случае поставить вопрос, когда появился праславянский язык, наиболее склонны были те лингвисты, которые связывали его появление с выделением из балто-славянского единства, приурочивая это событие к кануну новой эры или за несколько столетий до него (так — Лямпрехт, см. [33], а также Лер-Сплавинский, Фасмер). В настоящее время отмечается объективная тенденция углубления датировок истории древних индоевропейских диалектов, и это касается славянского как одного из индоевропейских диалектов. Однако вопрос сейчас не в том, что древняя история праславянского может измеряться масштабами II и III тыс. до н. э., а в том, что мы в принципе затрудняемся даже условно датировать «появление» или «выделение» праславянского или праславянских диалектов из индоевропейского именно ввиду собственных непрерывных индоевропейских истоков славянского. Последнее убеждение согласуется с указанием Мейе о том, что славянский — это индоевропейский язык архаического типа, словарь и грамматика которого не испытали потрясений в отличие, например, от греческого (словаря) [14, с. 14, 38, 395].

Славяне и Центральная Европа (балты не участвуют)

Для древнейшей поры, условно — эпохи упомянутых балто-балканских контактов, видимо, надо говорить о преимущественно западных связях славян, в отличие от балтов. Из них древнее других ориентация праславян на связи с праиталийскими племенами. Эти связи в лексике, семантике и словообразовании отражают несложное хозяйство и общие моменты условий жизни и среды обитания на стадии раннепраязыкового развития без признаков заметного превосходства партнера или четкого одностороннего заимствования. Ср. соответствия лат. *hospes* — слав. **gospodь*, *favēre* — **gověti* (общество, обычаи), *struere* (**stroi̯-u-*?) — **strojiti* (домохозяйство), *palūdes* — **pola voda* (среда обитания) [11], *pōmum* «плод, фрукт» < **po-emom* «снятое, сорванное» — **pojьmo* (русск. поймо «горсть; сколько колоса жнея забирает в одну руку», Даль), сельское хозяйство. В этих отношениях, как правило, не участвуют балты, собственные отношения которых к италийскому (латинскому) характеризуются такими признаками, как полигенез, совпадение явлений, т. е. отсутствие непосредственных контактов [88], несмотря на наличие отдельных (более поздних?) культурных заимствований вроде литов. *áuksas* «золото», если из италийского **ausom* [23, с. 8], так и не ставшего общебалтийским термином. Более позднему времени, видимо, эпохе развитой металлургии, принадлежат западные контакты праславян, охватывающие не только италийцев, но и германцев, обозначаемые понятием центральноевропейского культурного района [79, с. 331 и сл.]. Ср. праслав. **ěstěja* (: герм.), **vygnь* (: герм., кельт.), **gъrnъ* (: итал.), **kladivo* (: итал.), **moltъ* (: итал.). Эти фрагменты германо-славянских отношений, возможно, древнее (и сохранились хуже) тех более известных германо-славянских языковых отношений, которые представлены бо́льшим числом слов (германизмов в славянской лексике) и отражают эпоху после проведения германского передвижения согласных, а в плане этнической истории — симбиоз (тесное сосуществование) германцев и славян, прини-

[11] См., с использованием работ О. Н. Трубачева и др. [77].

маемый некоторыми учеными для пшеворской археологической культуры [80, с. 71, 74]. Но этому предшествовали другие контакты славян на других территориях.

Славяне и иллирийцы

II тыс. до н. э. застает италиков на пути из Центральной Европы на юг (вот почему нам трудно согласиться с отождествлением италиков с носителями лужицкой культуры и с утверждением, что в XII в. до н. э. именно италики с западными балтами генерировали праславян). В южном направлении двигаются около этого времени и иллирийцы, не сразу превратившиеся в «балканских» индоевропейцев. Я в основном принимаю теорию о древнем пребывании иллирийцев к югу от Балтийского моря [81; 82, с. 169] и считаю, что она еще может быть плодотворно использована [12]. Вполне возможно, что иллирийцы прошли через земли славян на юг, а славяне, в свою очередь, распространяясь на север, находили остатки иллирийцев или остатки их ономастики. Это дает нам право говорить об иллирийско-славянских отношениях. Иначе трудно объяснить несколько собственных имен: *Doksy*, местное название в Чехии, ср. Daksa, остров в Адриатическом море, и глоссу δάξα·θάλασσα. 'Ηπειρῶται (Тесихий) [84] [13], *Дукля*, перевал в Карпатах, ср. *Дукльа* в Черногории, Δόκλεα (Птолемей) [75, с. 282], наконец, гапакс ранней польской истории — *Licicaviki*, название, приписываемое славянскому племени, но объяснимое только как иллир. **Liccavici*, ср. иллирийские личные имена *Liccavus*, *Liccavius* и местное название *Lika* в Югославии [84]. На основании названия м е с т н о г о ветра, дующего в Апулии,— *Atābulus* (Сенека), ср. иллир. **bul-*, βύριον «жилье», сюда же 'Αταβυρία, (Ζεὺς) 'Αταβύριος, реконструируется иллир. **ata-bulas*, аналитический препозитивный аблатив «о т / и з д о м а», ср. параллельное слав., др.-русск. ѿ р о д а Рускаго (Ипат. лет., л. 13), наряду с постпозитивной конструкцией аблатива и. -е. **u̯lk̑ᵘo-at* «от волка». Здесь представлена иллирийско-славянская изоглосса, ценная ввиду неизвестности иллирийской именной флексии [84].

Кентумные элементы в праславянском

Кроме ранних италийско-славянских связей, участия в общих инновациях центральноевропейского культурного района и других изоглоссах (например, иллирийско-славянских), именно в Центральной Европе праславянский язык обогатился рядом кентумных элементов лексики, носящих бесспорно культурный характер [86—87]. Ответственность за них несут, видимо, в значительной степени контакты с кельтами. Так, праслав. **korva*, название домашнего животного, восходит, видимо, через стадию **kăräva* [14] к форме, близкой кельт. *car(a)vos* «олень», исконнославянское слово ожидалось бы в форме **sorva*, с правильным сатемным рефлексом и.-е. *k̑* [4, с. 18—19], который в славянском есть в форме **sьrna*, обозначающей дикое животное, что придает эпизоду с **korva* культурное звучание. Праславянский передал, видимо, далее, свое *kăräva или **korəvā* вместе с его акутовой интонацией балтийскому (литов. *kárvė*), в котором это слово выглядит тоже изолированно.

Балты на Янтарном пути

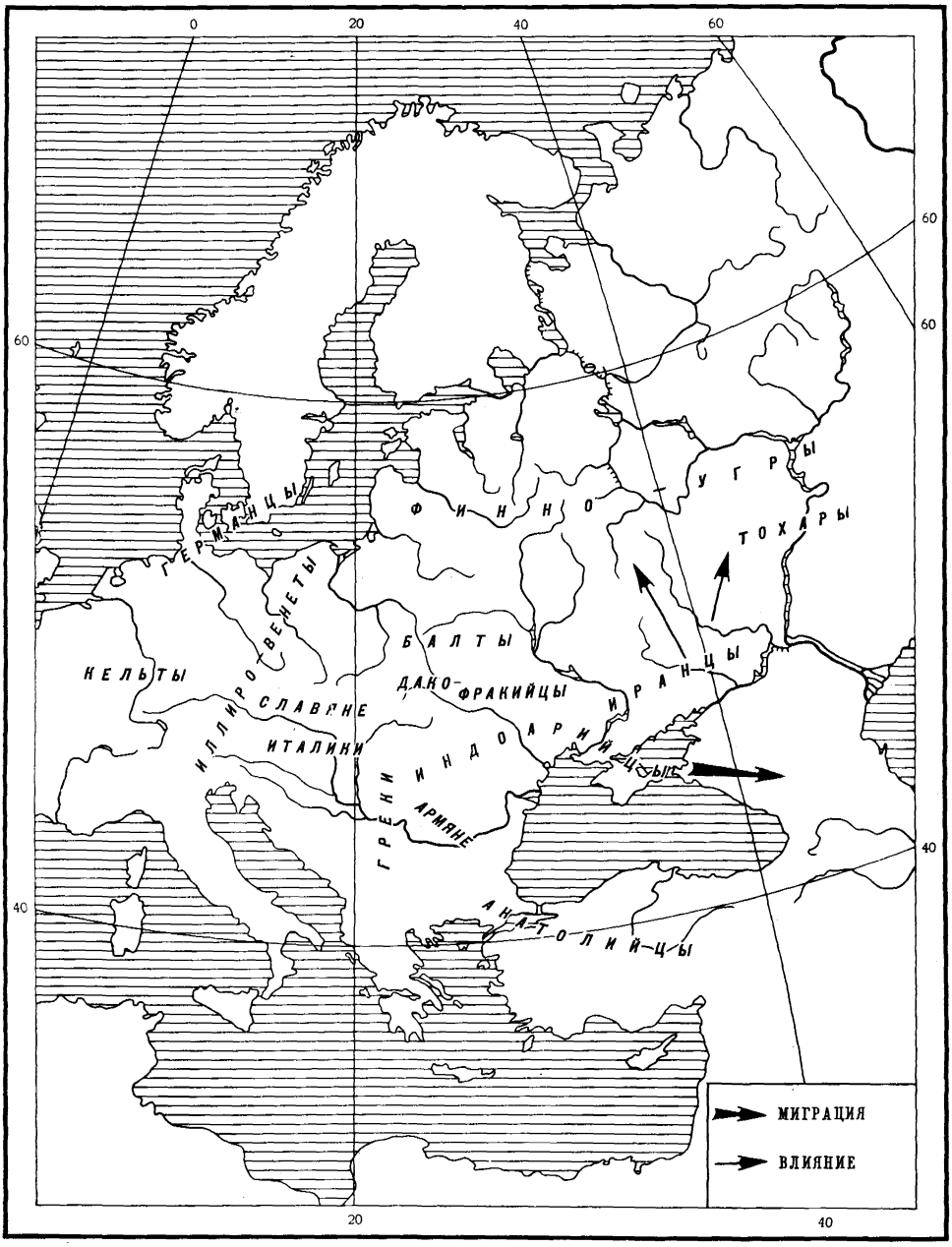
Что касается балтов, то их контакт с Центральной Европой или даже скорее — с ее излучениями, не первичен, он начинается, видимо, с того, впрочем, достаточно раннего времени, когда балты попали в зону Янтар-

---

[12] Отрицание значительного распространения иллирийцев и их соседства со славянами см. [83].

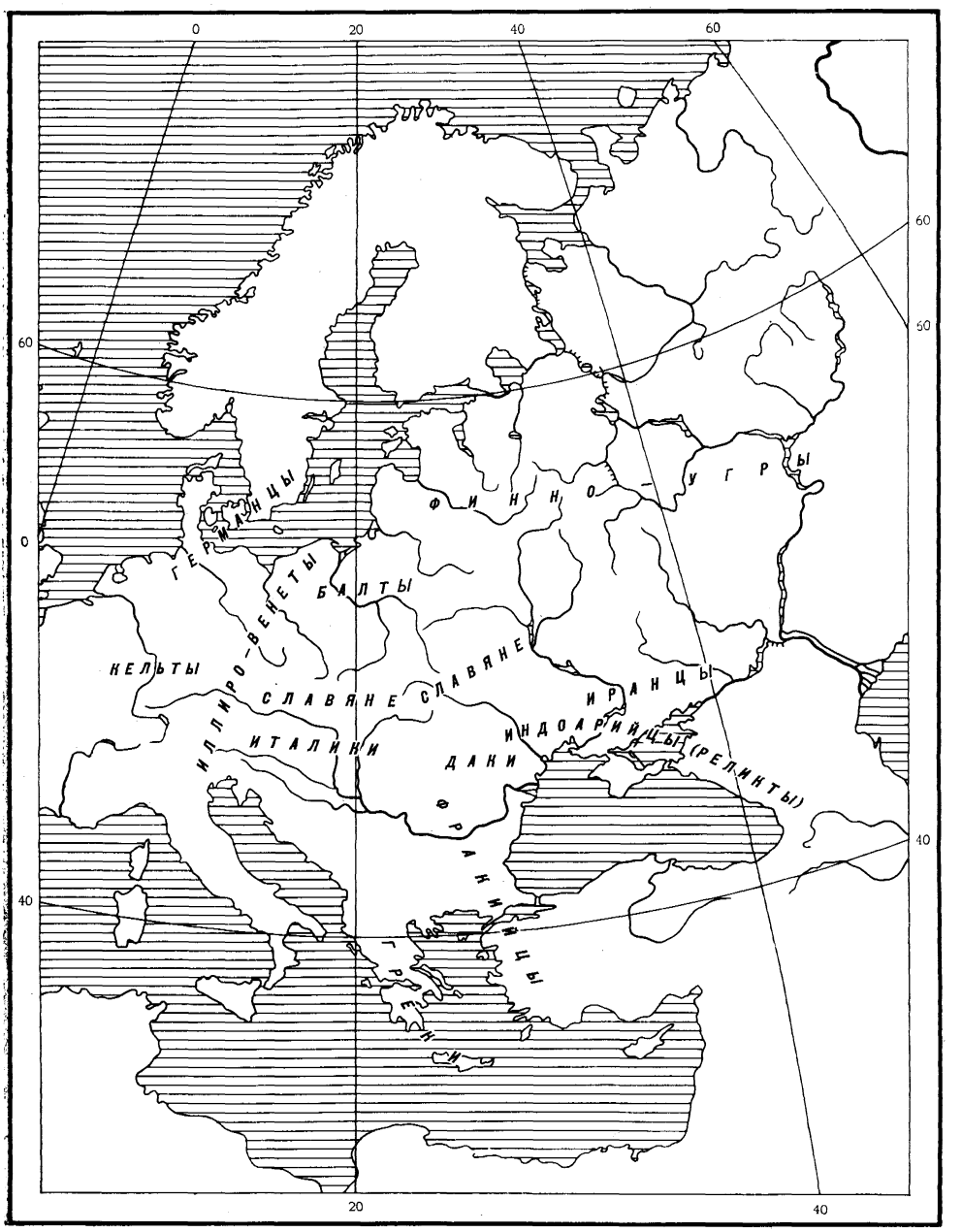
[13] См. подробнее об этимологии δάξα [85]. Автор приводит сближение Будимира эпир. глосс. δάξα «море» (вар. δάψα) с ζάψ «прибой» и именем морской богини Θέτις < < * Θέπτις, сюда же алб. *det/dejet* «море» — как иллир. и догреч. продолжение и.-е. **dheup/b-* «глубокий».

[14] Такие раннеполногласные варианты для нерусских территорий см. [88].



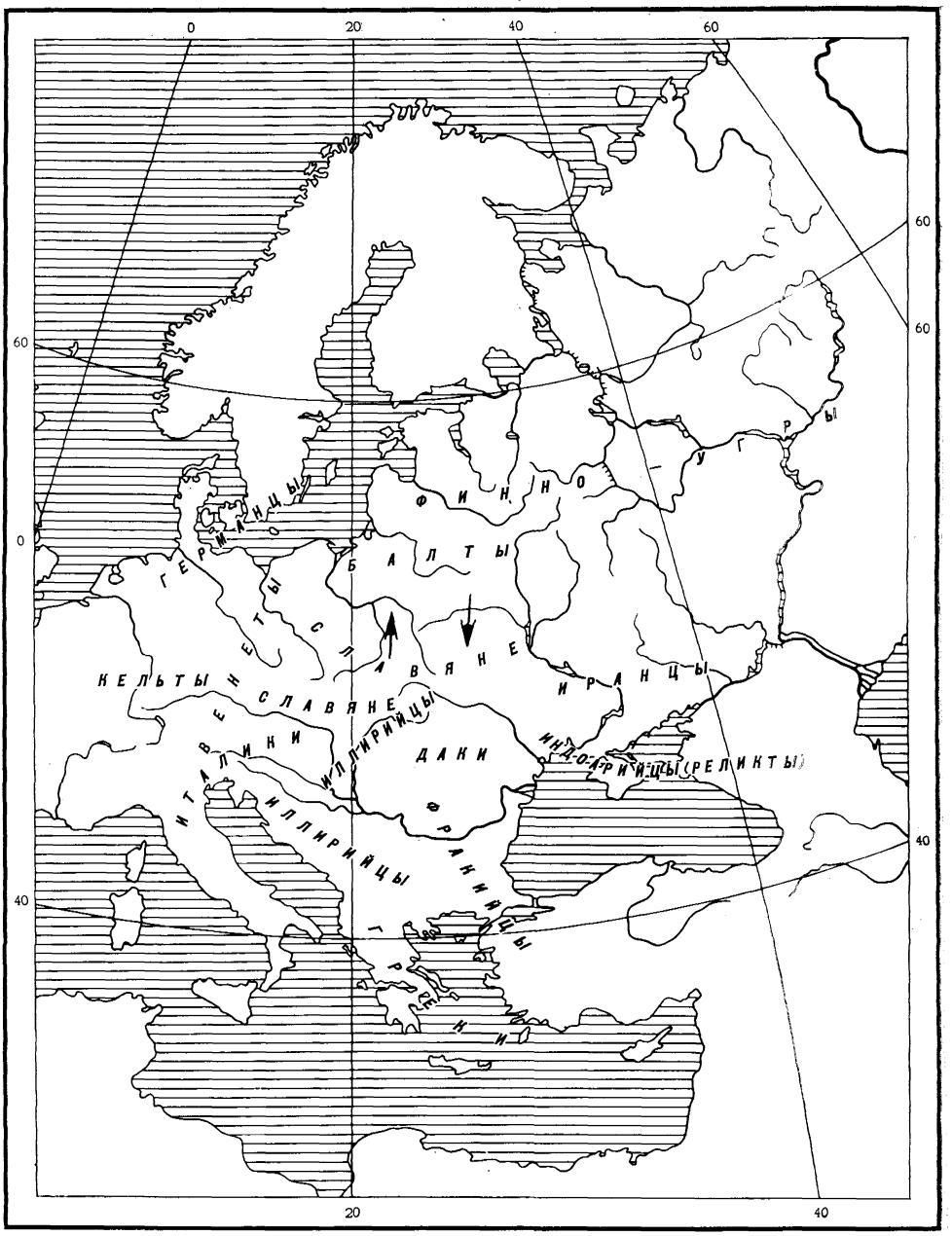
Карта № 1

ного пути, в низовьях Вислы. Только условно можно датировать их обоснование здесь II тыс. до н. э., не раньше, но и едва ли позже, потому что этрусск. *ἄριμος* «обезьяна» могло попасть в восточнобалтийский диалект (лтш. *erms* «обезьяна»), очевидно, до глубокой перестройки самого балтийского языкового ареала и до упадка Этрурии уже в I тыс. до н. э. Прибалтика всегда сохраняла значение периферии, но благодаря Янтарному пути по Висле двусторонние связи с Адриатикой и Северной Италией фрагментарно проявлялись и могут еще вскрываться сейчас. Любопытный пример — предлагаемое здесь новое прочтение лигурийского названия реки По в Северной Италии — *Bodincus*, которое приводит Плиний, сообщая также его апеллативное значение: ... Ligurum quidem lingua amnem ipsum (scil.— Padum) Bodincum vocari, quod significet



Карта № 2

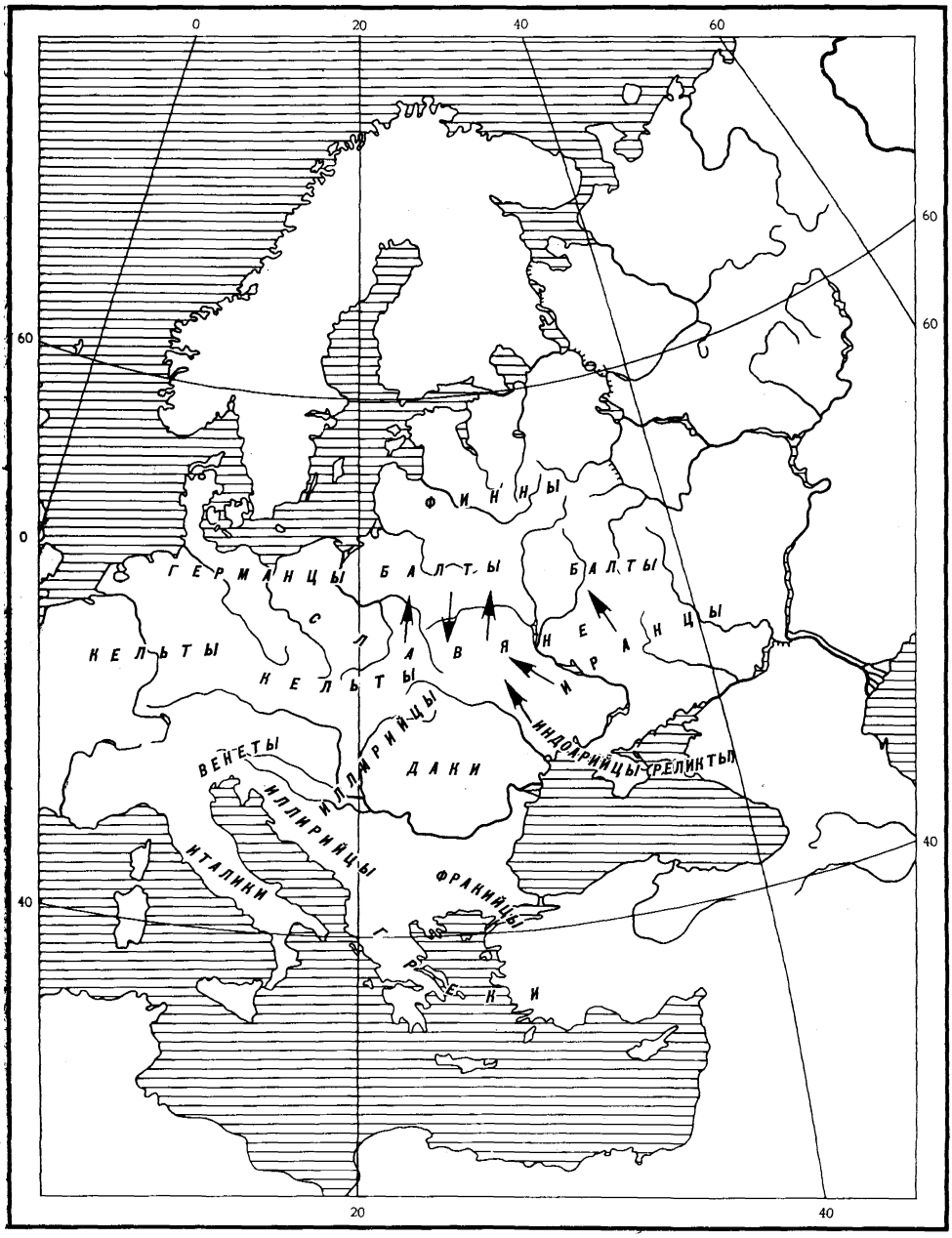
fundo carentem, cui argumento adest oppidum iuxta Industria vetusto nomine Bodincomagum, ubi praecipua altitudo incipit (C. Plinius Sec. Nat. hist. III, 16, ed. C. Mayhoff). Таким образом, *Bodincus* или *Bodinco-* значило по-лигурийски «fundo carens, бездонный» и может быть восстановлено по снятии вероятных кельтских (лепонтских) наслоений как **bodicno-/*bo-digno-* < **bo-dugno-* «бездонный, б е з д н а», что довольно точно соответствует литов. *be dùgno* «без дна», *bedùgnis* «бездна», также в гидронимии — *Bedùgnė*, *Bedùgnis* и позволяет внести корректив в известную географию соответствий балт. *be(z)*, слав. *bez* (и индо-иран. параллели).



Карта № 3

Балтийский и «древнеевропейская» гидронимия

По долине Вислы к балтам распространялись и изоглоссы древнеевропейской гидронимии, обрывающиеся к западу (—лакуна между Одером и Вислой). Краэ отмечал добалтийский характер древнеевропейской гидронимии [89], и, я думаю, этот тезис сохраняет свое значение, имея в виду не столько додиалектный, сколько наддиалектный статус этой гидронимии (выработка различными контактирующими индоевропейскими диалектами общего гидронимического фонда). В. П. Шмид плодотворно расширил понятие «древнеевропейской» гидронимии до объема индоевропейской, но он допускает явное преувеличение, стремясь в своих последних работах утвердить идею ее центра в балтийском и даже выдвигая балтоцен-



Карта № 4

тристскую модель всего индоевропейского [90] [15]; [91; 93, с. 11; 94] [16]. Однако кучность «древнеевропейских» гидронимов на балтийской языковой территории допускает другое объяснение в духе уже изложенного нами ранее. Балтийский (исторически) — не центр древнеевропейской гидронимии (В. П. Шмид: «Ausstrahlungszentrum»), а фиксированная вспышка в зоне экспансии балтов на восток, куда они распространялись, унося с собой и размноженные древнеевропейские гидронимы.

---

[15] Карта — см. с. 11, с. 13 — досадная ошибка: гидронимы *Tain* в Шотландии и *Tean* в Англии возводятся автором к **Taniā*, которое он этимологизирует с помощью слав. *tonja* «tiefe Stelle im Wasser», но последнее происходит только из **top-nja* и к остальным европейским названиям отношения не имеет.

[16] Между прочим, балтоцентристскую теорию индоевропейской прародины отстаивал уже Poesche более ста лет назад [3, с. XXXII].

Лишь после самостоятельных ранних миграций балтов и славян стало намечаться их последующее сближение (ср. установленный факт наличия в балтийском раннепраславянских заимствований до окончательного проведения славянской ассибиляции и.-е. $\hat{k} > *c > s$, например, литов. *stirna* <раннепраслав. **cirna*, праслав. **sьrna* и др. [95]. Хронологически это было близко к славянскому переходу $s > x$ в известных позициях, который некоторые авторы рассматривают даже как «первый шаг» на пути обособления праславянского от балтийского, что из общей перспективы выглядит очень странно. В плане абсолютной хронологии эти балто-славянские контакты (сближения) относятся уже к железному веку (см. выше «аргумент железа»), т. е. к последним векам до новой эры.

Этому предшествовала длительная эпоха жизни праславян в Центральной Европе — жизни, далекой от герметизма в ареале с размытыми границами и открытом как западным, так и восточным влияниям [17].

(Окончание следует)

ЛИТЕРАТУРА

1. *Копечный Фр.* О новых этимологических словарях славянских языков. — ВЯ, 1976, № 1, с. 3 и сл.
2. Словник гідронімів України. Ред. колегія: Непокупний А. П. Стрижак О. С. Цілуйко К. К. Київ, 1979.
3. *Mallory J. P.* A short history of the Indo-European problem.— In: *Hehn V.* Cultivated plants and domesticated animals in their migration from Asia to Europe (= Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series I. V. 7). Amsterdam, 1976.
4. *Moszyński K.* Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. Wrocław — Kraków, 1957.
5. *Lehr-Spławiński T.* O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946.
6. *Udolph J.* Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven. (= Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge. Beiheft 17). Heidelberg, 1979.
7. *Rudnicki M.* O prakolebce Słowian.— In: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4. Językoznawstwo. Warszawa, 1973.
8. *Лер-Сплавинский Т.*— ВЯ, 1958, № 2, с. 45—49.
9. *Кипарский В.*— ВЯ, 1958, № 2, с. 49.
10. *Vasmer M.* Die Urheimat der Slaven.— In: Der ostdeutsche Volksboden. Hrsg. von Volz W. Breslau. 1926, S. 118—143.
11. *Labuda G.* Alexander Brückner und die slavische Altertumskunde.— In: Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen. Bd. 14, I. Fragen der polnischen Kultur im 16. Jahrhundert. Vorträge... zum ehrenden Gedenken an A. Brückner. Bonn, 1978. Bd. I. Giessen, 1980, S. 23, примеч. 28.
12. *Solta G.* Gedanken zum Indogermanenproblem.— In: Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968.
13. *Королюк В. Д.* К исследованиям в области этногенеза славян и восточных романцев.— В кн.: Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976, с. 19.
14. *Мейе А.* Общеславянский язык. М., 1951.
15. *Pătruţ I.* О единстве и продолжительности общеславянского языка. — RS, 1976, t. XXXVII, cz. I, c. 3 и сл.
16. *Stieber Z.* Problem najdawniejszych różnic między dialektami słowiańskimi.— In: I Midzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, IX. 1965. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1968, s. 97.
17. *Порциг В.* Членение индоевропейской языковой области. М., 1964, с. 84.
18. *Pisani V.* Indogermanisch und Europa. München, 1974, passim.
19. *Polák V.* Konsolidace slovanského jazykového typu v širších východoevropských souvislostech.— Slavia, 1973, ročn. XLVI.

---

[17] Прилагаемые четыре карты в общем не требуют комментариев, так как являются пространственной проекцией концепции лингвоэтногенетических связей славян (их западных и центральноевропейских связей в древности; на картах: I период, II период), балтов с их древними балканскоиндоевропейскими связями (I период), балто-славянского сближения эпохи железа (III период) и кельтско-славянских, а также славяно-иранских и славяно-индоарийских контактов 2-ой половины I тыс. до н. э. (IV период), о которых говорится кратко во второй части работы. Вынужденный схематизм карт, а также неизбежная условность употребления этнонимов на них должны постоянно иметься в виду.

20. *Филин Ф. П.* О происхождении праславянского языка и восточнославянских языков.— ВЯ, 1980, № 4, с. 36, 42.
21. *Silvestri D.* La varietà linguistica nel mondo antico.— AIΩN, 1979, 1, p. 19, 23.
22. *Рыбаков Б. А.* Новая концепция предыстории Киевской Руси (тезисы).— История СССР, 1981, № 1, с. 57.
23. *Hirt H.* Die Heimat der indogermanischen Völker und ihre Wanderungen.— In: Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968.
24. *Kossinna G.* Die indogermanische Frage archäologisch beantwortet.— In: Die Urheimat der Indogermanen, S. 97.
25. *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.— Л., 1938, с. 59.
26. *Pokorny J.* Substrattheorie und Urheimet der Indogermanen.— In: Die Urheimat der Indogermanen, S. 209.
27. *Трубачев О. Н.* Принципы построения этимологических словарей славянских языков.— ВЯ, 1957, № 5, с. 69 и сл.
28. *Popović J.* Les noms slaves de 'printemps'.— Annali [del] Istituto universitario orientale. Sez. lingu. I, 2. Roma, 1959, p. 184.
29. *Polák V.* Slovanská pravlast s hlediska jazykového. — In: Vznik a původ Slovanů. I. Praha, 1956, s. 13, 23.
30. *Никонов В. А.*— В кн.: IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. М., 1962, с. 478.
31. *Dickenmann E.*— Onoma, 1980, XXIV, S. 279.— Рец. на кн.: Udolph J. Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Heidelberg, 1979.
32. *Кипарский В.*— ВЯ, 1958, № 1, с. 50.
33. *Lamprecht A.* Praslovanština a jeji chronologické členění.— In: Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu. Praha, 1978, s. 150.
34. *Karaliūnas S.*— In: Frenkelis E. Baltų kalbos. Vilnius, 1969, p. 13.
35. *Соболевский А.* Что такое славянский праязык и славянский пранарод?— Известия II Отд. Росс. АН, 1922, т. XXVII, с. 321 и сл.
36. *Pisani V.* Baltisch, Slavisch, Iranisch.— Baltistica, 1969, V (2), S. 138—139.
37. *Горнунг Б. В.* Из предыстории образования общеславянского языкового единства. М., 1963, с. 49.
38. *Иванов В. В., Топоров В. Н.* К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков.— В кн:. Исследования по славянскому языкознанию. М., 1961, с. 303.
39. *Топоров В. Н.* К проблеме балто-славянских языковых отношений.— В кн.: Актуальные проблемы славяноведения (КСИС 33—34). М., 1961, с. 213.
40. *Mažiulis V.* Apie senovės vakarų baltus bei jų santykius su slavais, ilirais ir germanais.— In: Iš lietuvių etnogenezės. Vilnius, 1981, p. 7.
41. *Мартынов В. В.* Балто-славяно-италийские изоглоссы. Лексическая синонимия. Минск, 1978, с. 43.
42. *Мартынов В. В.* Балто-славянские лексико-словообразовательные отношения и глоттогенез славян.— В кн.: Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом. Конференция 11—15 дек. 1978 г.: Предварительные материалы. М., 1978, с. 102.
43. *Мартынов В. В.* Балто-славянские этнические отношения по данным лингвистики.— В кн.: Проблемы этногенеза и этнической истории балтов: Тезисы докладов. Вильнюс, 1981, с. 104—106.
44. *Schall H.* Südbalten und Daker: Väter der Lettoslawen.— In: Primus congressus studiorum thracicorum. Thracia II. Serdicae, 1974, S. 304, 308, 310.
45. *Schmid W. P.* Baltisch und Indogermanisch.— Baltistica, 1976, XII (2), S. 120.
46. *Mayer H. E.* Kann das Baltische als Muster für das Slavische gelten?— ZfslPh, 1976, XXXIX, S. 32 и сл.
47. *Mayer H. E.* Die Divergenz des Baltischen und des Slavischen.— ZfslPh, 1978, XL, S. 52 и сл.
48. *Булаховский Л. А.*— ВЯ, 1958, № 1, с. 41—45.
49. *Трост П.* Современное состояние вопроса о балто-славянских языковых отношениях.— В кн.: IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. М., 1962, с. 422.
50. *Бернштейн С. Б.*— ВЯ, 1958, № 1, с. 48—49.
51. *Лер-Сплавинский Т.* [Выступление] — В кн.: IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. М., 1962, с. 431—432.
52. *Pohl H. D.* Baltisch und Slavisch. Die Fiktion von der baltisch-slavischen Sprachheinheit.— Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft, 1980, 6, S. 68—69.
53. *Schmalstieg W.* Common innovations in the Balto-Slavic consonantal system.— В кн.: IV Всесоюзная конференция балтистов 23—25 сент. 1980 г.: Тезисы докладов. Рига, 1980, с. 86.
54. *Топоров В. Н.* Несколько соображений о происхождении флексий славянского генитива.— In: Bereiche der Slavistik. Festschrift zu Ehren von J. Hamm. Wien, 1975, с. 287 и сл., 296.
55. *Топоров В. Н.* К вопросу об эволюции славянского и балтийского глагола.— Вопросы славянского языкознания. Вып. 5. М., 1961, с. 37.
56. *Курилович Е.* О балто-славянском языковом единстве.— Вопросы славянского языкознания. Вып. 3. М., 1958, с. 40.
57. *Kuryłowicz J.* The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg, 1964, p. 80.

58. *Kortlandt F.* Toward a reconstruction of the Balto-Slavic verbal system. Lingua, 1979, 49, p. 64 и сл.
59. *Иванов Вяч. Всев.* Отражение в балтийском и славянском двух серий индоевропейских глагольных форм: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Вильнюс, 1978.
60. *Савченко А. Н.* Проблема системной реконструкции праязыковых состояний (на материале балтийских и славянских языков). — Baltistica, 1973, IX (2), с. 143.
61. *Meillet A.* Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave. 2-e partie. Paris, 1905, p. 201—202.
62. *Эндзелин И. М.* Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911, с. 1.= *Endzelīns J.* Darbu izlase. II. Rīgā, 1974, lpp. 170.
63. *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. IV. La formation des noms. Paris, 1974, p. 13—14.
64. *Топоров В. Н., Трубачев О. Н.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
65. *Birnbaum H.* O możliwości odtworzenia pierwotnego stanu języka prasłowiańskiego za pomocą rekonstrukcji wewnętrznej i metody porównawczej.— In: American cotributions to the Seventh International congress of Slavists. Warsaw, Aug. Aug. 21—27, 1973, V. I, p. 57.
66. *Pokorny J.* Die Träger der Kultur der Jungsteinzeit und die Indogermanenfrage.— In: Die Urheimat der Indogermanen, S. 309.
67. *Prinz J.*— Zeitschrift für Balkanologie, 1978, XIV, S. 223.
68. *Milewski T.* Dyferencjacja języków indoeuropejskich.— In: I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 1965. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1968, s. 67—68.
69. *Duridanov I.* Thrakisch-dakische Studien. I. Die thrakisch- und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen (= Linguistique balkanique XIII, 2). Sofia, 1969.
70. *Топоров В. Н.* К фракийско-балтийским языковым параллелям.— В кн.: Балканское языкознание. М., 1973, с. 51, 52.
71. *Pisani V.* Indogermanisch und Europa. München, 1974, S. 51.
72. *Топоров В. Н.* К фракийско-балтийским языковым параллелям. II.— Балканский лингвистический сборник. М., 1977, с. 81—82.
73. *Топоров В. Н.* К древнебалканским связям в области языка и мифологии.— В кн.: Балканский лингвистический сборник. М., 1977, с. 43.
74. *Топоров В. Н.* Прусский язык. Словарь. I — К. М., 1980, с. 279.
75. *Трубачев О. Н.* Названия рек Правобережной Украины. М., 1968.
76. *Топоров В. Н.* Несколько иллирийско-балтийских параллелей из области топономастики.— В кн.: Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964, с. 52 и сл.
77. *Pohl H. D.* Slavisch und Lateinisch (= Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft. Beiheft 3). Klagenfurt, 1977.
78. *Ademollo Gagliano M. T.* Le corrispondenze lessicali balto-latine.— Archivio glottologico italiano, 1978, 63, p. 1. и сл.
79. *Трубачев О. Н.* Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966.
80. *Седов В. В.* Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.
81. *Krahe H.* Die Sprache der Illyrier, I. Teil: Die Quellen. Wiesbaden, 1955, S. 8.
82. *Krahe H.* Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954.
83. *Georgiev V. I.* Illyrier, Veneter und Vrslawen.— In: Linguistique balkanique, 1968, XIII, 1, с. 5 и сл.
84. *Трубачев О. Н.* Illyrica.— В кн.: Античная балканистика (в печати).
85. *Katičič R.* Ancient languages of the Balkans. Part I. The Hague — Paris, 1976, p. 64—65.
86. *Gołąb Z.* «Kentum» elements in Slavic.— Lingua Posnaniensis, 1972, XVI, с. 53 и сл.
87. *Gołąb Z.* Stratyfikacja słownictwa prasłowiańskiego a zagadnienie etnogenezy Słowian.— RS, 1977, XXXVIII, 1, s. 16 (Warstwa «kentumowa»).
88. *Mareš F. V.* The origin of the Slavic phonological system and its development up to the end of Slavic language unity. Ann Arbor, 1965, p. 24—25, 30—31.
89. *Krahe H.* Vorgeschichtliche Sprachbeziehungen von den baltischen Ostseeländern bis zu den Gebieten um den Nordteil der Adria.— In: Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Mainz, 1957, № 3, S. 120.
90. *Schmid W. P.* Baltische Gewässernamen und das vorgeschichtliche Europa.— IF, 1972, Bd. LXXVII, S. 1 и сл.
91. *Schmid W. P.* Baltisch und Indogermanisch.— Baltistica, 1976, XII (2).
92. *Schmid W. P.* Alteuropäisch und Indogermanisch.— In: Probleme der Namenforschung im deutschsprachigen Raum. Darmstadt, 1977, S. 98 и сл.
93. *Schmid W. P.* Indogermanistische Modelle and osteuropäische Frühgeschichte.— In: Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jg. 1978, Nr. I. Mainz — Wiesbaden, 1978.
94. *Schmid W. P.* Das Hethitische in einem neuen Verwandtschaftsmodell.— In: Hethitisch und Indogermanisch. Hrsg. von Neu E. und Meid W. Innsbruck, 1979, S. 232—233.
95. *Трубачев О. Н.* Лексикография и этимология.— В кн.: Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. М., 1973, с. 311.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1982

К 1500-ЛЕТИЮ ГОРОДА КИЕВА

РУСАНОВСКИЙ В. М.

РОЛЬ КИЕВА В РАЗВИТИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ КИЕВСКОЙ РУСИ

Литературный язык, как известно, развивается на базе ряда источников. Даже в том случае, когда он является результатом консолидации нескольких близких диалектных массивов, ему для того, чтобы служить средством перевода с других языков, т. е. вводить представляемую им культуру в круг мировой культуры, необходимо располагать названиями реалий, выходящих за пределы распространения одного языка. Это в одинаковой мере относится к литературным языкам как национального, так и донационального периодов. В обоих случаях развитие и распространение литературного языка связано с интернационализацией его словарного состава, с использованием лексических заимствований, с ориентацией в начальной стадии на один или несколько литературных языков как на дополнительный источник развития.

Для древнерусского литературного языка, начало развития которого относится, очевидно, к периоду становления и утверждения древнерусской государственности (VIII — IX вв. н. э.) [1], характерно отражение общевосточнославянских фонетических, грамматических и лексических черт того времени. Можно предполагать, что унифицированность слово- и формоупотребления была результатом зарождения литературного языка в одной восточнославянской земле — земле среднеднепровских полян. Эта земля, издревле заселенная славянами [2], выдвинула одно из поселений — Киев — на роль объединяющего центра.

Возникновение города является следствием распада родового строя [5]. Следовательно, во второй половине V — начале VI в., т. е. в период превращения древнего киевского городища в город, идет социальная перестройка восточнославянского общества: на базе родового строя появляются первые признаки феодализма, а вместе с ними превращение союза бывших племен в первое древнерусское государство. VII—IX вв. — период складывания предфеодальных отношений, противопоставление ремесленников города земледельцам села в более широких масштабах, чем ранее. В это время и следует ожидать появления законодательства, а возможно, и письменности как средства фиксации законов и первых законодательных актов. Следовательно, Киев явился центром Русской земли — относящегося к VI—IX вв. ядра древнерусского государства [6] с его первыми законами и первым языком межплеменного общения.

Большое значение для распространения надплеменного языка имел фольклор, в частности, героико-исторический эпос. Не вызывает сомнения тот факт, что устной народной поэзии свойственна известная наддиалектность [1, с. 186]. Характерно, что в более позднее время этот фольклорный жанр сохранился на севере Руси, хотя все описываемые в нем

---

[1] Многие ученые предполагают, что Русской правде, оформленной как свод законов в начале XI в. при Ярославе I, предшествовали более ранние письменные памятники этого типа (см. об этом [1, с. 220].

[2] Многие археологи и антропологи считают неопровержимым фактом существование наследственной связи между памятниками середины I тыс. н. э. и славянскими VI—VII ст. См. об этом [2—4].

события, все действующие лица относятся к югу — к Киевской земле. Считается, что древний фольклор, сохранившийся у северных сказителей-крестьян, непосредственно восходит к искусству народных певцов древнекиевских времен и что «сущность творческих процессов в северный период бытования былин... следует определить как дальнейшее развитие подлинно народных основ эпоса, как углубление и развертывание былинных образов в свете представлений северного крестьянства» [7]. Само собой разумеется, что русский былинный эпос по языковым особенностям мало сходен с древнекиевским. И это вполне закономерно — ведь их разделяет почти тысячелетие. Здесь речь идет о другом: былинный эпос, служивший одним из средств выражения общей идеологии восточных славян еще догосударственной эпохи [8], способствовал и их языковому единению, признанию древнекиевского эпоса общевосточнославянским как по идейной направленности, так и по языку.

Ориентация в выработке делового языка на древнекиевский говор, определенная нормализация языковых средств в фольклорных произведениях способствовали постепенному складыванию литературного языка. Трудно согласиться с А. И. Соболевским, утверждавшим, что в древнейшие времена «чистый русский деловой письменный язык вполне отождествлялся с местными говорами» [9, с. 39]. По мнению многих ученых, в основе языка Киева была речь южной части восточного славянства. Однако это был смешанный говор города, лежавшего на перекрестке многих торговых путей, имевшего до XIII в. теснейшие экономические и культурные связи с Новгородом [10], принимавшего в своих стенах гостей из всех русских земель, из других славянских и неславянских стран, прежде всего Византии и Хозарского каганата. Этот язык выполнял сложные культурно-просветительские и образовательные функции и отражал разнообразие культурной жизни класса феодалов. «В нем,— как отметил В. В. Виноградов,— было много иноязычных элементов, культурных, общественно-политических, профессиональных и торговых терминов. Он включал в себя слова разных славянских диалектов» [11, с. 16]. Следовательно, первые письменные документы, составленные на древнерусском языке, фиксируют отнюдь не диалектную речь. Значительно вероятнее, что по мере распространения общего для древнерусских племен языка, представленного в IX—X вв. преимущественно деловыми документами, в него проникали отдельные местные диалектные черты.

Принимая во внимание близость древнерусского и старославянского (древнеболгарского) языков, можно предполагать, что еще задолго до крещения Руси старославянский язык, закрепленный в специально созданной Кириллом и Мефодием письменности, в чем было его главное преимущество по сравнению с другими славянскими языками, оказывал влияние на выработку норм древнерусского языка. По свидетельству А. И. Соболевского, одна папская булла упоминает о славянском богослужении на Руси во времена Ольги, а это значит, что некоторые старославянские тексты проникли в Киев не позднее, чем на рубеже IX и X ст. [9, с. 28]. Появление в XI в. таких выдающихся памятников, как Остромирово евангелие, Служебные Минеи 1095—1097 гг., как оригинальные произведения первых восточнославянских писателей, ясно говорит о том, что в одно или два поколения писцов и книжников не могли сложиться на Руси ни такой стиль, ни такие орфографические традиции [11, с. 18]; [12, с. 138]. Высокий авторитет старославянского языка, признание его в качестве общеславянского литературного языка объясняется тем, что он формировался из славянского языкового материала при посредстве высокой греческой литературной и филологической культуры [11, с. 16]. Именно в старославянском языке впервые появились эквиваленты греческих слов, которых не было ранее в славянских языках. «Славянский язык, на долю которого выпало сразу воспринять такое накопленное веками наследство чужой культуры, вышел из этого испытания с большой для себя честью. Его словарный состав оказался настолько обширным, что и труднейшие тексты не останавливали переводчиков» [13]. Проникновение старославянского языка на Русь в качестве литературного дало осно-

вание одним исследователям (А. А. Шахматов) говорить о старославянской основе древнерусского литературного языка, а другим (С. И. Обнорский) начисто отрицать влияние старославянского языка на формирование норм древнерусского. Обе точки зрения в наше время представляются слишком категоричными [3].

Старославянский язык был одним из источников формирования древнерусского литературного языка, а следовательно, одним из компонентов тех культурных традиций, которые вырабатывались в условиях самостоятельной жизни восточного славянства. Как отмечал В. В. Виноградов, «Киевская Русь была первой значительной попыткой разрешить задачу связи черноморской и прибалтийской культур в относительно устойчивой политической организации» [11, с. 11]. Старославянский язык занимал в этом процессе весьма заметное место. «...Как бы ни оценивать языковую ситуацию в древней Руси и вместе с ней истоки русского литературного языка..., — говорит Ф. П. Филин,— ясно одно: старославянский язык сыграл выдающуюся роль в истории русской (шире — восточнославянской) речевой культуры» [1, с. 4]. Как называть этот язык: старославянским или, как это широко принято во многих современных работах, церковнославянским? В дореволюционной литературе по истории русского языка понятие старославянского языка отождествлялось с понятием церковнославянского. Так, А. И. Соболевский писал: «Церковнославянский, или старославянский, или древнеболгарский язык — тот язык, на который славянские первоучители св. Кирилл и Мефодий перевели с греческого книги священного писания и богослужебные и который, после их кончины, сделался литературным языком болгар, сербов и русских» [14, с. 3]. Ф. П. Филин считает, что следует видеть разницу между старославянским как первым межславянским литературным языком и церковнославянским литературным языком, функционировавшим на Руси параллельно с древнерусским. В современной русистике это мнение является наиболее распространенным [1, с. 223; 15, с. 12 и др.]. Грань между старославянским и церковнославянским языками становится довольно четкой в XII—XIII вв., когда церковнославянский язык стал развиваться с заметной ориентацией на древнерусские фонетические, морфологические, а частично и лексические особенности, т. е. превратился в восточнославянскую редакцию старославянкого языка. Некоторые исследователи в наше время идут дальше, считая, что церковнославянский язык следует противопоставлять старославянскому как отдельную от него языковую единицу [16].

С принятием христианства Киевская Русь получила из Болгарии каноническую литературу на старославянском языке. «Вся переводная литература древней Болгарии с книгами св. писания во главе, а вместе с нею и небольшая болгарская оригинальная литература по мере распространения в России христианства перешла в Россию и здесь сделалась русскою» [9, с. 22]. К середине XIII в., т. е. ко времени нашествия Батыя, почти вся переводная и оригинальная литература древней Болгарии успела стать достоянием Руси. Язык этих памятников становится признаком учености, а поэтому активно проникает в оригинальную литературу, в том числе в рукописи светского содержания. У восточных славян на старославянский язык были переведены Александрия, Девгениевы деяния, Повесть о Варлааме и Иосафе, Повесть об Акире Премудром, Хроники Георгия Амартола и Сингелла и др., развивается оригинальная литература, как, например, Слово о законе и благодати Илариона, Слова Кирилла Туровского, Сказание о Борисе и Глебе и др.

Таким образом, в период X—XII вв. на Руси в письменно-литературной сфере развивается билингвизм. Как писал А. И. Соболевский, «рядом с церковнославянским языком старая Русь употребляла живой русский язык, и памятники последнего, параллельно с памятниками первого, тянутся издревле до новейшего времени» [9, с. 22]. Это мнение разделял

---

[3] Обе они нашли свое продолжение в последующей литературе. Полемика по этому вопросу всесторонне освещена в книге Ф. П. Филина [1, с. 7—86].

В. В. Виноградов. «Есть вполне определенные указания на то,— писал он,— что уже в XI в. возникло это двуязычие» [11, с. 18]. Постепенно явление билингвизма сглаживается: элементы старославянского языка проникают в лексический состав древнерусского, а древнерусские фонетические, грамматические и лексические черты активно проявляли себя в старославянских рукописях, особенно в произведениях светского характера. В области летописания, в художественной и мемуарной литературе древнерусские и старославянские элементы используются как стилистически маркированные синонимы. Можно, таким образом, согласиться с тем, что в XII—XIII ст. в результате творческого взаимодействия древнерусского и старославянского языков выработался новый тип литературного языка, представленный в Слове о полку Игореве, в Повести временных лет и др. Эти памятники отличаются живыми и неоспоримыми связями с народным древнерусским языком с его образной фольклорной системой. Однако на сегодняшний день все еще невозможно в каждом отдельном случае определить, прошла ли уже эта живая речь через обработку фольклорной практики, прежде чем она достигла летописного рассказа [17]. Можно лишь предполагать, что уже к началу 60-х гг. XI в. наступил тот этап в жизни летописной литературы, когда древнерусские авторы начали широко пользоваться наряду с другими источниками и устным преданием, а следовательно, активно вводить устно-фольклорные языковые формулы в рассказ, тяготеющий к традициям старославянского языка, к образности византийской стилистики. То же самое можно сказать и о Слове о полку Игореве (далее — Слово). В. Перетц отмечал определенную зависимость лексической и образной систем Слова от символики библейских книг (книги Иисуса Навина, Судей, четыре книги Царств, Эсфирь), бывших в употреблении на Руси. В частности, он отмечает общую батальную лексику (*полкъ*, *полчище*, *рать*, *сѣчь*, *трубы*, *хоругвь*, *мечь*, *копье*, *лукъ*, *стрѣлы*), а также сходные метафоры типа: *иже истяну умь крѣпостью своею* (Слово) — *немощныи прѣпоясашася силою* (кн. Судей), *мое веселіе по ковылію развѣя* (Слово) — *и расѣя по тьрнию и по былью* (кн. Судей) и т. п. Ученый отказывается видеть в близости этих метафор непосредственное заимствование в Слово из книжной литературы, однако считает несомненным, «что этот автор в своем творчестве, как и летописец. ...шел в колее стилистических приемов, данных библейскими книгами» [18]. Можно добавить, что автор сочетал книжную символику с чисто фольклорной, использовал чисто народную фразеологию типа «*А чи диво ся, братіе, стару помолодити*!», «*Влъци грозу върожать по яругамъ*» и др.

Следовательно, древнерусский литературный язык испытывал влияние церковнославянского и сам активно влиял на него. Если в области деловых документов он оставался самим собой, то в летописной и художественной литературе он в XII—XIII вв. превращается в новый тип литературного языка, в котором древнерусские слова и формы вступают в синонимические отношения с соответствующими им церковнославянскими.

Церковнославянский язык постепенно сближался с новым типом древнерусского, особенно в мемуарной литературе. Скажем, Житие и хождение Данила Русской земли игумена содержит в своей основе церковнославянскую речь, но очень обрусевшую, насыщенную восточнославянскими, иногда даже диалектными, элементами на всех уровнях ее структуры, что сближает этот памятник со Словом и с Повестью временных лет.

Вопрос о взаимном влиянии древнерусского и церковнославянского языков, слившихся в новый тип древнерусского литературного языка, освещался во многих работах: В. В. Виноградова [11], Ф. П. Филина [1], А. С. Львова [19] и др. Меньше изучалось проникновение восточнославянизмов в собственно церковнославянский язык, представленный, в частности, в канонической литературе.

Русские списки старославянских текстов XI и середины XII ст. содержат в себе сравнительно небольшое количество восточнославянизмов; это замена юсов через *оу*, *ю*, *а*, ꙗ, написания *ьр*, *ьрь* вм. *рь*, полногласие, *роз-* вм. *раз-*, начальное *о* вм. *е*, *же* на месте *жд* и *ч* вм. *щ*, *шт* и др. [20]. Что же касается языка переписанной на Руси канонической литературы

второй пол. XII—XIII вв., то он, кроме отмеченных, содержал еще целый ряд фонетических и морфологических особенностей: имена *ъ* > *о*, *ь* > *е*, *ѣ* > *е*, формы имперфекта на *-ѧхъ*, окончание прилагательных в род. п. ед. ч. м. рода *-аго* вм. *-ааго* и др. Но, пожалуй, наиболее ярки лексические особенности. В. В. Виноградов отметил в Житии Саввы Освященного такие чуждые кирилло-мефодиевским переводам и церковнославянским текстам южнославянского происхождения слова, как *крамольникъ*, *обьщенное*, *окаянъ*, *полата*, *посоулити*, *съборьнъ*, *прець*, *велькъ дн҃ь*, *оудосити* (εὑρεῖν), *свѧтыни* («святость»), *окъно*, *окънце*, *село* (δχήνωμα), *хороугъ*, *възвабити*, *привабьникъ*, *прѣвабити* («увлечь»), *оутворити* («украсить»), *лоущь* или *лоуща* (ζιβύνας), *бѣдити*, *въспитѣти* (τρέφειν), *напитѣти*, *каѳоликия*, *правоѣрьнъ* («православный»), *болѧринъ*, *попещисѧ*, *ѿпоудити*, *чадь*, *истрѣбити*, *исказа* (λύμη), *належати* (ὁ ἐπικείμενος), *въ знакъ*, *расколъ* [21] [4]. Очевидно, многие слова в церковнославянском языке создавались по образцу старославянских и со временем становились достоянием восточнославянских языков. На эту особенность развития церковнославянского языка обратил внимание Ф. П. Филин. «Надо выяснить,— пишет он,— что входило в русский язык непосредственно из старославянского (староболгарского) источника, а что было создано самими русскими» [1, с. 30]. Процесс этот начался именно тогда, во времена Киевской Руси. Анализируя состав «Повести временных лет», А. С. Львов отметил, что такие старославянские по фонетическому составу слова, как *власѧница*, *платъ* — *платити*, *отрокъ*, *схраниша* («похоронить») [19, с. 4—5], *скомрахъ* (др.-русск. *скоморохъ*) [19, с. 8] и др., являются на самом деле восточнославянизмами, выступающими в книжной, старославянской форме. К словам такого типа Ф. П. Филин относит *младость* («юность», «молодость»), возникшее на русско-церковной почве и отсутствующее в старославянском языке [1, с. 59].

Восточнославянский вариант старославянского языка, как и древнерусский язык, развиваясь в пространстве и во времени, постепенно впитывал в себя определенные местные черты. Этот процесс проявлялся с одинаковой последовательностью как в древнерусском, так и в церковнославянском языке. Отличие состояло лишь в интенсивности проникновения местных черт в оба языка. По наличию местных особенностей исследователи относят древнерусские и церковнославянские памятники к следующим регионам: галицко-волынскому, смоленско-полоцкому, псковскому и новгородскому. А. И. Соболевский выделял еще киевский и владимиро-суздальский регионы, которые, однако, по его мнению, не содержали ярких местных черт в языке.

В памятниках киевского происхождения действительно мало отражались местные черты, однако причина этого явления не в их отсутствии. Чтобы убедиться в этом, следует более подробно проанализировать местные особенности одной из церковнославянских рукописей второй пол. XIII в. — так называемого Оршанского евангелия (далее — ОрЕ), принадлежавшего ранее церковно-археологическому музею в Киеве, а в настоящее время хранящегося в отделе рукописей ЦНБ АН УССР [23].

О месте написания этого памятника до сих пор ведутся споры, но уже сам этот факт может свидетельствовать о том, что он написан в традиционном центре развития литературных языков восточного славянства — Киеве. На сохранение церковнославянского языка в неиспорченном виде в рукописях, исходивших из Киева, указывал в свое время И. В. Ягич [24], что вызвало возражения со стороны А. И. Соболевского [25, с. 351]. Последний снова повторил свое мнение о том, что киевский говор в древности «был окрашен далеко не так резко, как новгородский того же времени» [25, с. 351]. Об «окрашенности» или «неокрашенности» говора можно говорить лишь при наличии определенных норм литературного языка. Следовательно, возражения А. И. Соболевского против большей

[4] Из приведенного В. В. Виноградовым списка исключены слова, попавшие в него случайно. К ним относятся такие хорошо известные из старославянских источников слова, как *изволити*, *рачити*, *пьрѧ*: *моудити* (*и прѣмоудити*), *слоужба*, *мотыка*, *мѧсопоусть*, *каженикъ*, *благодѣть* и др.

языковой подготовки киевских книжников перечеркиваются его же утверждениями о диалектной «неокрашенности» речи киевских переписчиков. Поэтому те документы, которые не содержат ни новгородских, ни псковских, на галицко-волынских особенностей, в том числе евангелие церковно-археологического музея в Киеве [25, с. 356], он сам относит к киевским памятникам. О киевском происхождении ОрЕ говорил также П. Пылаев [26], ссылающийся на языковые особенности памятника. В наше время киевское происхождение ОрЕ отстаивает Я. Запаско, который, правда, относит памятник к домонгольскому периоду [27].

Сравнение Оршанского евангелия-апракоса с переписанным в 1056 г. Остромировым евангелием-апракосом (далее — ОЕ) позволяет увидеть как отдельные новые черты в структуре народного восточнославянского языка, отразившиеся в тексте ОрЕ, так и тенденции в передаче особенностей старославянского текста, которыми руководствовался переписчик XIII в. Обращает на себя внимание факт, что те общерусские черты, которые попадали в текст ОЕ спорадически, в редакции XIII в. выступают регулярно. Сюда можно отнести довольно последовательную замену *ъ* > *о* и *ь* > *е* (ср. *ръпътаахѫ*, ОЕ, л. 114 — *ропътахоу*, ОрЕ, л. 76, *скрьжьтъ*, ОЕ, л. 108об — *скрьжетъ*, ОрЕ, л. 69), опущение *ъ* и *ь* в слабых позициях (ср. *въси*, ОЕ, л. 108об — *вси*, ОрЕ, л. 69, *по мънѣ*, ОЕ, л. 111 — *по мнѣ*, ОрЕ, л. 71об, *мьнѭ*, ОЕ, л. 113 — *мню*, ОрЕ, л. 57об) при довольно частом их сохранении в сильных [5]; употребление букв *оу* (*ю*) вм. *ѫ*(*ѭ*) и *а*(*ꙗ*) вм. *ѧ*(*ѩ*) (*притъчѫ*, ОЕ, л. 107 об — *притъчю*, (ОрЕ) л. 68об, *сиѭ*, ОЕ, л. 107об — *сию*, ОрЕ, л. 68об, *птицѧ*, ОЕ, л. 108 — *птица*, ОрЕ, л. 68об. *небесьныѩ*, ОЕ, л. 108 — *нб*(*с*)*ныꙗ*, ОрЕ, л. 68об., *оуподоблѭ*, ОЕ, л. 108 — *оуподоблю*, ОрЕ, л. 68об, *мѫцѣ*, ОЕ, л. 108 — *моуцѣ*, ОрЕ, л. 68об, *не възмогѫть*, ОЕ, л. 108 — *не възмогоуть*, ОрЕ, л. 68об, *стоѩти*, ОЕ, л. 108об — *стоꙗти*, ОрЕ, л. 68 об, *възлѧгѫть*, ОЕ, л. 109 — *възлагоуть*, ОрЕ, л. 69); при передаче нестяженных форм имперфекта сочетанию *ѣа* в ОЕ соответствуют графические *ѧ* и *ꙗ* в ОрЕ (*бѣахѫ*, л. 109об — *бѧхоу*, л. 70об, *сѣдѣше*, л. 112 — *сѣдꙗше*, л. 73об, *идѣаше*, л. 112об — *идѧше*, л. 73об); в позиции перед (*j*) вместо *и* последовательно употребляется *ь* (*абиѥ*, ОЕ, л. 112об — *абьѥ*, ОрЕ, л. 73об, *пиѭ*, ОЕ, л. 113 — *пью*, ОрЕ, л. 75об, *биѥше*, ОЕ, л. 116 об. — *бьꙗше*, ОрЕ, л. 78об, *диꙗволоу*, ОЕ, л. 121об — *дьꙗволоу*, ОрЕ, л. 85об. [6]); старославянские сочетания плавного с глухим *ръ*, *лъ*, *рь*, *ль* заменяются древнерусскими сочетаниями глухих с плавными (*зрьноу* ОЕ, л. 108 — *зърноу*, ОрЕ, л. 68об, *оумлъчашѧ*, ОЕ, л. 109об — *оумълчаша*, ОрЕ, л 71, *высокомръзость*, ОЕ, л. 112 — *высокомьрзость*, ОрЕ, л. 73об, *оумлъчить*, ОЕ, л. 112 — *оумълчить*, ОрЕ, л. 78, *въврьгошѧ*, ОЕ, л. 116 — *въвьргоша*, ОрЕ, л. 80, *прьси*, ОЕ, л. 116об — *пьрси*, ОрЕ, л. 78об.); в отдельных случаях вместо *ър*, *ъл* встречается *ор*, *ол* (*длъжьни*, ОЕ, л. 113 — *должьни*, ОрЕ, л. 75об); вместо старославянского *жд*, как и в других памятниках этого времени, последовательно употребляется восточнославянское *ж* (*прохождааше*, ОЕ, л. 108 — *прохожаше*, ОрЕ, л. 68об., *даждь*, ОЕ, л. 110 — *дажь*, ОрЕ, л. 71, *продаждь*, ОЕ, л. 111 — *продажь*, ОрЕ, л. 71 об, *прихождааше*, ОЕ, л. 114 — *прихожаше*, ОрЕ, л. 78, *въ одеждахъ*, ОЕ, л. 115об — *въ одежахъ*, ОрЕ, л. 80, *жаждѫща*, ОЕ, л. 121 — *жажюща*, ОрЕ, л. 85); изредка неполногласные формы заменяются полногласными (*тлѣщи* в двѣри, ОЕ, л. 108об — *толощи* въ двьри, ОрЕ, л. 68об — 69); вместо старославянского начального *ю* (*jу*) довольно последовательно употребляются восточнославняское *у* (*сѣвера* и *юга*, ОЕ, л. 108об — 109 — сѣвера и *оуга*, ОрЕ, л. 69, изъ *юности*, ОЕ, л. 111 — изъ *оуности*, ОрЕ, л. 71); вместо нестяженных форм полных прилагательных, причастий, местоимений, а также глагольных форм имперфекта регулярно употребляются стяженные формы (*спсающиихсѧ*, ОЕ, л. 108 — *спсающихъсяѧ*,

---

[5] Подробнее см. об. этом [28, с. 37—40].

[6] Эта черта характерна и для других памятников, написанных на Руси в XII—XIV вв. Ср. *абье* в Галицком ев. 1144 г. [29, 43], *абьѥ* в Добриловом ев. 1164 г. [29, 58], *веньꙗминовѣ* в паремейнике по списку 1271 г. [29, 76] и др.

ОрЕ, л. 68об, *котораaго*, ОЕ, л. 110 — *котораго*, ОрЕ, л. 71, *званыимъ*, ОЕ, л. 110 — *званымъ*, ОрЕ, л. 71, *на послѣдьниимь*, ОЕ, л. 110 — *на послѣдьнемь*, ОрЕ, л. 71, *нищиимъ*, ОЕ, л. 111 — *нищимъ*, ОрЕ, л. 71об, *имааши*, ОЕ, л. 111 — *имаши*, ОрЕ, л. 71об, *въпрашааше*, ОЕ, л. 112 — *въпрашаше*, ОрЕ, л. 73об, *идѣаше*, ОЕ, л. 112об — *идѧше*, ОрЕ, л. 73об, *не можааше* ОЕ, л. 113об — *не можаше*, ОрЕ, л. 76, *хотѣаше*, ОЕ, л. 113об — *хотѧше*, ОрЕ, л. 76, *ръпътаахоу*, ОЕ, л. 114 — *ропътахоу*, ОрЕ, л. 76, *меньшиихъ*, ОЕ, л. 122 — *меньшихъ*, ОрЕ, л. 75об); стяжение гласных наблюдается также в именах: *авраама и исаака и ꙗкова*, ОЕ, л. 108об. — *аврама исака и ꙗкова*, ОрЕ, л. 69. Все эти фонетические явления имеют общевосточнославянский характер. К ним, пожалуй, следует отнести и мену ѣ > *и*, *и* > ѣ, к тому же весьма ограниченную [28, с. 34—35]. К южнорусским можно причислить довольно последовательное смягчение *ц* в формах существительного: *въ тьмницю*, ОрЕ, л. 2, *поушеницю*, л. 2об, *пшеницю*, л. 13об, *коупцю*, л. 14 и т. д. [28, с. 42].

Ряд графических особенностей отделяет переписанные на Руси книги от их старославянских образцов. Так, в ОрЕ буква ѣ нередко выступает на месте *е* (*иѥрѣомъ*, л. 69, *фарисѣиска*, л. 70об, *фарисѣомъ*, л. 70об, *фарисѣи*, л. 78) и наоборот — вместо протографа в некоторых словах последовательно пишется *е* (ср. *дрѣво*, ОЕ, л. 108 — *древо*, ОрЕ, л. 68об, *на прѣдьнимь*, ОЕ, л. 110 — *на преднемь*, ОрЕ, л. 71, *прѣдъ*, ОЕ, л. 110об, л. 120об — *предъ*, ОрЕ, л. 71, 85, *прѣпоꙗсавъсѧ*, ОЕ, л. 113 — *препоꙗсавъсѧ*, ОрЕ, л. 75об, *врѣмѧ*, ОЕ, л. 119об — *времꙗ*, ОрЕ, л. 84об, *прѣже*, л. 119об — *преже*, ОрЕ, л. 84об), больше проявляется общепринятых сокращений типа *р(ч)е*, ОрЕ, 86 об вм. прежнего *рече* и т. п.

Пожалуй, самые интересные явления наблюдаются в лексике. Прежде всего, следует отметить постепенную замену непереведенных ранее греческих слов их древнерусскими соответствиями и адаптированными церковнославянизмами. Этот процесс характеризует тексты, переписанные не только в Киеве, но и в других древнерусских городах, чему, конечно, способствовал пример Киева. Писец, работающий над текстом ОрЕ, передает греческое *момона* (μαμωνᾶς), оставленное в ОЕ без перевода (л. 111об), древнерусским словосочетанием *неправьдьноѥ б҃атьство* (л. 73об). Традиция такой замены у киевских книжников существовала еще с XI в. и продолжалась в последующие века. Например, в Изборнике 1073 г. на л. 30 против слова *мамонѣ* на поле пишется глосса — *несытьствоу*, а на л. 80 слово *мамонна*, как и в одном из мест ОЕ, сопровождается прилагательным *неправьдьныи*. В Галицком ев. 1144 г. этому предложению ОЕ (*въ неправьдьнѣмь мамонѣ вѣрьни не бысте*) соответствует: *въ неправьд'нѣмь жїтьи не бысте вѣрьни* [29, с. 50]. Словосочетание *неправѣдьному б҃атьству* зафиксировано в евангелии 1409 г. [30, II, стлб. 109].

Греческое δύολεπτά (в ОЕ *дъвѣ лептѣ*, л. 116) писец ОрЕ заменяет более употребительным в то время *двѣ цѧтѣ* (л. 80). Слово *цѧта* наличествует в Юрьевском ев. 1119 г., в Исходе, гл. XXX, 13 по списку XIV в. и др. [30, III, стлб. 1434—1435]; оно употреблялось еще в значениях «деньги», «доска», «украшение». Со ссылкой на Исход, гл. XXX, л. 13 слово *цата* помещает в своем «Лексиконе» П. Берында: еллински, динаръ. нарицателнѣ. що десѧт' в' собѣ мае(т). собстъвнѣ, гро(ш), що десѧть пѣнѧзей плати(т) [31, с. 155]. Как церковнославянизм слово сохранилось в русском языке, ср.: 1) *цата* ж. гривенка, приклад, подвеска у икон, от венца. Жемчужная цата. // Црк. монетка, динарий [32, IV, с. 571]; *цята* ж. цата. Устрои ѣ (церковь) различными цятами и аспидными цятами украси [32, IV, с. 579]. В народный украинский язык *цята*, *цятка* вошло со значениями «капля», «крапинка», «пятнышко», «точка», причем промежуточным значением было «украшение», «кусочки перламутра», употребляемого для инкрустации» [33, IV, с. 440]; слово известно также в украинских диалектах со значением «малость» (входит в состав фразеологизма *до цятки* — «всецело» [34, II, с. 1058]).

Подобные замены наблюдаются в Мстиславовом ев. 1125—1132 гг. (*въ геѡнѫ — въ дьбрь ѿгньнѫю*) [29, с. 38], в Галицком ев. 1144 г. (съвлѣкошѧ

съ него *хламӱдѫ* — съвлѣкоша съ него окрїлъ [29, с. 48]), в Поликарповом ев. 1307 г. — (и облачаашесѧ въ порфурѫ и въ *вуссъ* — иже ѡблачашесѧ въ *багрѧницю* и *черьвленицю* [29, с. 106]).

Одной из самых интересных замен этого типа в ОрЕ является передача греческих слов *сукамина* (л. 113) (συκάμινα) «шелковичное дерево» и *сукомориꙗ* (л. 113об) (συκομορέα) «смоковница» древнерусскими соответствиями *ꙗгодина* (ОрЕ, л. 75об) и *ꙗгодичина* (ОрЕ, л. 76). Интересно отметить, что в Юрьевском ев. 1119 г. оба слова — *сукамина* и *сукомориꙗ* — передаются одинаково — *ꙗгодичина* [30, III, стлб. 1639]. Соответствие *сукомориꙗ* — *ꙗгодичина* (*агодичина*) зафиксировано также в XIII словах Григория Назианзина по списку XI в. [30, I, стлб. 6] и в Галицком ев. XIIIв. [30, III, стлб. 1639]. Можно было бы предположить, что соответствие *ꙗгодина* (ОрЕ, л. 75об) появилось как ошибочное написание слова *ꙗгодичина*. Однако в Житии и хождении Данила Русьскыя земли игумена, 1106—1108 (Спб., 1896) также находим: *смоквы* и *ягодина*, и *масличіе и рожци*. Не исключается, что оно употреблялось и в старославянском языке, поскольку исходное для него *агода* выступало в качестве текстологического дублета к слову *плодъ* в целом ряде старославянских памятников [15, с. 47]. Л. Зизаний к слову *смоква* приводит соответствия *фикга*, *смоковница*, *дерево фикговое*. П. Берында в качестве соответствия к *сѵкоморъ* приводит *плонная фіґа* [31, с. 234]. В Даль в гнезде *ягода* подает *ягодичие* с пометой црк. *плод ягодичины*, *дерева фига*, *смоквы*, *сикомора* [32, IV, с. 673].

Церковнославянский язык на Руси был живым, развивающимся средством литературного общения. В области лексики в нем наблюдались те же процессы, что и в старославянском языке IX—X вв.: образование синонимических рядов, а отсюда лексическое варьирование. В большинстве случаев лексические и словообразовательные варианты входили в состав уже установившегося запаса старославянского языка. Например, в аналогичных контекстах ОЕ и ОрЕ находим следующие варьирующиеся пары: *стѫденьць — кладѧзь*, *прѣлюбы — любодѣꙗниѥ*, *лъжьсъвѣдѣтѣль — лъжипослоухъ*, *скръбь — печаль*, *црствиѥ — црство*, *небрѣжениѥ — обида*, *идти — грѧсти*, *сѫпьрь — соупьрникъ*, *мьздоимьць — мытарь*, *пастырь — пастоухъ*, *животъ — жизнь* и др. Лексическое варьирование этого типа скорее всего связано с наличием различных источников в руках древнерусского переписчика. Так, *стѫденьць* (ОЕ, л. 110) характерно для таких источников, как Мариинское ев., Ассеманиево ев., Саввина книга, Синайский Евхологий, тогда как соответствующее ему в ОрЕ *кладѧзь* (л. 71) характерно для Зографского ев. и встречается в Синайском Евхологии [15, с. 49]. В ОЕ слово *любодѣаниѥ* употребляется в контексте, совпадающем с Зографским, Мариинским и Ассеманиевым ев. [15, с. 247—248]: мы отъ *любодѣаниꙗ* [в Зогр. *любодѣаниѣ*] нѣсмъ рождены (И. VIII.41); вместе с тем здесь обычно слово *прѣлюбы* (л. 110об); последнее, употребленное в данном случае в прямом значении, в ОрЕ заменено словом *любодѣаниѥ*. Сказать, что в этом проявилось стремление переписчика к унификации лексики, нельзя, так как *лоубодѣꙗниꙗ не створи* употреблено также в Вукановом ев. Интересна замена *лъжьсъвѣдѣтель* (ОЕ, л. 110об.) на *лъжипослоухъ* (ОрЕ, л. 71). Оба слова были известны старославянскому языку [15, с. 246]. Однако в «Материалах...» И. Срезневского фиксируются слова, производные только от *съвѣдѣтель*: *лъжесъвѣдѣтелевати*, *лъжесъвѣдѣетелюю*, *лъжесъвѣдѣтель*, *лъжесъвѣдѣтельствовати*, *лъжесъвѣдѣтельствую* [30, III, стлб. 676—677]; от слова *послоухъ*, довольно широко распространенного в деловых документах и в летописях, подобные сложения, как видно, редки. Что касается слова *лъжипослоухъ*, то оно не засвидетельствовано ни Срезневским, ни Востоковым, ни Миклошичем, ни Данчичем [15, с. 246]. Пожалуй, фиксация слова *лъжипослоухъ* в ОрЕ — первое свидетельство его проникновения в церковнославянский язык. Не было локализовано на Руси употребление словообразовательных вариантов *црствиѥ* (ОЕ, л. 111) и *цр(с)тво* (ОрЕ, л. 71об.). Первое засвидетельствовано также в

Изборнике 1073 г., в несторовом Житии Бориса и Глеба и в Житии Феодосия, в Триоди постной XI в., в евангелии 1270 г. и др., второе — в Юрьевском ев. 1119 г., в Пандектах Антиоха XI в. и в тех же несторовых житиях. Такая же вариативность слов *цѣсарствиѥ* и *цѣсарьство* была характерна и для старославянских памятников, причем оба слова исследователи относят к наиболее распространенным словам старославянского языка [15, с. 39]. Значению «противник», «враг» в старославянском языке соответствовал ряд слов: *сѫпротивьникъ*, *сѫпостатъ*, *сѫпьрьникъ*, *противьникъ*, *сѫпьръ* [15, с. 87]. Последнее Р. М. Цейтлин относит к архаизмам: «*Сѫпьрь* сохраняется в ср.-болг. Врач., Добр. и Добрмр, но в ЦП восточнославянской редакции и в Вук обычно употребляется тот же вариант, что и в Супр: *сѫпьрьникъ*» [15, с. 87]. В ОЕ имеем *отъ сѫпьра моѥго* [л. 114об], чему в ОрЕ соответствует ѡ(*т*) *соупѣрника моѥго* (л. 78). Первое употребляется в самых старых древнерусских памятниках (в Пандектах Антиоха XI в., в четвероевангелии 1144 г.) [30, III стлб. 625], второе имеет продолжение и в более поздних [30, III, стлб. 126]. Синонимическая пара *пастырь* и *пастоухъ* в старославянском языке представляла собой соответствие более древнего, охридской традиции, более новому, преславской традиции [15, с. 288]. В церковнославянском языке оба слова употребляются параллельно [30, II, стлб. 386—387]. Они зафиксированы и в ОЕ. И все же старое имеет тенденцию уступать более новому: *пастырь* (ОЕ, л. 120об) — *пастоухъ* (ОрЕ, л. 85). Лексемы *животъ* и *жизнь* принадлежат к числу наиболее употребляемых в старославянских памятниках [15, с. 38—39]. ОрЕ, как и другие церковнославянские источники, отражает тенденцию к замене *животъ* словом *жизнь*: въ *животъ вѣчьныи* (ОЕ, л. 122) — въ *жизнь* вѣчьноую (ОрЕ, л. 85об). Лексема *жизнь* в древнерусских памятниках наполняется новым содержанием, приобретает новые значения: «образ жизни», «существо», «оживление», «имущество» и др. [30, I, стлб. 872—873]. Как видим, предпочтение слову-синониму связано со степенью его распространения в древнерусских памятниках.

В определенной степени можно предполагать, что ОЕ по составу своей лексики ближе к сравнительно поздним старославянским памятникам типа Зографского ев. (ср. употребление слов *любодѣаниѥ*, *небрѣщи*, *мьздоимьць*). ОрЕ в целом отражает стремление киевских книжников внести определенный вклад в развитие старославянского языка восточнославянской редакции. Рассмотрим несколько употребляемых в нем лексем, выступающих в качестве замены более ранним древнерусским редакциям евангелия.

Слово *небрѣжениѥ* встречается только в одном старославянском памятнике — в Зографском ев. Очевидно, отсюда исходный глагол *небрѣщи* был перенесен в ОЕ: а о дроузѣмъ *небрѣщи* въчьнеть (л. 111об). Глагол *небрѣщи* вошел также в лексикон Изборника 1076 г., Минеи 1097 г., Пандектов Антиоха XI в., Псковской I летописи, Ефремовской кормчей и других древнерусских памятников. В ОрЕ этот же текст имеет следующую интерпретацию: а дроугаго *преобидить* (л. 73об). И. Срезневский фиксирует это слово в Минее 1096 г., в Ефремовской кормчей, в Русской правде Вл. Мономаха, в Ипатьевской летописи, в Псковской I летописи и др. источниках с приставкой *при-*: *приобидеть*. Можно предполагать, что это восточнославянское новообразование.

Выбор слова в более позднем источнике не всегда свидетельствует об обновлении старославянской лексики. Например, замена *мьздоимьць* (ОЕ, л. 116об) словом *мытарь* (ОрЕ, л. 78) указывает на возврат к более древнему слову. Из старославянских источников первое содержит только Зографское евангелие [15, с. 35], что дает основание Р. Цейтлин относить его к числу лексем, которые в древнейших старославянских памятниках не встречаются [15, с. 21]. В ОЕ употребляются оба слова — *мьздоимьць* и *мытарь* — как соответствия греч. τελώνης. Переписчик стремится избежать местоимения *нѣкый*, заменяя его соответствием *нѣкто* или *кто*: и *се* чл҃вкъ *нѣкыи* (ОЕ, л. 109об) — и се чл҃вкъ *нѣкто* (ОрЕ, л. 70об), ѥгда зъванъ бѫдеши *нѣкоторымъ* на бракъ (ОЕ, л. 110) — ѥгда званъ боудеши *кымъ* на бракъ (ОрЕ, л. 71). Древнейшие старославянские памят-

ники не фиксируют прилагательного *печальнъ*. В ОрЕ в качестве текстуального соответствия к *прискорьбьнъ* (ОЕ, л. 111) выступает *печаленъ* (л. 71об). Замена явно мотивирована тем, что в древнерусских памятниках, как списанных из старославянских источников, так и в оригинальных, расширилось гнездо слов с корнем *печал-*: *печаливый* (Пандекты Антиоха, XI в.), *печалити* и *печаловати* (там же), *печаловатисѧ* (Изб. 1076 г., Ипат. летопись, Новг. I летопись, Лавр. летопись), *печаль* (ОЕ, Синайский патерик XI в.), *печальный* (ОЕ, Юрьевское ев., 1119 г. и др.) [30, II, стлб. 921—924]. Очевидно, этими же мотивами объясняется вытеснение слова *хыщьникъ* словом *грабитель*, *брань* — словом *рать*, *ꙗзыкъ* — словом *страна* и др.

Отдельные слова в силу своей распространенности в древнерусских памятниках и совпадения с соответствующими древнерусскими словами приобретали стилистическую окраску обыденности. Переписчики евангельских текстов обращались в таких случаях к словам, в истинно старославянском происхождении которых не приходилось сомневаться. К тому же стилистические различия в употреблении слов-синонимов постепенно выделяли их и в семантическом плане. Так, во фразе *пошѫсѧ* дъва краты (ОЕ, л. 116об) переписчик заменяет глагол *пошѫсѧ* его соответствием *алчю* (ОрЕ, л. 78). В древнерусских текстах *алкати* как менее употребительное старославянское слово имеет тенденцию к замене ставшего обыденным *поститисѧ*. Между этими словами возникают и ощутимые семантические отличия: *поститисѧ* — «соблюдать пост», «воздерживаться от пищи», *алъкати* — «голодать», «соблюдать пост». Общность значения «соблюдать пост» приводит к замене первого глагола вторым. Не менее ярко видна эта тенденция на примере замены глагола *идти* глаголом *грѧсти*. В ОЕ употребляются оба слова: отъ страха и чаанию *идѫщиихъ* на вьселѥннѫѭ (л. 120); Нє вѣстє, отъкѫдоу *грѧдоу* (И. VIII, 14). В ОрЕ в первом предложении вместо нейтрального *идѫщиихъ* употреблено причастие от менее распространенного, а следовательно, более торжественного глагола *грѧсти*: ѡ(т) страха чаꙗниꙗ *грѧдоущаго* на всю вселєноую (л. 84об).

Работая над конфессиональными текстами, переписчик взвешивал степень сохранения словом своей прежней семантики в контексте древнерусских вариантов старославянского языка. Так, почти неупотребляемый в старославянском языке глагол *назирати/назираѫщє и* (ОЕ, л. 109об) заменяется его распространенным синонимом *блюсти* (*блюдоущє* ѥго — ОрЕ, л. 70об); глагол *подражати* изредка употреблялся на Руси в значении «насмехаться», «ругаться», однако гораздо чаще он выступал со значением «следовать», «поступать так, как кто-то» [30, II, стлб. 1045]. Поэтому в соответствующем контексте ОрЕ переписчик прибегает к глаголу *похоулити*/и *похоулѧхоуть* и (л. 73об); это слово, известное из Зографского ев., употреблялось в таких древнерусских памятниках, как Минея 1097 г., Юрьевское ев. 1119 г., ярлык хана Менгу Тимура 1267 г., и др. [30, II, стлб. 1321]; довольно последовательно вместо слова *ꙗзыкъ* в значении «народ», «племя» употребляется *страна*/тѫга *ꙗзыкомъ* (ОЕ, л. 120), *ꙗзыци* (л. 120 об) — *тоуга страномь* (ОрЕ, л. 84 об), *страны* (л. 85); в старославянском языке в этом значении последовательно выступало слово *ꙗзыкъ*; глагол *наслѣдовати* получил на Руси преимущественное значение «получать в наследство», «унаследовать»; и хотя он прочно вошел в сочетание *наслѣдоуитє оуготованоѥ вамъ цр҃ствиѥ* (ОЕ, л. 121, см. также [30, II, стлб. 333]), все же в данном контексте он имеет тенденцию к замене глаголом *приимати*: *примѣтє оуготованоѥ вамъ цр҃(с)твиѥ* (ОРЕ, л. 85); Ащє ли крєстишисѧ, и сє получиши, и цьр҃ство нєбєсное *пріимєши* (Псков. I летопись, 6496) [30, II, стлб. 1503—1504]. Все эти сдвиги в синонимических рядах старославянской лексики полностью подтверждают мысль В. В. Виноградова о том, что «разные по времени и по месту образования лексические пласты строславянского языка становились стилистически равноценными, синонимичными и однородными в лексическом строе древнерусского языка. Напротив, стилистически близкие словарные гнезда или ряды старославянского языка могли в книжно-славянском типе рус-

ского языка разойтись. Многие старославянизмы должны были слиться с русизмами, многие — отмереть или подвергнуться изоляции. Само собой разумеется, что эти процессы были длительными и сложными» [11, с. 94].

Если замена менее употребительных и переосмысленных на древнерусской почве слов выступает в памятниках церковнославянского языка как довольно распространенное явление, то употребление собственно древнерусских лексем вместо старославянских наблюдается сравнительно редко. К тому же доказательства восточнославянского происхождения слова не всегда могут считаться безупречными, поскольку сохранились далеко не все памятники старославянского языка. Между тем восточнославянизмы весьма интересны в том отношении, что они могут отражать местные особенности древнерусских говоров. К восточнославянизмам можно причислить относительное прилагательное *иглѧныи*: сквозѣ *иглѧнѣи* оуши (ОрЕ, л. 71об), употребленное также в Галицком ев. XIII в. [30, I, 1019]. Словосочетание *игляное ухо*, как, очевидно, весьма распространенное в конфессиональных текстах Юго-Западной Руси, зафиксировано в [35]. Поскольку в северо-восточных источниках употреблялись варианты *иглиный* и *игольный* [36], можно предполагать, что вариант *игляный* был локализован в Южной Руси. Древнерусское *миноути* заменяет собой старославянский глагол *мимоити* в трех значениях: «проходить мимо», «миновать» (о времени) и близкое к нему «исчезнуть». В ОЕ глагол *минѫти* употребляется как синоним *мимоити* во временном значении: небо и земла *мимоидеть*, а словеса моꙗ не имѫть *минѫти* (л. 120). Третьим синонимом этого глагола в данном памятнике выступает глагол *прѣити*: Доньдеже и *прѣидеть* нб҃о и земла, писмѧ ѥдино или ѥдина черта не *преидеть* от закона (М. У. 18). В ОрЕ этот же глагол в форме *преити* выступает вместо синонима *миноути*: словеса моꙗ не имоуть *преитi* (л. 85). Следовательно, в церковнославянском языке существовал синонимический ряд *миноути — мимоити — прѣити*, в котором объединились глаголы по семеме «миновать, отходить в прошлое, в вечность». В пространственном значении употреблялись глаголы *мимоити* и *прѣити*: ꙗко не мощи никомоу же *мимоити* пѫтьмь тѣмь (ОрЕ, л. 113 об). В южнорусских памятниках в этом значении выступает также глагол *миноути*. В частности, он зафиксирован в Галицком ев. 1144 г., в Синайском патерике XI в., в Поучении Вл. Мономаха, в Житии и хождении игумена Данила XI в., в Поликарповом ев. 1307 г. и др. Эта традиция продолжена в украинских грамотах XIV—XV вв. [37, I, 594]. По этому признаку ОрЕ также относится к южнорусским памятникам, поскольку в нем *миноути* употреблено в пространственном значении: възлѣзе на ꙗгодичиноу видѣти іса ꙗко тоудѣ хотѧше *миноути* (л. 76). Такой вывод подтверждают и более поздние лексикографические источники. Например, в «Лексиконе латинском з Калепина преложеном» Е. Славинецкого (XVII в.) при латинском *pra(e)tereor* наряду с традиционным церковнославянским *мимоиду* приводится и украинское *минаю*. Интересно также соотношение наречий *по сихъ* (ОЕ, л. 114об) и *послѣ* (ОрЕ, л. 78). Последнее встречается также в Переяславской летописи под 6660 г., в смоленской грамоте 1229 г., в Новгородской I летописи под 6767 г. и др. [30, II, стлб. 1243]. Однако в отличие от предыдущих слов его трудно локализовать. Скорее всего, это общерусское слово, поскольку оно встречается как в севернорусских, так и в южнорусских памятниках и имеет последующую традицию употребления в старорусском и староукраинском языках.

Фонетические и словообразовательные варианты слов, употребляющиеся в ОЕ и в ОрЕ, также указывают, с одной стороны, на желание приблизиться к старославянским образцам, а с другой — избежать вариантов, не нашедших распространения в восточнославянских книгах. Примером первой тенденции может служить введение в более поздних источниках варианта *ꙗсти* вместо употребляемого в более ранних (ОЕ, Изборник 1073 г. и др. [30, III, стлб. 1623]) *ѣсти*. Правда, *ꙗсти* употреблялось и в указанных книгах, однако в XII—XIV вв. заметна тенденция к полной замене корня *ѣс-/ѣд* корнем *ꙗс-/ꙗд-*. Ср. в Галицком ев. 1144 г.: *ѧдь* же ѥго бѣ проузї [29, с. 42] при *ѣдь* в ОЕ; в Добриловом ев. 1164 г. *ꙗсть*

[29, с. 59] при *ѣсть* в ОЕ. В ОрЕ по сравнению с ОЕ замена *ѣсти* вариантом *ꙗсти* довольно последовательна: *ѣхом* (ОЕ, л. 108об) — *ꙗдохомъ* (ОрЕ, л. 69), хлѣба *ѣсть* (ОЕ, л. 109об) — хлѣба *ꙗсть* (ОрЕ, л. 70об), *ѣмь* и пиѭ(ОЕ, л. 113) — ꙗмь и пью (ОрЕ, л. 75об) и др. В плане приближения церковнославянских памятников к старославянским следует рассматривать замену союза *ꙗко* его вариантом *акы* (в сравнительных конструкциях), общеславянского беспрефиксного *идти* старославянским *отъити*: *идѫть* си въ мѫкѫвѣчьнѫѭ(ОЕ, л. 122) — И ѡ(*т*)*идоуть* ти въ моукоу вѣчью (ОрЕ, л. 85об) и др. Очевидно, древнерусским новообразованием следует признать прилагательное *болѣзьнъ*, выступающее вместо старославянского *больнъ*: когда же тѧ видѣхомъ *больна* (ОЕ, л. 121об) — къгда тѧ видѣхомъ *болѣзна* (ОрЕ, л. 85об). При этом *больнъ* также продолжает активно употребляться, вытесняя иногда однокоренной глагол, например: *болѣхъ*. и посѣтисте мене (ОрЕ, лл. 85, 121) — *болєнъ бѣхъ* и посѣтисте мене (ОрЕ, л. 85).

Как видно из выборочного анализа лексического состава двух древнерусских рукописей — Остромирова и Оршанского евангелий — вполне созрела необходимость в создании словаря церковнославянского языка— древнерусской редакции старославянского языка.

В области морфологии наиболее интересными представляются формы звательного падежа: вм. *сн҃у дв҃довъ* (ОЕ, л. 112) появляется *сн҃е* дв҃двъ (ОрЕ, л. 73об), а вм. *Зак'хее* (ОЕ, л. 113об) — *Закхѣю* (л. 76). Эти замены свидетельствуют о том, что для переписчика формы звательного падежа были живыми и он вносил замены согласно привычным ему закономерностям их употребления. Отмеченные Г. Крыжановским морфологические особенности (формы *тобѣ*, *собѣ*, употребление ѣ вм. древнего ѧ(ꙗ) в род. п. ед. ч. ж. рода (*землѣ*, *притчѣ*, ѿ *смоковницѣ*, *стоѣ аполинарѣи* и др. [28, с. 24—25] отнюдь не выступает, как он считал, отличительными чертами белорусского языка. Являясь общевосточнославянскими, они вполне согласуются с протоукраинскими морфологическими чертами. Странно, что Г. Крыжановский признаки, по которым он считал возможным относить ОрЕ к белорусским памятникам, с не меньшей категоричностью квалифицировал в Лаврском ев. XIV в. как украинские. Сюда относится, скажем, употребление *оу* вм. *о* [28, с. 34 и 73], эвфонические вставки [28, с. 43 и 72].

Следовательно, киевский книжник искусно владел нормами церковнославянского языка и заботился о том, чтобы они распространялись по всей Руси. О южнорусском происхождении памятника, как видим, может косвенно свидетельствовать лишь употребление отдельных слов (*иглѧный*, *миноути*). Фонетических и грамматических особенностей, которые бы указывали на место написания памятника, его текст также содержит мало. Очевидно, в дореволюционных, как и в некоторых современных исследованиях, несколько преувеличивается «полицентризм» в развитии литературного языка периода Киевской Руси. В домонгольское время авторитет Киева сдерживал возможности развития вариантов. Об этом с полной категоричностью говорил В. В. Виноградов: «Не подлежит сомнению, что образовавшийся в главном культурном центре древней Руси, в Киеве, тип общего русского языка был устойчивее и определеннее в самом Киеве, чем в зависимых городах, например, таких, как Новгород, Галич или Смоленск. Язык центра более крепко оберегал свои орфографические и грамматические нормы» [11, с. 25]. Очевидно, видеть в местных письменных вариантах древнерусского языка, отличающихся проникновением в них локальных элементов, отдельные языки, в частности, киевский и новгородский [9, с. 35], нет оснований, поскольку различные памятники содержат эти элементы в разных количествах. Правда, это положение вряд ли можно распространить на устный язык. Известно, что особенностью донациональных литературных языков было их существование, а следовательно, и наличие норм только в письменной форме. Отсюда сравнительная легкость проникновения в письменную речь особенностей устной, ненормированной, диалектной, но осознаваемой как едино «правиль-

ной» речи [1, 100]. И все же не во всех землях давление устной речи на письменную, литературную было в равной мере заметным.

Киевский диалект как основа литературного языка развивался в едином письменно-литературном русле с ростово-суздальским. Только в послемонгольский период в памятниках с территории ростово-суздальской Руси начинают появляться отдельные местные черты. В образовании отдельных местных вариантов литературных древнерусского и церковнославянского языков можно заметить следующую хронологическую последовательность: 1) XII—XIII вв.— противопоставление киевского (нормативного) варианта, допускающего местные вкрапления, новгородскому, смоленско-полоцкому, псковскому и галицко-волынскому вариантам; 2) XIV—XV вв.— появление местных черт, с одной стороны, в киевской, а с другой — в ростово-суздальской письменной практике. Московский говор как прямой наследник ростово-суздальского в скором времени подавил своим авторитетом в литературной сфере новгородский, псковский и другие менее отчетливые местные варианты, превратившись в единый северно-восточнорусский литературный язык, четко противопоставляющийся юго-западнорусскому литературному языку.

Поскольку подавляющая часть дошедшей до нашего времени от древнекиевского периода литературы написана на церковнославянском языке, может создаваться впечатление, что древнерусский язык после прихода на Русь христианства играл малозаметную роль в литературной истории Киевской Руси. Очевидно, это мнение ошибочно. Хотя церковнославянский язык в первые столетия после принятия христианства действительно вторгался во все сферы духовной жизни феодальной Руси, однако на рубеже XI—XII вв. он все более оттеснялся в сферу конфессиональной литературы. После нашествия Батыя он употребляется преимущественно как язык церкви, тогда как остальные функции принимает на себя быстро пополняющийся из народно-разговорного источника и расчленяющийся со временем на ряд вариантов древнерусский литературный язык.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Филин Ф. П.* Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981.
2. *Кондукторова Т. С.* Антропология древнего населения Украины. М., 1972, с. 123.
3. *Алексеева Т. И.* Этногенез восточных славян по данным антропологии. М., 1973, с. 256.
4. *Сміленко А. Т.* Слов"яни та їх сусіди в степовому Подніпров"ї (II—XIII ст.). Київ, 1975, с. 65, 69—75 и др.
5. *Мавродин В. В., Фроянов Н. Я.* Энгельс об основных этапах разложения родового строя и вопрос о возникновении городов на Руси.— Вестник ЛГУ, 1970, № 20, с. 13.
6. *Рыбаков Б. А.* Предпосылки образования Древнерусского государства.— В кн.: Очерки истории СССР. III—IX вв. М., 1958.
7. Былины Севера. Т. I. Мезень и Печора. Записи, вступительная статья и комментарий А. М. Астаховой. М.— Л., 1938, с. 19.
8. *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. 2-е изд. М., 1958, с. 29—58.
9. *Соболевский А. И.* История русского литературного языка. Л., 1980.
10. *Рыбина Е. А.* Археологические очерки истории новгородской торговли. М., 1978, с. 23, 154.
11. *Виноградов В. В.* Избранные труды. История русского литературного языка. М., 1978.
12. *Ангелов Б. Ст.* К вопросу о начале русско-болгарских литературных связей.— ТОДРЛ, 1958, т. XIV, с. 138.
13. *Истрин В. М.* Очерк истории древнерусской литературы. Пг., 1922, с. 72—73.
14. Древний церковнославянский язык. Фонетика. Из лекций А. И. Соболевского. М., 1891.
15. *Цейтлин Р. М.* Лексика старославянского языка. Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X—XI вв. М., 1977.
16. *Малкова О. В.* О связи церковнославянского языка древнерусской редакции со старославянским языком.— ВЯ, 1981, № 4, с. 83.
17. *Андрианова-Перетц В. И.* Древнерусская литература и фольклор. Л., 1974, с. 35.
18. *Перетц В.* «Слово о полку Игоревѣ» и исторические библейские книги.— Сборник статей в честь акад. А. И. Соболевского. Л., 1928, с. 23.
19. *Львов А. С.* Лексика «Повести временных лет». М., 1975.
20. *Фалев И. А.* Заметки о «13 словах Григория Назианзина», рукописи XI века.— Сборник статей в честь акад. А. И. Соболевского, с. 248.

21. *Виноградов В. В.* Заметка о языке «Жития Саввы Освященного».— Сборник статей в честь акад. А. И. Соболевского, с. 351—352.
23. Слов"янські рукописи XI—XIV ст. Київ, 1969, с. 30—36.
24. *Ягич И. В.* Четыре критико-палеографические статьи. Приложение к отчету о присуждении Ломоносовской премии за 1883 г. С тремя литографированными таблицами. СПб., 1884, с. 98—99.
25. *Соболевский А. И.* Источники для знакомства с древнекиевским говором.— ЖМНП, 1885, февраль.
26. *Пылаев П.* Описание пергаментного евангелия, хранящегося в музее, состоящем при Киевской духовной академии.— Труды Киевской духовной академии, 1876 г., декабрь. Приложение.
27. *Запаско Я. П.* Орнаментальне оформлення української рукописної книги. Київ, 1960, с. 38—41.
28. *Крыжановский Г.* Рукописные евангелия киевских книгохранилищ. Исследование языка и сравнительная характеристика текста. Киев, 1889.
29. Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. Сост. Ф. Буслаевым. М., 1861.
30. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I. СПб., 1893; Т. II. СПб., 1895; Т. III. СПб., 1903.
31. Лексикон славенороський Памви Беринди. Підготовка тексту і вступна стаття Німчука В. В. Київ, 1961.
32. *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I — IV. М., 1955.
33. Словарь української мови. Зібрала редакція ж. «Киевская старина». Упорядкував з додатками власного матеріалу Б. Грінченко. Т. I. Київ, 1907; Т. II. Київ, 1908; Т. III—IV. Київ, 1909.
34. Малоруськo-німецький словар. Уложили Є. Желехівський і С. Недільський. Т. I—II. Львів, 1886.
35. Лексикон латинський Є. Славинецького. Лексикон словено-латинський Е. Славинецького та А. Корецького-Сатановського. Підготував до видання Німчук В. В. Київ, 1973, с. 453.
36. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 6. М. 1979, с. 78—79.
37. Словник староукраїнської мови XIV—XV ст. Т. I. Київ, 1977; Т. II. Київ, 1978.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1982

ФРАНЧУК В. Ю.

КИЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ КАК ПАМЯТНИК ЯЗЫКА

Киевская летопись, дошедшая до нашего времени в составе нескольких рукописных списков [1], по своему происхождению является сводом отдельных памятников письменности, объединенных, как установлено в научной литературе [2], игуменом Выдубицкого монастыря Моисеем в конце XII в. Жанровая и стилистическая неоднородность Киевской летописи отмечена историками древнерусской литературы [2]. И. П. Еремин считал, например, что вопрос об авторах Киевской летописи мог бы стать предметом специального исследования [3, с. 81]. Убедительно показан сложный состав этой летописи в книге Б. А. Рыбакова [1], посвященной выявлению и рассмотрению тех составных частей, из которых она сложилась.

Таким образом, кроме традиционного анализа языка Киевской летописи, который обычно исследуют как цельную речевую систему, намечается и иной путь — изучение особенностей языка отдельных авторов этого памятника. Подобное изучение представляет большие трудности в связи с тем, что произведения, вошедшие в летопись, неоднократно редактировались и переписывались. И в данном случае важное значение имеют наблюдения Б. А. Рыбакова над языком и стилем авторов и редакторов Киевского летописного свода, позволяющие связать отдельные фрагменты памятника с определенными лицами [3].

Наиболее четко вырисовываются при этом тексты, принадлежащие составителю свода игумену Моисею. Кроме завершающей Киевскую летопись Речи по поводу окончания строительства подпорной стены, укрепившей днепровский обрыв в восточной части Выдубицкого монастыря, Моисею приписывают непосредственно примыкающую к этой Речи Похвалу князю Рюрику Ростиславичу и некрологи сыновей великого князя Ростислава Мстиславича [4; 1, с. 60—64]. Лингвистический анализ названных выше текстов подтверждает предположение об авторстве выдубицкого игумена. Знаток церковной литературы, он и собственный рассказ строит в книжной манере [4], заметно отличающейся от летописного повествования.

Выявление языковых и стилистических особенностей произведений, бесспорно принадлежащих Моисею, представляет большой интерес. Во-первых, углубляется представление об одном из наиболее значительных древнерусских писателей XII в. Во-вторых, появляется возможность обнаружить в языке Киевской летописи и другие тексты этого автора. По мнению Б. А. Рыбакова, ему принадлежит также ряд редакторских вставок и дополнений, сделанных при составлении свода [1, с. 65]. Предположение Б. А. Рыбакова подкрепляется наблюдениями специалистов в области древнерусской литературы и древнерусского языка. Так, описывая основные типы летописных контекстов на материале Киевской летописи, И. П. Еремин выделяет погодные записи и рассказы, с одной стороны, и «повести», посвященные одной и той же теме — смерти того или иного князя, с другой [3, с. 82]. По мнению И. С. Улуханова, эти два типа по-

---

[1] Списков, сохранивших Киевскую летопись, немного: Ипатьевский начала XV в., Хлебниковский XVI в., Погодинский начала XVII в., Краковский конца XVII в. и Ермолаевский XVIII в.

[2] Детальный анализ исторической литературы по этому вопросу дается в книге Б. А. Рыбакова [1, с. 5—515].

[3] В статье употребляются условные имена летописцев, как уже принятые исторической наукой, так и предложенные Б. А. Рыбаковым.

[4] Подробнее о лексических особенностях произведений Моисея см. в статье В. Ю. Франчук [5].

вествования в основном соответствуют двум типам древнерусского литературного языка. Погодные записи и рассказы написаны народно-литературным языком. Сфера же функционирования книжно-славянского типа языка не ограничивается только повестями о княжеской смерти, но включает и религиозно-моралистические комментарии летописца к описываемым событиям [6]. В применении к нашему исследованию это означает, что однородный в языковом отношении материал с книжной окраской наблюдается в основном в тех текстах, которые могли быть внесены в памятник дополнительно.

Прежде всего работой редактора следует объяснить сюжеты церковного и религиозно-философского содержания. Такого рода вставки и дополнения в ткань памятника, как нам представляется, можно наблюдать в Киевской летописи с 1161 г. Здесь в описании борьбы за великое княжение Изяслава Давидовича с Ростиславом Мстиславичем, сделанном скорее всего летописцем Поликарпом, впервые ощущается рука Моисея, который, по-видимому, сохранил какие-то личные впечатления или записи о событиях тех дней.

В дальнейшем тексты, которые считаем вставками Моисея, при цитировании [5] выделяем абзацами:

нача Изѧславъ полкы рѧдити съ братьею. и доспѣвъ иде къ Подолью. а Ростиславъ стоꙗше съ Андрѣевиче(м) подлѣ столпье

> загорожено бо бѧше тогда столпиемъ ѡ(т) горы. ѡли и до Днѣпра. и бы(с) брань крѣпка велми зѣло ѡ(т) ѡбоихъ и летаху мнози оубиваеми ѡ(т) ѡбоихъ и тако страшно бѣ зрѣти. ꙗко второму пришествию быти.

и нача ѡдалати. Изѧславъ (515).

На позднейшее внесение данного отрывка указывает как наречие времени *тогда*, так и книжная окраска его лексических и стилистических средств (неполногласное существительное *брань*, архаичное наречие *зѣло*, церковное сравнение *ꙗко второму пришествию быти*). Правда, в данном случае наше предположение расходится с мнением Б. А. Рыбакова, который утверждает, что самые ранние следы редакторских вставок Моисея ощущаются в описании смерти родоначальника всех Ростиславичей князя Ростислава Мстиславича [1, с. 65], т. е. лишь с 1167 г. Следует учесть, однако, что как историк Б. А. Рыбаков обращает внимание преимущественно на те дополнения и вставки, которые имеют значение для содержания памятника. Для лингвистики же важны и такие вкрапления в чужеродный текст, которые не несут какой-либо смысловой нагрузки. При таком подходе количество вставочных текстов несомненно должно быть больше; наше внимание привлекают, например, и такие не существенные для исторической науки детали, как соотношение восточнославянских и старославянских элементов, имеющее место в языке Киевской летописи. Что касается примера, рассмотренного выше, то в другом месте своей книги, характеризуя летописца Петра Бориславича, Б. А. Рыбаков пишет: «От него нельзя ожидать такого замечания о жаркой битве, как „страшно бе зрети“, встречающегося однажды у монаха Моисея» [1, с. 143].

Более уверенно о руке Моисея можно говорить в отношении описания лунного затмения, имевшего место в том же 1161 г.:

и поиде Изѧславъ к Бѣлуграду.

> В то же верема бы(с) *знамение* в лунѣ. страшно и дивно. идаше бо луна черео все небо. ѡ(т) въстока до запада. измѣнѧючи ѡбразы своꙗ. бы(с) первое ии. *оубывание*. по малу. дондоже всѧ погибе. и бы(с) ѡбразъ еꙗ. ꙗко скудно черно. и пакы бы(с) ꙗко кровава. и пото(м) бы(с). ꙗко двѣ лици. имущи ѡдино зелено а другое желто. и посредѣ еꙗ ꙗко два. ратьнаꙗ. сѣкущесѧ мечема. и ѡдиному ею ꙗко кровь.

[5] Примеры цитируем по изданию [7]. Нумерация столбцов в тексте дана в круглых скобках.

идаше изъ *главы*. а другому бѣло акы *млеко* течаше. сему же рекоша старии людие. не *блго* есть сѧково *знамение* се *прообразуеть* книжю смрть еже бы(с) мы же на *пре(д)лежащее* *възвратимсѧ*.

Изѧславъ же пришедъ к Бѣлугороду. и стоꙗ ѡколо дѣтинца ·д· не(д)ли (516).

В этом описании не только сконцентрировано большое количество книжной лексики. Важнее то, что именно эти слова и грамматические формы встречаются и в других произведениях Моисея. Таков оборот *мы же на предлежащее възвратимсѧ*, которым выдубицкий игумен заканчивает свои вставки и в других случаях. На три полнозначных слова в этом обороте приходятся два примера неполногласия и субстантивированное причастие на *щ*. В описании дважды встречается существительное *ѡбраз* книжного происхождения и один раз производный от него глагол *прообразовати*. В Киевской летописи существительное *ѡбраз* отмечено несколько раз, и все случаи его употребления ведут к игумену Моисею. Например: Аньдрѣи же то слышавъ ѡ(т) Михна. и бы(с) *ѡбразъ* лица его попуснѣлъ (573); и вида *ѡбразь* бжии. и всѣ стыꙗ иконы. . . глѧ [Давид Ростиславич] г(с) и. ꙗко же дрѣвле разбоиника. и блоудницю и мытарѧ. ѡправдалъ еси. тако и мене г(с)и бже мои. ѡч(с)ти ѡ(т) грѣхъ моихъ (704). Характерны для произведений Моисея абстрактные существительные на *-ние* (*знамение*, *оубывание*), архаичный союз *дондоже*, глагольные образования на *щ* (*имущи*, *сѣкущесѧ*, *предлежащее*), неполногласные формы (*посредѣ*, *глава*, *млеко*, *благо*, *възвратимсѧ*, *предлежащее*). Стиль Моисея напоминает оригинальная манера толкования знамений (*сему же рекоша старии людие*). Показательно и то, что Г. Хютль-Ворт именно это описание выбрала для доказательства своего положения о связи лексики с сюжетом произведения как текст с большим количеством старославянизмов [8].

Единственное, что представляет трудность для объяснения, это употребление восточнославянского варианта *веремя* в начале отрывка; В то же *веремѧ* бы(с) знамение в лунѣ. Сложность здесь не только в том, что Моисей постоянно предпочитает неполногласные формы полногласным. Ведь полноголасные формы у выдубицкого игумена все же встречаются, иногда даже в непосредственной близости друг от друга, например, *сдоровье* и ѡ *здравьи* (712). Сама история слова *время* в восточнославянских языках такова [9], что исключает употребление полногласия начетчиками типа Моисея. Невозможно представить себе здесь и ошибку переписчика. Ведь по всей Киевской летописи противопоставление вариантов *время* и *веремя* последовательно сохранилось. Неполногласие отмечено у Моисея: В тое же *веремѧ* блговоли бъ поновлѧꙗ мл(с)тъ свою ѡ насъ (708); *веремѧ* бо требоваше слоугы своего (709); нбса бесловесное естьство. . . непременьно хранѧще оуставы *временемь* (713). Неполногласные формы встречаются также в записях летописцев сыновей Владимира Мономаха, у летописца Святослава Всеволодича, в суздальских текстах. Только два автора (Поликарп и Петр Бориславич) последовательно употребляют существительное *веремя*. Все записи, которые, по предположению Б. А. Рыбакова, связываются с их именами, знают лишь восточнославянский вариант этого существительного.

Приведем примеры. Поликарп: В то же *веремѧ* Всеволодъ. разлоучиваꙗ. съ братомъ своимъ. и даꙗ емоу [Святославу Ольговичу] Бѣлъгородъ (309); в то же *веремѧ*. Стославъ. ѡ(т)поусти воѣ своѣ в Половцѣ (339). В то же *веремѧ* прибѣгоша из Роуси дѣцкы. (341); и в то *веремѧ* приде к немоу Глѣбъ изъ Соуждалѧ. Тюргевичь (355); Посла Ростиславъ къ братьи. своеи. . . и стоꙗша оу Канева долго *веремѧ* (528); В то же *веремѧ* Володимиръ. Андрѣевичь. нача припрашивати волости оу Мьстислава. (543).

Петр Бориславич: В то же *веремѧ* Изѧславъ посла посолъ свои. къ Ростисл авоу (347); В то же *веремѧ* стоꙗше Изѧславъ верхъ Соупоꙗ (354); и в то *веремѧ*. приде к Изѧславоу вѣсть. къ Мьстисларичю (356); В то же

верема. пришелъ бѣ Гюргевичь старѣишии Ростиславъ. . . къ Изаславо Киевоу (366); в то же *верема* придоша къ Изаславу Володимиру оугре (386); Вячеславъ же в то *верема* сѣда— ше оу Вышегородѣ (394); и начаша чернии клобуци молвити. . . а ны(н) не твое *верема* поѣди прочь (401); В то же *верема*. Изаславъ сгадавъ сь затомъ своимъ королемъ (407); и ту бѣ в то *верема* мужь Двдвъ (535); оустрѣте и Ярославъ и ре(ч) имъ. нынѣ братыа не ходите но срекше *верема*. ѡже дасть бъ на лѣто поидемь (628); сдоумавше лѣпьшии моужи в черныхъ клобоуцехъ. и прихаша к Ростиславоу к Рюриковичю. и почаша емоу молвити. поеди кнаже с нами на вежи половѣцкыа *верема* ти есть. . . а такого ти *веремени* иногда не боудеть (677).

Как нам представляется, эти данные имеют важное значение. Во-первых, ими подтверждается существование летописей Поликарпа и Петра Бориславича в границах, намеченных в книге Б. А. Рыбакова. В-вторых, находит поддержку и гипотеза о том, что свод Моисея включил не только отдельные записи, но и готовые своды предшественников выдубицкого игумена [1, с. 172—183]. На это указывает, в частности, употребление формы *веремя* не только в середине летописных статей, но и в их начале в составе формулы *в то же веремя*, которой обычно пользовались редакторы и составители сводов. В-третьих, можно сделать вывод, что все редакторы и сводчики Киевской летописи, включая и Моисея, бережно относились к текстам своих предшественников. И, в-четвертых, даже переписчики, по-видимому, внесли не так много изменений в написание полногласных и неполногласных лексем. Что касается приведенной выше формулы *в то же верема*, которой начинается описание лунного затмения, то возможно такое решение. При формировании своего свода Поликарп внес фразу «В то же верема бы(с) знамение в лунѣ», а Моисей впоследствии продолжил ее личными записями.

Бесспорный факт последовательного употребления восточнославянского варианта *веремя* двумя летописцами XII в., писавшими в общей сложности не менее пятидесяти лет, позволяет высказать некоторые соображения и в области истории древнерусского литературного языка. Теперь, например, нельзя считать бесспорным утверждение о том, что существительное *время* относится к тем старославянизмам, которые «благодаря раннему их внедрению не только в письменный, но и в разговорный русский язык, совсем или почти совсем вытеснили параллельные восточнославянские лексемы» [10].

Многочисленны мелкие дополнения Моисея и в текст Петра Бориславича. Как правило, они не несут новой информации и в книге Б. А. Рыбакова не отмечены. Таково описание землетрясения под 1195 г., вставочный характер которого подтверждается наличием двух упоминаний об одном событии в одной статье. Такова и сентенция под 1196 г., вставленная в деловой текст о заключении мира:

> *преблгыи* и *премилосердыи* Х(с)ъ бъ нашь. не хота дати *радости дыаволоу*. ни дикымъ половцемь. ажь бахоуть на се готови. и *оустремилиса на кровопролитье*. и ѡбрадовалиса бахоуть свадѣ в роускыхъ князехъ. избави бъ кр(с)тнъ ѡ(т) роукъ неч(с)твыхъ. и ѡканьныхъ агаранъ (700).

С лингвистической точки зрения отрывок интересен в связи с употреблением книжной лексики, не характерной для всей статьи. Привлекают внимание грецизм *дьявол*, прилагательные с приставкой *пре-*: *преблагыи* и *премилосердыи*. В составе одного из прилагательных выделяется старославянизм *благыи*, а другого — сложное слово *милосердыи*. Кроме того, употреблены книжные обороты *оустремилися на кровопролитье*, *нечестивые оканьные агаряне*. Ср. также дополнение под 1189 г.:
и бывши распрѣ мнозѣ.

> но *преблгыи* бъ. не далъ *радости дыаволоу*.

но снидошаса кр(с)тнымъ цѣлованиемь (663).

В рассмотренных примерах редакторская работа представлена дополнениями и вставками, которые имеют законченный вид. Группа предложений (или одно предложение) выделяется не только специфической лексикой и фразеологией, но и тем, что делит на части основной текст, не согласованный обычно со вставкой грамматически. В подобных случаях можно видеть уже отмеченное желание редактора сохранить в неприкосновенности текст предшественника.

В Киевской летописи имеются и другие, более сложные приемы редакторской работы. Рассмотрим их на следующем примере:

Вложи бъ въ ср(д)це Мьстиславу Изѧславичю. мысль блгу ѡ Рускои земли. занеже еѣ хотѧше добра всимъ ср(д)цемъ. и съзва бра(т)ю свою. и нача думати с ними. река имъ тако. братье. пожальте си ѡ Русскои земли. и ѡ своеи ѡ(т)цинѣ и дѣдинѣ. ѡже несуть хр(с)тьяны на всѧко лѣто оу вежѣ свои. а с нами роту взимаюче всегда переступаюче. а оуже оу на(с) и Гречьскии путь изъѡ(т)тимають. и Солоныи и Залозныи. а лѣпо ны было братье *възрѧче на бию помочь. и на млтву стоѣ Бци* поискати ѡць своихъ и дѣдъ своихъ пути. и своеи ч(с)ти и *оугодна бы(с) рѣчь его преже бу и всеѣ братьѣ. и мужемъ ихъ. и рекоша ему братьѩ всѧ бъ ти брате помози в томъ. ѡже ти бъ вложилъ таку мысль въ ср(д)це а намъ даи бъ за кр(с)тьяны и за Рускую землю. головы своѣ сложити и къ мчкомъ причтеномъ быти.* посла же Чернигову къ Ѡлговичемъ всимъ. и къ Всеволодичема. велѧ имъ быти всимъ оу себе. бѧху бо тогда Ѡлговичи въ Мьстиславли воли. и вси(м) оугодна бы(с) дума его (538).

Здесь в авторский текст Петра Бориславича вписаны не только целые предложения, но и отдельные слова и обороты, выделенные нами курсивом. Отделить вставленные конструкции от основного текста помогает то обстоятельство, что они связаны с обозначением понятий христианской религии, а такого рода лексика и фразеология этому летописцу чужда. Виновником «порчи» текста Петра Бориславича Б. А. Рыбаков считает Поликарпа [1, с. 299]. Думается, что больше оснований приписать эту работу Моисею, так как именно в его произведениях находим сходные выражения. Ср.: и *вложи бъ въ ср(д)це Мьстиславоу.* [Ростиславичу] *мысль блгоу.* поити на чюдь. и созва моу(ж) новгоро(д)скыѣ. и ре(ч) имъ бра(т)е. се ѡбидѧть ны погани. а *быхомъ оузрѣвше* на бъ и на стои Бци *помочь.* помьстили себе (608); и *вдохноувъ.* [бог]. *мысль блгоу.* во *бгопріѧтное ср(д)це* великому кнзю Рюрикови (708).

И в рассмотренном выше отрывке летописи Петра Бориславича, и в предложениях из произведений Моисея *бог вкладывает* (вдыхает) *в чье-то сердце* «мысль благу» и т. д.

Освобожденный от этих церковнославянских оборотов отрывок летописи Петра Бориславича является образцом восточнославянского литературного языка XII в. В связи с этим возникает следующий вопрос. Как утверждает И. С. Улуханов, книжно-славянский тип языка господствует в оригинальных и переводных произведениях религиозно-философских жанров (канонические книги «священного писания», сочинения «отцов церкви», проповеди и поучения, религиозно-повествовательные произведения, сборники церковных правил, житийная литература), а также в ряде светских историко-повествовательных произведений. Поэтому,— считает И. С. Улуханов,— можно говорить о «памятниках книжно-славянского типа языка». Вместе с тем, по его мнению, вряд ли следует говорить о «памятниках народно-литературного типа языка», так как трудно указать памятники, в которых он был бы выдержан последовательно. Хотя этот тип языка сложился в жанре воинской повести и представлен в летописном рассказе, летописец «часто прерывает описание вставками книжного характера и религиозно-моралистическими комментариями, последовательно выдержанными в духе традиций книжно-славянского типа» [11].

Положение о том, что сами летописцы дополняли свои статьи вставками и комментариями, по отношению к Киевской летописи нуждается в уточнении. Анализ ее языка показывает, что большинство вставок и до-

полнений книжного характера было внесено в этот памятник не во время написания той или иной его части, а позже и другим лицом. Именно этому лицу следует приписать и ряд таких особенностей, которые приближают изучаемый памятник к произведениям художественной литературы. Особенными достоинствами отличается, как известно, окончание летописи — Речь по поводу постройки подпорной стены. Современный ее исследователь Ю. К. Бегунов пишет: «Итак, мы находим, что Речь Моисея Выдубицкого продолжает традицию киевского торжественного красноречия XI—XII вв., по-своему развивая ее. Она соединяет панегирическую (приветственную) речь и профетическое начало, идущее от Мефодия Патарского и Кирилла Туровского, с историзмом русской национальной проповеди» [12].

Высокими литературными качествами отличаются и повести-некрологи Киевской летописи. На фоне документальных эпизодов в них особенно ярко выделяются такие чисто литературные приемы, как речи героев, обращенные непосредственно к господу богу или к Богородице, написанные очень высокопарно и цветисто. Проанализировав лексику этих речей-молитв и сопоставив наблюдения М. Д. Приселкова, А. М. Насонова, И. П. Еремина, Д. С. Лихачева и Б. А. Рыбакова, мы пришли к выводу, что общие места в некрологах, написанных разными лицами, принадлежат Моисею [5, с. 42—43]. Кроме характерной лексики, созданные Моисеем речи имеют еще одну любопытную особенность. В большинстве своем они используются автором как своеобразный художественный прием передачи содержания мысли, т. е. по существу являются внутренней речью. Ср., например, речи-размышления Игоря Ольговича и Андрея Боголюбского:

Игорь Ольгович	Андрей Боголюбский
въздохноувъ из глоубины	вьздохнувъ из глубины
ср(д)ца скроушеномъ	ср(д)чныꙗ.
смиреномъ смысломъ.	
и прослезивсѧ. и помѧноу	и прослѣзисѧ. и помѧну
всѧ. Иѡвова. и *размышлѧше.*	всѧ И(є)вова и *размышлѧ-*
въ ср(д)ца своемъ.	*ше вь ср(д)ци своемь.*
	и *рече* г(с)и аще и во
	времѧ. живота моего
	мало и полно труда и
	злы(х) дѣлъ. но ѡ(т)пущение
	ми даруи и сподоби мѧ
	г(с)и недостоинаго приꙗти конѣць
	сѣи ꙗкоже вси стии
тако толикы	тако и толикы
стр(с)ти и различнаꙗ	стр(с)ти и различныꙗ
смрти на праведники	смрти на правѣдникы
находили соуть (350)	находилы суть (588).

Изучая функционирование глаголов *мыслить и думать* в языке Повести временных лет, Г. И. Третникова обратила внимание на связь внутренней речи с глаголами мышления [13]. Между тем Н. Г. Михайловская, исследовавшая большое количество древнерусских памятников XI—XIV вв. пришла к выводу, что данное значение выражается прежде всего через посредство глаголов dicendi. При этом,— пишет исследовательница,—смысловое содержание глаголов «определяется сочетаниями „въ срдци", „въ умѣ", „въ дши" и др. Такое употребление отмечено в языке оригинальных и переводных произведений. Напр.: не *рци* убо въ ср(д)ци своемь благо ми да будеть отступивше от ба ГА 139 г; и *реко(х)* въ умѣ своемь ЛЛ 89об; он же помысли и *ре(ч)* собѣ в ср(д)ци Там же 108—108об; и *глааше* въ срдци своемь СкБГ 9в; *глааше* бо въ дши своем оканьнѣи Там же 12г—13а; и тако видя нбса сегда свѣтла овогда же мрачна, и *глаше* в себе ГА 51» [14]. Из шести примеров два взяты из перевода Хроники Георгия Амартола, два — из Сказания о Борисе и Глебе конца XI по списку

XII в., один из Повести временных лет и один — из Лаврентьевской летописи. Сходный с Лаврентьевской летописью пример под 1149 г. в Киевской летописи представлен вариантом: кнзь же Андрѣи *помысли собѣ въ ср(д)ци ре(ч)* се ми хощеть быти Ꙗрославча смрть Изꙗславича (390). Этот вариант, по-видимому, и можно считать первичным, т. к. он соответствует нормам языка изучаемого периода. Приведенные в книге Н. Г. Михайловской примеры внутренней речи свидетельствуют, что данное явление не является характерным для документального повествования. Описывая происходившие в действительности факты, летописцы редко позволяли себе приукрашивать их домыслом. Не случайно, по-видимому, в текстах Киевской летописи, которые можно определить как исторические, удалось обнаружить лишь один достоверный пример внутренней речи.

Все другие случаи ее употребления так или иначе ведут к Моисею Выдубицкому. Рассмотрим их, начиная с бесспорно принадлежащего ему некролога Давида Ростиславича. В изображении Моисея Давид Ростиславич, почувствовав приближение смерти, произнес (очевидно, вслух — гла) несколько молитв. После этого автор переходит к изложению главной просьбы своего героя. На письме это подчеркнуто тем, что отрывок И *тако мола въ ср(д)ци своемь* начинается со столь редкой в древнерусской графике большой буквы, после его излагается обращение Давида к богу: *да бы ма бъ* сподобилъ. мнискомоу чиноу. и *свободилса быхъ* ѡ(т) *многомꙗтежнаго житыꙗ.* и *маловременьнаго свѣта сего.* Последующей фразой с глаголом мышления в составе словосочетания (и та вса *расмысливъ во оумѣ своемь*) подчеркнуто, что просьба не произносилась Давидом, а была лишь его желанием. Окончательно подтверждают это заключительные слова автора: *и не лиши бъ хотѣниꙗ его.* Своеобразное кольцевое построение отрывка свидетельствует о мастерстве выдубицкого игумена. Выглядит отрывок, если большую букву считать началом абзаца, следующим образом:

И тако мола [Давид] въ ср(д)ци своемь. да бы ма бъ сподобилъ. мнискомоу чиноу. и свободилса быхъ ѡ(т) многомꙗтежнаго. житыꙗ. и маловременьнаго свѣта сего и та вса *расмысливь во оумѣ своемь.* и не лиши бъ хотѣниꙗ его. но причте и ко избраньномоу своемоу стадоу (704).

По-видимому, с Моисеем следует связать и следующую вставку в запись Петра Бориславича:

Романъ же оулюбивъ свѣть ихъ. и послушавъ ихъ. и поѣха на Межькоу. со снвци его с Казимеричи. сдоума с моужи своими

> рекъ. ажь примоучю сихъ а бгъ ми на на поможеть. и тогда совокоупивъ всихъ на ѡдино мѣсто. исполноу с ними ч(с)ть свою. и хотѣние мысли своеꙗ налезоу. и то *помысливъ въ ср(д)ци своемь.*

и поѣха противоу Мьжьцѣ биться (687).

Еще раз прием внутренней речи встречается в описании конфликта Ростиславичей со Святославом Всеволодовичем под 1180 г. И тут заметно вмешательство Моисея в летописный текст, объективно повествующий о сути дела: Всеволод Суздальский взял в плен сына Святослава Всеволодича Глеба «и ѡкова и и посла и в волость свою Володимѣрь. и пристави емоу сторожѣ. и дроужиноу его тако же изъимаша ѡколо его» (614). И вот здесь Моисей, стремясь объяснить странное поведение Святослава, нарушившего свои обязательства по отношению к союзникам, добавляет: слышавъ же. Стославъ. располѣса гнѣвомъ. и раждьса ꙗростью. и *размысли во оумѣ своемь река.* ꙗко мьстилъса быхъ Всеволодоу. но не лзѣ Ростиславичи. а тѣ ми во всемь пакостать. в Роускои землѣ. а въ Володимерѣ. племени кто ми ближни тотъ добръ (там же).

Продолжение этого психологического анализа действий Святослава Всеволодича наблюдается на фоне летописного текста и дальше:

и тогда Стославъ. *сдоумавъ с* кнагинею своею. и с Кочкаремь.

милостьникомъ своимъ. и не поведѣ. сого моужемь своимъ лѣпшимъ *доумы* своеꙗ. и

абьє оустрѣмивсѧ Стославъ на рать. про Глѣба сна своего. и не оудержавсѧ ѡ(т) ꙗрости

перестоупѧ. кр(с)ть. и перѣха чересъ Днѣпръ.

и *помысли во оумѣ своємь.* ꙗко Двда имоу. а Рюрика выженоу изъ землѣ. и приимоу единъ власть. Роускоую и с братьєю. и тогда мьшюсѧ Всеволодоу. ѡбиды своѣ (615).

О вставочном характере отрывков, раскрывающих мысли Святослава Всеволодича, свидетельствует следующее. Во-первых, параллельно употребляются два глагола мышления *сдумати* и *помыслити*. Употребив глагол *сдумати* (посоветоваться, решить с кем-либо), летописец дает понять, что *дума* (решение) Святослава согласована с его женой и Кочкарем. Сочетанием *помыслити в уме* редактор утверждает, что решение принимает один князь. Раскрывая ход его мыслей, Моисей прибегает к вольному или невольному заимствованию из Повести временных лет. Ср.: Стополкъ же сь ѡканьныи и злыи. оуби Стослава пославъ в горѣ Оугорьстѣи. бѣжащю єму въ Оугры. и нача помышлѧти. ꙗко избью всю братью свою. и прииму власть Русьскую єдинь. помысливъ высокоумь ємь своимь. не ведыи. ꙗко бъ даєть власть єму же хощеть [6]. Во-вторых, авторство Моисея подтверждает заключительная сентенция, характерная для текстов выдубицкого игумена: бъ бо не любить. высокоꙗмысли нашиꙗ. возносѧщаго смирѧєть (615).

В двух последних случаях содержание глаголов мышления раскрывается с помощью особой конструкции с союзом *яко* (*аще*, *зане* и т. д.), содержащей в своем составе прямую речь. Подобные конструкции бытуют в древнерусской письменности рядом с конструкциями прямой и косвенной речи, не отождествляясь ни с той, ни с другой [16].

Конструкции для передачи внутренней речи встречаются в Киевской летописи еще несколько раз. Употребляются они в тех ее текстах, которые Б. А. Рыбаков предположительно связывает с именем Моисея Выдубицкого. Так, в статье о последних годах жизни Мстислава Ростиславича Храброго автор характеризует этого князя в манере, далекой от летописной: Прислаша новгородци моужѣ свои. ко Мьстиславоу. к Ростиславичю. зовоуче и Новоугородоу Великомоу. ѡн же не хотѧше ити из Роускои земли река имъ. ꙗко не могоу ити. изъ ѡчны своєѣ. и со братьєю своєю розоитисѧ. прилѣжно бо тщашетьсѧ. хотѧ страдати ѡ(т) всего ср(д)ца. за ѡтчино свою. всегда бо на великаꙗ. дѣла тъснасѧ размышливаꙗ. со моужи своими. хотѧ исполнити ѡчьствие своє. си *размышливаꙗ. всѧ во ср(д)ци своє(м)* не хотѣ ити. но поноудиша и братьꙗ своꙗ. и моужи свои рекоуче ємоу. брате аже зовоуть тѧ съ честью. иди а тамо. ци не наша ѡчина. ѡн же послоушавъ братьи своєи и моужѣи своєихъ. поиде съ боꙗры новогородьцкими. и се *положи на оумѣ своємь.* аще бъ приведеть мѧ сдорового дни сиꙗ то не могоу никакого же. Роускои землѣ забыти (607).

Все предыдущее исследование строилось в основном на анализе языка произведений Киевской летописи, приписываемых перу ее редактора. Между тем Б. А. Рыбаков в своей книге приходит к следующему выводу: своду 1198 г. предшествовали другие своды, составленные иными лицами. Каждый из этих сводов включал материалы нескольких летописцев. Так, свод Поликарпа, кончавшийся 1171 г., состоял как из летописи самого сводчика, так и из записей его современника Петра Бориславича, доведенных до 1168 г. Кроме того, в свод Поликарпа вошли фрагменты летописания Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского. По предположению Б. А. Рыбакова, свод Поликарпа был включен в Киевский свод 1198 г.

---

[6] Пример из Повести временных лет цитируется по изданию [15].

непосредственно его составителем игуменом Моисеем. Следующий летописный свод был оформлен в 1179 г. при дворе великого киевского князя Святослава Всеволодича. В его составе выделяются записи, сделанные летописцем великого князя, и материалы, посвященные владимиро-суздальским делам. Свод 1190 г., третий по счету, создавался при дворе князя Рюрика. Кроме свода 1179 г., в него вошли продолжающие этот свод записи летописца Святослава Всеволодича, а также личные заметки самого составителя свода Петра Бориславича и его помощника Галичанина, добавившего сведения о событиях в Галицком княжестве. Летописный свод 1190 г. был продолжен хроникой, принадлежащей в основном перу Петра Бориславича. С 1196 г. эту хронику ведет игумен Моисей.

Объединение всех материалов в единый летописный свод было проведено в Выдубицком монастыре. Игумен Моисей пополнил приготовляемый им свод материалами, относящимися к семейству Ростиславичей, распределив их в соответствующие места.

Сложная картина, нарисованная в книге Б. А. Рыбакова, нуждается, естественно, в дополнительных доказательствах. «Как и всякая историческая концепция,— пишет он в заключительной части своего труда,— предложенное построение подлежит проверке, критике, быть может, полному пересмотру» [1, с. 514]. Лингвистам еще предстоит выработать приемы, которые позволят подтвердить или опровергнуть отдельные положения ученого. Аргументация Б. А. Рыбакова строится в основном на рассмотрении содержания летописи, но присутствуют в ней и элементы лингвостилистического анализа. Так, он обращает внимание на то обстоятельство, что Петр Бориславич называет главных князей Русской земли лишь по именам, а летописец Святослава Всеволодича величает их, как правило, по имени и отчеству. Отмечены и другие признаки, которые отличают этих летописцев друг от друга. Например, Петр Бориславич для обозначения союзных русским князьям торков употребляет сочетание *черный клобук*, а летописец Святослава Всеволодича называет их *берендеями*. Постоянных врагов Руси Петр Бориславич именует *половцами*, а летописец Святослава Всеволодича добавляет к этому существительному определение *поганые* [1, с. 132] и т. д.

Продолжая разработку этих вопросов в лингвистическом плане, мы ориентируемся как на наблюдения Б. А. Рыбакова, так и на высказывания Ф. П. Филина, относящиеся к характеристике языка Повести временных лет, в частности, на положение о первостепенном значении для такого рода исследований лексических особенностей летописных статей, поскольку «лексика в гораздо меньшей степени была видоизменена позднейшими переписчиками, чем морфология и в особенности фонетика первоначального текста древнерусской летописи» [17]. «Одни и те же понятия в различных статьях летописи в целом ряде случаев передаются различными словами; это иногда дает возможность предполагать,— указывает Ф. П. Филин,— что отдельные статьи включены в летописный свод не одним автором и не в одно время» (там же).

Действительно, при наличии ряда других признаков лексическое разнообразие в оформлении однородного материала может свидетельствовать о его принадлежности разным авторам. Показательны в этом отношении формулы, завершающие статьи-вставки Киевской летописи. Как правило, они имеют однотипную структуру и различаются только одним словом. Например, в последних летописных статьях, принадлежащих игумену Моисею, такая формула всегда стандартна: *мы же на предлежащее возвратимсѧ*. Повторяется она здесь дважды (698, 704). Поэтому наличие такой же формулы в более раннем тексте (516) дает возможность говорить о редакторской деятельности Моисея и в этой части летописи. В ряде случаев формула включает не причастие, а субстантивированные прилагательные *преднее* и *прежнее*. Так, под 1170 г. в тексте Петра Бориславича Б. А. Рыбаков выделяет вставку Поликарпа, кончающуюся обычной для этого летописца формулой: прѣстави же сѧ Ꙗрополкъ сн҃ъ Изѧславль. м(с)ца марта. въ седмыи дн҃ь въ дн҃ь четверто(к) середохр(с)тьноѣ

не(д)ли. и положиша тѣло его оу стго Феодора иде же ему оцъ лежить. *мы же на прѣдьнее възвратимсѧ* (539). Ср. также 531, 547.

Любопытный, по нашему мнению, результат дают наблюдения над многозначными словами. Выяснилось, например, что большинство авторов Киевской летописи употребляет часто встречающееся на ее страницах существительное *русь* лишь как синоним словосочетания *Русская земля*. Только это значение встречается в самом начале памятника, где собраны записи, относящиеся к последним годам жизни Владимира Мономаха: и придоша [Вячеслав и Фома Ратиборич] в *Русь* къ Володимеру (284); придоша бѣловѣжьци в *Русь* (285); Прогна Володимеръ. береньдичи из *Руси* (286); [умер] великыи кнзь всеѩ *Руси*. Володимерь Мономахъ (289). Такое же значение находим у Поликарпа: бѣжащю же Стославоу из Новагорода. идоущю в *Роусь* къ братоу. и посла Всеволодъ противоу оему (308—309); Томъ же лѣтѣ. поиде Дюрги с ростовци и съ суждалци и съ всими дѣтьми в *Русь* (468). Позже в смысле «Русская земля» употребляет существительное *русь* летописец Святослава Всеволодича: и поусти [Святослав Всеволодич] брата своего Всеволода. и олга сна своего и Ꙗрополка в *Роусь* (620); придоша измалтане. безбожнѣи половци. на *Роусь* воевать. ко Дмитровоу. съ оканьны(м). Кончакомъ (628); Пошелъ баше. оканьныи и безбожныи и трекляты Кончакъ. со мьножествомь половець. на *Роусь* похоупсѧ. ꙗко плѣнити хотѧ грады роускыѣ. и пожещї. огньмь (634). Не отличается от них в данном случае и редактор Киевского летописного свода Моисей Выдубицкий: а сна своего Костантина в *Роусь* посла [Давид] братоу своемоу Рюрикови на роуцѣ (704).

Впервые в смысле «русский народ», «русские воины» слово *русь* встречается в Киевской летописи под 1140 г. в отрывке, вставочный характер которого засвидетельствован формулой *мы же на преднее възъвратимсѧ*. Содержание отрывка дало Б. А. Рыбакову основание приписать его перу Петра Бориславича [1, с. 318]. Значение существительного *русь* подчеркнуто в отрывке употреблением словосочетания *Руская земля* (трижды): взидоста кнѧжича два. исъ Грагорода. заточени били. Мьстиславомъ великымъ. кнѧземъ Киевьскымъ. зане не бѧхоуть его воли. и не слышахоуть его. коли е зовѧшеть в *Роускоую землю* в помощь. но паче молвѧхоу Бонѧкови шелоудивомоу. во здоровье. и про се сѧ и Мьстиславъ. разъгнѣвасѧ. на нѣ. и хотѧше на нѧ ити. но нѣлзѣ бо бѧшеть ити. зане бѧхоу бо тогда налегли половци на *роусь*. и томоу стоѧшеть. быасѧ. с ними сѧ перемагаѩсѧ. се бо Мьстиславъ великыи. и наслѣди w(т)ца своего потъ. Володимера. Мономаха. великаго. Воло(д)миръ самъ собою постоѩ на Доноу. и много пота оутеръ за *землю Роускоую*. а Мьстиславъ. моужи свои посла загна половци за Донъ. и за Волгоу за Гиикъ и тако избави бъ *Роускоую землю* ѡ(т) поганыхъ (303—304).

С этого времени во всех фрагментах Киевской летописи, которые Б. А. Рыбаков по другим признакам связывает с именем Петра Бориславича, существительное *русь* употребляется только в значении «русский народ», «русские воины». Примеры: Изѧславъ же ре(ч) къ братоу своемоу Ростиславоу. аче та к нама не шла ꙗкоже рекша но абы с нама бъ былъ. и ѡ(т)толѣ поустиста. новгородци и *роусь*. воевать къ Ꙗрославлю (371); и покрыша Днѣпръ ѡ(т) множества вои. а *русь* перѣхаша в лодыѧхъ (425); Вѧчьславъ же Изѧславъ и Ростисла(в) то видивше wже идуть w(т) ни(х) прочь и пустиша по ни(х) стрѣлцѣ своѩ черныѩ клобукы и *русь* (436); половци же видивше оустремишасѧ на нѣ. и сразишасѧ с нимь. *роусь* же потопташа ѣ. половци же бѣгаюче передъ *роусью* потопоша мнозѣ. въ Черторыи. ... и тако поможеть бъ *роуси* (623); рекоша же. ако в тоу рать вежѣ и кони скоти мнози потопли соуть. в Хирии. бѣгаюче передъ *роусью* (629); Романъ же не послоушавъ ихъ. и ни моужии своихъ. и да емоу полкъ и оударишасѧ лѧховѣ с *роусью* и потопташа лѧховѣ *роусь*. и победи Межька Романа. и избиша в полкоу его *роуси* много и лѧховъ своихъ (687).

Наиболее сложным в книге Б. А. Рыбакова является вопрос о так на-

зываемой «Летописи Мстиславова племени». Этот выдающийся исторический труд XII в. воссоздается ученым на основе его уцелевших частей, которые сохранились в своде 1198 г. Фрагменты летописания Петра Бориславича, по мнению Б. А. Рыбакова, охватывают большой промежуток времени (1146—1196 гг.) и количественно составляют половину всех записей этого времени. Исследователи отечественного летописания (К. Н. Бестужев-Рюмин, И. П. Хрущев, Д. С. Лихачев) уже высказывали предположение, что авторству этого боярина, дипломата и политического деятеля принадлежат некоторые тексты, входящие в Киевскую летопись. Б. А. Рыбаков значительно расширил границы летописной деятельности Петра Бориславича, дал ее всестороннюю характеристику. Лингвистическое подтверждение эта гипотеза нашла в нашей статье [18]. Приведенные факты, как представляется, дополнительно подтверждают мысль о возможности выделения текстов этого автора из сложного по составу и недоброкачественного по своей сохранности летописного свода 1198 г. [1, с. 305].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Рыбаков Б. А.* Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972.
2. История русской литературы.Т. I. М.— Л., 1941, с. 309—314.
3. *Еремин И. П.* Киевская летопись как памятник литературы.— ТОДРЛ, 1949, т. VII.
4. *Приселков М. Д.* История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940, с. 48.
5. *Франчук В. Ю.* Книжна лексика в Київському літописі.— Мовознавство, 1980, № 6.
6. *Улуханов И. С.* Предлоги *предъ — передъ* в русском языке XI—XVII в. — В кн.: Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. М., 1964, с. 130—131.
7. Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 1962.
8. *Хютль-Ворт Г.* Спорные проблемы изучения литературного языка в древнерусский период.— В кн.: Beiträge österreichischer Slavisten zum VII. Internationalen Slavistenkongreß. Warschau, 1973, S. 32—34.
9. *Львов А. С.* Выражение понятия времени в «Повести временных лет».— В кн.: Русская историческая лексикология. М., 1968, с. 22—24.
10. *Мещерский Н. А.* История русского литературного языка, Л., 1981, с. 75.
11. *Улуханов И. С.* Славянизмы и народно-разговорные слова в памятниках древнерусского языка XI—XIV вв. (глаголы с приставками *пре-*, *пере-* и *предъ-*).— В кн.: Исследования по словообразованию и лексикологии древнерусского языка. М., 1969, с. 108—109.
12. *Бегунов Ю. К.* Речь Моисея Выдубицкого как памятник торжественного красноречия XII в.— ТОДРЛ, 1974, т. 28, с. 74.
13. *Третникова Г. И.* О двух русских глаголах: *мыслить* и *думать*.— Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1963, т. 248, с. 202.
14. *Михайловская Н. Г.* Системные связи в лексике древнерусского книжно-письменного языка XI—XIV вв., М., 1980, с. 191.
15. Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись. М., 1962.
16. *Молотков А. И.* Особые синтаксические конструкции для передачи чужой речи в древнерусском языке.— Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1962, вып. 61, № 302, с. 183.
17. *Филин Ф. П.* Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (По материалам летописей). Л., 1949, с. 13.
18. *Франчук В. Ю.* Мог ли Петр Бориславич создать «Слово о полку Игореве»? (Наблюдения над языком «Слова» и Ипатьевской летописи).— ТОДРЛ, 1976, т. XXXI.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1982

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

БЕРТЕЛЬС А. Е.

РАЗДЕЛЫ СЛОВАРЯ, СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ СЛОВ

Задача данной статьи состоит в уточнении некоторых понятий общей идеографии, принципы которой изложены Ю. Н. Карауловым [1]. С этой целью мы рассматриваем материал не только современного русского и европейских, но и ряда других языков, отдаленных от нас во времени и по распространенности в иных культурных ареалах, что должно способствовать дальнейшей разработке более общих методов определения групп слов — разделов идеографических словарей.

Р. Халлиг и В. Вартбург, составляя свою «систему языковых понятий», претендовали на то, что их схема является основой для представления лексики как общей структуры независимо от языка, к которому лексика относится. Они полагали: их схема может быть органично перенесена на иные культурные ареалы и эпохи, и хотя она ориентирована на современность и на французский язык, может быть приложена к языкам далеких исторических периодов. Составители схемы признавали, что на протяжении истории изменились социальные отношения, ремесла, способы ведения войн, одежда и, соответственно, обозначающие все это слова. Поэтому они ввели в схему рубрики: «древняя одежда», «рыцарская жизнь в средние века» и т. п. [2, с. XXII—XXIII]. Как мы постараемся показать далее, введение подобных рубрик не делает все же схему Р. Халлига и В. Вартбурга универсальной, сохраняя за ней ориентированность на носителя современного европейского языка.

Рассмотрение рубрик универсальной схемы Р. Халлига и В. Вартбурга представляется тем более необходимым, что в отечественной научной литературе появляются ее весьма положительные некритические оценки. В. В. Морковкин полагает, что данная классификация понятий «весьма разумна, убедительна и достаточно эффективна при практическом применении ее к живому языку (...французскому)» [3, с. 35]. Ю. С. Степанов считает систему упомянутых авторов «одной из наиболее удачных классификаций» [4, с. 50—51]. Ю. Н. Караулов с оговорками признает универсальность системы, кладя ее в основу классификации изученных областей лексики множества языков. При этом он абстрагируется от «национальной специфики языков» и использует в качестве эталона синоптическую схему Р. Халлига и В. Вартбурга, которая, по его мнению, «в силу своей универсальности может служить аналогом лексико-семантической системы» [5, с. 315] любого языка.

Не говоря о том, что все построение схемы Р. Халлига и В. Вартбурга основано на совершенно ложной идеалистической предпосылке («язык... образует промежуточный мир умственных содержаний, который стоит между „Я“ человека и внешним миром, „языковую картину мира“, которая передается каждому члену языковой общности через обучение и постоянное применение родного языка» [2, с. I—II]) [1], рубрики схемы чисто практически не могут быть приложены, например, к лексике арабского и персидского языков X—XV вв. по причинам, к изложению которых мы переходим.

[1] Ср. критику подобных теорий «интермира языка культуры» в [6, с. 85 и сл.].

Проблема соотношения общеязыковой и специальной лексики, значений обиходных слов и специальных терминов, обозначающих понятия, а также поэтических метафор трактуется в отечественной литературе в разных аспектах, часто с применением различных словесных определений к одним и тем же ее сторонам [ср. 7 и 8].

Ю. С. Степанов, например, чтобы популярно объяснить суть проблемы, за исходное положение берет деление А. А. Потебни значений слов на «ближайшие», обиходные, «подлежащие ве́дению языкознания» и «дальнейшие», «составляющие предмет других наук», входящие в специальные терминологические системы. Ю. С. Степанов согласен с А. А. Потебней в том, что языкознание, комплексно изучая значения слов, не должно превращаться в «науку наук» и, например, рассматривая названия растений, захватывать сферу ботаники. Однако, полагает он, «...в каждую данную эпоху слово функционирует в общем языке в своем ближайшем значении и одновременно в разных специальных сферах общения, главным образом в языке науки...» [4, с. 16; см. также 15—20; ср. 9, с. 308 и 5, с. 232].

Ранее мы также пытались рассмотреть в основных чертах этот сложный процесс взаимной связи общей лексики с различными сферами лексики специальной [9; ср. также 10].

Нет сомнения в том, что при рассмотрении всех этих процессов и систем значений слов культурно-исторические факты должны привлекаться лишь в той мере, в какой они необходимы для понимания этапов исторического становления слова и его функционирования в определенную эпоху [ср. 11]. Весьма важно при этом не отождествлять язык и культуру и правильно понимать соотношение между ними. «Когда ставится задача объединить в рамках... единой теории данные языки и данные культуры, то... нельзя переносить языковую модель на предметную область культуры и, напротив, модель культуры на предметную область языка» [10, с. 311].

Таковы общие теоретические предпосылки изучения и определения разделов словаря, его рубрик, групп слов в разных языках в различные исторические периоды. Если тесная связь «ближайших» и «дальнейших» значений слов не подвержена сомнению, если все системы и процессы метафорических переносов значений слов должны рассматриваться во всей их сложности, то для понимания формирования разделов словаря в каждом данном языке в каждую эпоху надо знать общие очертания знаний эпохи о предметах, обозначаемых словами, входящими в разделы.

Названия растений или птиц в каком-либо современном языке в целом могут тяготеть к современной научной таксономии данной области (разумеется, при сохранении следов более старых таксономий). Некоторые исследователи даже полагают, что «отсутствие исследований групп слов, относящихся к растительному миру, объясняется, очевидно, принципиальным совпадением (современной нам.— *Б. А.*) научной ботанической систематики с общеязыковыми средствами ее выражения» [5, с. 316]. Но, конечно, нельзя распределять слова, например, персидских текстов XI в. по группам таксономий, которых еще не существовало во времена создания текстов. Предметная соотнесенность слов дает иллюзорную возможность произвести такую насильственную операцию, однако распределение слов по группам и вытекающие отсюда компоненты значений слов можно выявить только путем сопоставления значений с культурной таксономией данной эпохи и народа.

Поясним это положение на примерах. Сами группы слов, как мы увидим ниже, со сменой таксономий могут претерпевать значительные структурные изменения, например, переходить из семантических полей в очевидные тематические группы.

Пытаясь расклассифицировать группы слов, лингвисты говорят о «семантических полях», о лексико-семантических группах, тематических группах («наименования птиц»), синонимических рядах, ономасиологических группах. Ю. Н. Караулов обращает внимание на то, что авторы исследований довольно произвольно оперируют указанными терминами, называя, например, иногда тематический ряд семантическим полем [5, с. 314]. Кроме перечисленных О. Н. Трубачевым предложен еще и тер-

мин «предметно-семантическая группа» (например, «время»). Другими исследователями разграничиваются содержания терминов «лексико-семантическая» и «тематическая» группа [12].

Критика идеалистической теории семантических полей И. Трира общеизвестна, и повторять ее мы здесь не будем. Если, стоя на материалистических позициях, мы центром любой (макро- и микро-) системы лексики считаем слово, то эта система предстанет как сеть связей разных значений одного слова и связей между словами [1, с. 7—8]. На этом основании можно условно выделить два вида групп слов, значительно отличающихся одна от другой: «семантическое поле» — группа слов, которые в содержательном отношении предопределяют значения друг друга [1, с. 237] (поле «радости», «знания») и «тематическая группа» — слова, обозначающие чем-то сходные предметы действительности («названия птиц, растений»). Все эти группы «занимают положение между единичными словами и совокупностью словаря. Они являются частью целого и сходны со словами в том, что вступают в сочетания, образуя единицы более высокого уровня, а также сходны со словарем в том, что могут быть разложены на меньшие единицы» [13]. Синоптическая схема словаря в целом может быть разложена на группы первого (большего) и второго порядков, находящиеся в различных сочетаниях.

Рассмотрение разделов словаря в историческом плане показывает, что, соприкасаясь с различными таксономиями науки, эти разделы могут иметь характер семантических полей, которые затем распадаются и становятся тематическими группами. Сами деления «кусочков действительности», одной и той же действительности в зависимости от научного (на разных этапах развития науки) или житейского подходов меняются. Поэтому любая «универсальная» система, типа составленной Р. Халлигом и В. Вартбургом, слишком априорна и не может быть, без насилия над материалом, приложена к словам других языков и других эпох.

Попробуем приложить отдельные рубрики схемы Р. Халлига и В. Вартбурга к языку арабских и персидских памятников X—XIV вв., сопоставляя эти рубрики с рубриками тематических и энциклопедических словарей той эпохи. В разделе схемы Р. Халлига и В. Вартбурга «Вселенная» есть подраздел «Земля», в котором выделены рубрики: 1. Рельеф, 2. Вода, 3. Почва и ее строение, 4. Минералы, 5. Металлы (цит. по кн.: [3, с. 34—35]). Разберем сперва эти рубрики.

Прежде всего, по арабской и персидской классификации (они в деталях отличаются, на чем мы будем останавливаться по ходу изложения) «Вода» и «Металлы» попадают в совсем различные подразделы. «Вода» в этой классификации — один из четырех первоэлементов, «стихий» (араб. *ʿунсур, устукус* — из греч. *стоихейон* — перс. *ахшидж*), лежащих в основе чувственно воспринимаемого мира, а «металлы» как особый раздел в ней вообще отсутствуют.

Выдающийся восточный филолог XI—XII вв. аз-Замахшари в арабско-персидском тематическом словаре «Мукаддимат ал-адаб» (составлен до 1143 г. н. э.) не смог передать арабское слово, значащее «металл» в современном персидском и арабском, где оно, очевидно, тоже заимствование (не имеет фактически трехбуквенного корня). Он дал такую дефиницию: *филизз — гаухари ки аз кан хизад* «металл — субстанция, которая происходит из рудника». Далее, в одном ряду идут названия металлов, с нашей точки зрения, а также названы известь, гипс, соль. Очевидно, *филизз* означает не «металл», а скорее «минерал». Арабские словари переводят это слово также иногда «медь», а иногда — «железо», очевидно, в смысле «наиболее распространенный металл».

Для того, чтобы разобраться в причинах такого несовпадения рубрик XX и XII вв., обратимся к общей классификации «объектов природы», распространенной во времена аз-Замахшари. Во всяком случае, уже в арабоязычной энциклопедии X в. «Раса'ил Ихван ас-сафа», в третьем трактате второй части раздела «Науки о природе» изложено учение о «материях» — «четырех первоэлементах», стихиях, и «отцах» — планетах и звездах, простых телах, от взаимодействия которых, по тогдашним пред-

ставлениям, появляются три «сложных», «составных», как говорили позднее, «царства натуры (природы)».

Ю. С. Степанов отмечает, что в России представление о «царствах натуры» появилось после реформ Петра I, в XVIII в., и названия получили эти «царства»: «животное», «растительное», «минеральное» [4, с. 25]. В русской ботанической науке возникли тогда (XVIII в.) затруднения для наименования растений вообще, так как даже в классическом латинском языке слова, обозначающего растение, не было.

В «Раса'ил Ихван ас-сафа» названия «царств натуры» таковы: араб. *хайаван* — животные, *набат* — растения, *ма'адин* — минералы [14].

Внешнее совпадение смысла этих слов, особенно при их переводе, не должно вводить нас в заблуждение. А. Ф. Лосев обращает внимание на множество слов, «остающихся в том же виде» при их заимствовании из древнегреческого или латинского, при их переводе на иной язык, сделанном в иные исторические эпохи, таких слов, как «структура», «элемент», «идея», «форма» и другие. Иллюзия общепонятности таких слов во все эпохи разрушается при историческом исследовании этих слов [15]. Такая же иллюзия, как мы увидим, возникает при переводе арабского *ан-набат* русским «растения».

В начале цитированного нами раздела «Раса'ил Ихван ас-сафа» рассматривается весьма важный, с точки зрения античной и средневековой логики, вопрос о том, каковы соотношения рода и вида между четырьмя первоэлементами и тремя «царствами натуры». Все семь сперва признаны родами (*джинс*), однако отмечено, что первоэлементы — общие роды (*джинс-и хасс*), охватывающие виды, а предметы, входящие в роды — «три царства» — «частичные, отдельные [предметы]» (*джуз'ийат*). Таким образом, «вода» — общий род, охватывающий, входя в их состав, великое множество «влажных» предметов всех царств, а «растения» — набор «частностей», «отдельностей» отдельных предметов, составленных из частиц и влияний «отцов» и «матерей», первоэлементов и планет.

Споры о делении на роды и виды в арабской средневековой логике кратко резюмированы ат-Таханави [16]. О том, какое влияние оказали «дальнейшие значения» — обозначения родов, появившиеся в разные эпохи, на различное образование разделов словаря, мы скажем далее.

Приведем теперь экспликацию общего деления на «три царства натуры», написанную на персидском языке в XIII — начале XIV в. Эта экспликация может быть отнесена к жанру «научно-популярной литературы» того времени. Она показывает, насколько наша современная таксономия, формирующая современные разделы словаря, отличается от средневековой таксономии, следы которой ощущаются и в современных «ближайших значениях», во всяком случае персидских слов, насколько обманчиво слово «растение» или «животное», рассмотренное вне исторической перспективы, вне конкретного языка, вне «фонового знания» о данной культуре [17].

Махмуд Шабистари (ум. ок. 1340 г.), разобрав определения простых и составных тел (первые — первоэлементы и небесные светила, вторые — «три царства»), дает такие пояснения: «Если [составные] тела не обладают [способностью] расти, такие тела называют *ма'адин* (минералы), это такие, как золото, серебро, гранат или бирюза. Если тела обладают [способностью] расти, но не [могут] чувствовать и двигаться, их называют *набат* (растения), подобно деревьям и травам, а если обладают чувствами и способностью движения, но не имеют речи, их называют *хайаван* (животные), а если [у него] есть речь, его называют *инсан* (человек)» [18, с. 51]. Далее Шабистари называет промежуточные звенья между тремя царствами: коралл, который тверд, как минерал, но растет в море (современная зоология и даже лексикография считают коралл «морским животным, ... похожим на растение») [19], финиковую пальму, имеющую, подобно животным, мужские и женские особи, половое размножение, но не двигающуюся, и обезьяну, похожую на человека, но не имеющую речи [18, с. 51—54].

Эта научно-популярная экспликация начала XIV в. показывает, что

в основе классификационного принципа того времени лежали совершенно ясные, хотя и не столь глубокие, как в современной науке, принципы, достойные внимательного изучения. Ведь мы и сейчас пользуемся, во всяком случае в сфере «ближайших значений», обозначениями родов и видов предметов, выработанными еще в античной древности, если не раньше, в период распространения иероглифической письменности [20] и пришедшими к нам из средневековья.

Обсуждается в нашей лексикологической литературе обнаруженное Л. Вейсгербером несоответствие между названиями (и объемом) «групп названий живых существ», «классификации животного царства в средневерхненемецкую и современную эпохи» [7, с. 10, 102]. Эта классификация проводилась по внешнему признаку — способу передвижения. Слово *vogel* в средневерхненемецкую эпоху обозначало «то, что летает», не только птиц, но и пчел, бабочек, мух; *wurm* значило «то, что ползает», не только «червяк», но «змея, гусеница, паук». Общего слова со значением «животное вообще» тогда тоже не существовало.

С течением времени структура «семантического поля» (или это «тематическая группа»?) названий животных в немецком языке меняется. В XVIII в. выделяются «насекомые» (Insekten), содержание слов *Vögel* и *Würmer* («птицы» и «черви») ограничивается, *Tier* получает значение общего понятия, наряду с понятием «животного царства» —*Tierreich*.

Л. Вейсгербер признавал воздействие на этот процесс изменений объемов понятий «научных порядков зоологии и классов Линнея», углубления научных знаний в процессе познания природы и общественного распространения этих знаний, но в то же время настаивал на том, что в основе процесса лежит пресловутое «видение мира», «человеческая картина мира» и родной язык [ср. 7, с. 102]. Сравнение этих классификаций с имевшимися и имеющимися в персидском и арабском языках и культуре, а также обращение к их первоисточникам и экспликациям показывает, что «родной язык» здесь не при чем, и современную классификацию животных Халлига-Вартбурга «универсальной», как это делает Ю. Н. Караулов, считать никак нельзя [5, с. 318].

Нет сомнения в том, что классификационные принципы средневекового раздела словаря «животные», как в немецком языке, так и в персидском и арабском, были взяты из основных книг соответствующих религий, причем, как мы покажем, в христианстве и исламе они были почти одинаковыми.

В Библии, в Книге Бытия, где речь идет о сотворении животных и человека, говорится о сотворении «пресмыкающихся из воды», о том, что, по слову бога, птицы полетели над землею, о сотворении «рыб больших» и «птицы пернатой по роду ее», о сотворении «души живой по роду ее» из земли, «скотов, гадов и зверей земных», и о том, что человек владычествует над рыбами морскими, птицами небесными и скотами, над гадами и «пресмыкающимися по земле» (Бытие, 1, 20—26). В Коране говорится о «животных, [ходящих] по земле» (*даббатун фи-л-арди*) и «птицах, летающих на крыльях» (*ма'ирун йатиру биджанахихи*), которые «составляют общины» (сура 6, аят 38), о «змее, [которая] пресмыкается» (*хаййатун тас'и*) (сура 19, аят 20). Слово Корана *даббатун*, которое мы перевели «животное», произведено от корня *дабба*, означающего «ползти; ползти на четвереньках», само же это слово переводится «животное; верховое животное», во мн. ч. (*даваббун*) — «рабочий скот» [21]. Оно встречается много раз в Коране, обычно в словосочетании *даббату-л-арди* — «земное животное», причем в одном случае (сура 34, аят 13) Г. С. Саблуковым дается перевод «насекомое» (по смыслу; этот перевод И. Ю. Крачковский заменил нейтральным и пословным «животное земли»).

То, что сам принцип классификации «ходящие», «ползающие», «плавающие», и «летающие» вычленен комментаторами из священных книг, где есть, правда, и понятия «дикие звери», и «скот», «гады», не подвержено сомнению. Сопоставление старого немецкого перевода Библии и выделенной Л. Вейсгербером «средневерхненемецкой» классификации показало бы, несомненно, тесную связь обоих делений «животных». Обратимся,

однако, к средневековому арабско-персидскому идеографическому словарю XII в., составитель которого известен также как авторитетнейший в исламе комментатор Корана.

76-й раздел словаря аз-Замахшари включает названия «животных и скота» (*ал-баха'им ва-л-ан'ам*), что переведено на персидский *чахарпайан йа сутуран* («четвероногие, или верховые животные»). В Коране (сура 5, аят 1; сура 22, аят 29, 35) встречается словосочетание *бахимату-л-ан'ами* «животное из числа скотов». Слово *бахима* переводится в словарях обычно «домашнее животное», а слово «*ал-ан'ам*», переводимое «скот», произведено от корня, обозначающего обладание земными благами и богатством. В цитированном месте Корана (сура 5, аят 1) упоминаются животные, «которыми владеют» (скот), «кроме пойманных на охоте» (*мухилли-с-сайди*), что, очевидно, было обычным для арабов-кочевников делением. Оно не соответствует персидской рубрике перевода аз-Замахшари *чахарпайан* (четвероногие), имевшейся в среднеперсидском (*čahārpāδ*) и хорошо известной в классической латыни — *quădrŭpĕdans* I «ходящий или скачущий на четырех ногах», II «конь, скакун» [22], откуда произошли англ. *quadruped*, франц. *quadrupède* и, очевидно, русск. *четвероногое*. Истоки этого слова надо искать, очевидно, в античной древности или глубже.

В упомянутом разделе словаря (76-м) аз-Замахшари называет только верблюда и приводит множество слов, относящихся к его различным возрастам и состояниям (многочисленные названия верблюда у арабов и видов снега у эскимосов — обычные примеры в современных книгах по общему языкознанию). Следующие два (77—78) раздела тоже посвящены верблюду и всему к нему относящемуся, и только следующий, 79-й, посвящен ослам и мулам, причем заглавным словом ко всем этим разделам служит, очевидно, название 76-го раздела, без четкого родо-видового деления по разделам типа «домашние (вьючные) животные» (род) — «верблюды», «мулы», «ослы» (виды). 80-й раздел в персидском варианте озаглавлен: «названия того, что относится к четвероногим» (*чахарпайан*), причем здесь выделяется явный смысл этого слова — «вьючные и верховые животные» (даны слова: «погонщик», «вьюк», «седло» и т. п.). Далее 81-й раздел озаглавлен: «названия быков или: коров, телят и буйволов», 82-й — «о том, что относится к козам и овцам, их шерсть, пух, молоко, цвет [шерсти]».

С 83-м разделом словаря начинается, очевидно, новая рубрика: «О диких животных из [числа] газелей, оленей и прочих». Заглавное арабское слово *ал-вухуш* Х. К. Баранов переводит «зверь, дикое животное» и приводит словосочетание *ал-вухуш ад-дарийат* «хищные звери». Таково, очевидно, употребление слова в современном арабском языке, однако аз-Замахшари переводит араб. *ал-вухуш* персидским словосочетанием *джанваран-и дашти* «степные животные». В Коране (сура 81, аяты 4—5) в четвертом стихе речь идет о верблюдах, а в следующем — об *ал-вухуш*, которые «собираются во множестве». Очевидно, это все же в классическом арабском — «дикие четвероногие», газели, олени, как и понимал аз-Замахшари, что подтверждает и заглавие 84-го раздела его словаря, отделяющее собственно хищных зверей: «о хищниках и животных, питающихся падалью... (*фи-с-сиба ва-д-диба*...). Первое слово переводится: «1) зверь, 2) лев», второе — «гиена». А аз-Замахшари перевел на персидский: *андар нам-и даррандаган йа дадаган* — не совсем точно, ибо в его переводе даны синонимы: «хищники, или хищные животные». Надо сказать, что в персидском языке употребительна пара антонимов *дад у дам*, которую можно перевести: «хищники и не хищные дикие животные» (оба слова имеются уже в среднеперсидском). Очевидно, аз-Замахшари имел в виду это противопоставление.

Нельзя понять, почему в тот же раздел (84-й) попали слоны, свиньи, собаки и кошки. С нашей современной точки зрения, слоны и свиньи — никак не хищники, а собаки и кошки — домашние животные.

Следующий, 85-й раздел озаглавлен: «О [вредных] ползающих и гадах» (*фи-л-хавамм ва-с-са'абин*).

86-й раздел назван по-арабски *фи-л-хавамм ва-л-хашарат*, что переведено на персидский так же, как название раздела 85-го: *андар джунбанда-*

ган ва хазандаган. В разделе дано пояснение *хашаратун — джунванда-йи хурд* «насекомое мелкое ползающее». Употребление слова *ал-хавамм* в заголовках и 85-го, 86-го разделов показывает, что оно обозначало не насекомых в современном смысле, а всех «ползающих», с подразделением на «крупных» (змеи, ящерицы, скорпионы, крысы) и «мелких», перечисленных в 86-й главе: муравьи, вши, блохи, черви, жуки-навозники, саранча, осы, бабочки, мухи, слепни, комары.

87-й раздел назван: «о птицах...» с персидским пояснением: *андар нам-и парандаган-и шикари...* («о названиях охотничьих птиц...»). Последний, 88-й раздел, посвященный «живым существам», назван аз-Замахшари «*фи-л-бугас ва са'ири-т-туйур*» — «о пташках и прочих птицах» с персидским переводом: *андар нам-и мурган-и хурд ва дигар парандаган* — «о мелких птицах и прочих летающих». Арабские словари дают словосочетание: *бугасу-т-туйур* — «небольшие птицы». В разделе 87-м перечислены воробьи, жаворонки, корольки, скворцы, голуби, куропатки, фазаны, страусы (явно не «пташки»!), аисты, совы, попугаи, вороны и даже фантастическая гигантская птица Симург. Страусы, аисты и подобные им относятся, очевидно, к «прочим».

Приведенная нами столь подробно классификация аз-Замахшари, конечно, уступает зоологическим таксономиям, однако она отнюдь не «наивна». Это выработанная тысячелетиями классификация, основанная на «антропоцентрическом» принципе — по сферам непосредственного интереса и практического применения. Страусы и воробьи попали в ней в одну рубрику, так как они не имеют практического применения, а соколы как используемые на охоте выделены в особую группу.

Арабская и персидская таксономии оказываются различными по объему и пределам родовых понятий. Арабские слова приходится часто передавать персидскими словосочетаниями. Интересно отметить, что в современном аз-Замахшари арабско-персидском идеографическом словаре «ас-Сами фи-л-асами» арабское словосочетание *баната-л-ма'и* «водяные существа» (букв. «дочери воды») переведено персидской фразой: *хар хайаван, ки дар аб башад* «любое животное, которое находится в воде» [23] (в словаре Х. К. Баранова дан перевод — «русалки» [21]). Обе системы должны быть подробно изучены по материалам трех дошедших до нас ценнейших словарей (двух упомянутых и словаря «ал-Миркат»). Тогда «народная таксономия», лежащая в основе современной «языковой» системы «ближайших значений» обоих языков, станет намного яснее.

Мы разобрали сравнительно простые разделы словаря, без привлечения терминологической и метафорической сфер. Обратимся теперь к разделу «названия птиц», его особым сложностям.

При «синхронном срезе» современной нам лексики мы можем, очевидно, рассматривать тематическую группу «наименования птиц» прежде всего на основе современного состояния научной орнитологии.

Однако при обращении к словарю литературных и философских текстов, написанных на персидском языке в X—XV вв., мы, конечно, не сможем выделить и систематизировать тематическую группу слов «наименования птиц» на основе той орнитологии, которой тогда еще не существовало. «Частичка действительности» («птицы») здесь будет одна и та же, однако выделена она будет по-разному, на разных этапах развития человеческого опыта, с разной степенью глубины познания объекта исследования, с применением разных приемов человеческой мысли. В результате, по нашему мнению, «наименования птиц» в современном, например, русском языке (придется здесь только исключить язык поэзии) образуют именно «тематическую группу», объединенную предметом действительности и предметом мысли, приближающимся к орнитологической систематике, основанной на знании анатомии птиц, окраски их оперения, мест их обитания, гнездования и т. п. Однако в персидском литературном языке X—XV в. «наименования птиц» образуют не «тематическую группу», а «словесное (семантическое) поле», где слова в содержательном отношении определяют значения (смыслы) одно другого.

Как же это получилось? Начиная с древнейших времен, особенно в

средние века, существовала тенденция человеческого мышления сочетать наблюдения над действительностью с фантазией, художественными образами, различными видами метафоризации.

Мифологемы, связанные с некоторыми реальными свойствами птиц, встречаются во множестве в текстах на персидском языке, относящихся к X—XV вв. Так, например, поверье, что стоящая у воды и высматривающая рыбу цапля будто бы томится жаждой, но не решается напиться, чтобы не убавить воды в реке, использовано поэтом Сана'и (ум. ок. 1131—1140 г.) для построения поэтического образа.

На основе того факта, что в желудках куропаток вида «Alectoris graeca» часто находят мелкие камешки, родилось поверье, что они «питаются драгоценными камнями» [24].

У Аттара (ум. ок. 1229 г.) «наименования птиц» (числом ровно тридцать) сведены в сложнейший художественный образ, составляющий основу и композиции, и содержания поэмы «Мантик ат-тайр» [переводится обычно, по аналогии с Кораном (сура 27, аят 16), откуда взято выражение — «Язык птиц», хотя возможен, исходя из содержания поэмы и значения слова *мантик*, перевод «Разговоры птиц»]. В этой поэме мифологемы, связанные с реальными свойствами птиц, служат метафорами, изображающими различные типы мистического богопознания. Созданию поэмы предшествует длительная история развития образа, изложенная А. Корбеном [25, с. 212—222], Г. Риттером [26], Е. Э. Бертельсом [27].

Напомним здесь некоторые черты сюжета, обрамляющего повествования поэмы Аттара. Птицы собираются, чтобы избрать или найти себе царя. Удод — согласно Корану (сура 27, аяты 20—26), посланец Сулеймана, мудрец — говорит, что царь птиц, которого зовут Симург, существует и пребывает за мифической «горой Каф». Птицы охвачены стремлением найти Симурга, однако опасаются трудностей пути к нему. Следует перечисление «свойств» птиц, определяющих метафорическую «ценность» каждой птицы в структуре поэмы. В этом перечислении переплетаются реальные и фантастические, аллегорические черты птиц. Соловей — «любит розу» (весьма древний поэтический образ), у попугая — зеленые перья, делающие его подобным пророку мусульманской традиции, бессмертному Хызру, носящему зеленые одежды, утка не может обходиться без воды, охотничий сокол сидит обычно на руке царя, сова живет в развалинах, воробей — очень слаб и не вынесет тягот пути. Можно заметить, что удод здесь вестник, «посланец царя Сулеймана», очевидно, потому, что он на самом деле («орнитологически») летает быстрее почти всех птиц, соловьи, питающиеся червями, часто вьют гнезда в садах, где есть вскопанная земля (и розы), попугай живет очень долго и покрыт ярко-зелеными перьями («как Хызр»), утка — действительно водяная птица, воробей — действительно слаб, плохо летает и т. п. Но не эти «частички реальности» определяют места птиц в «классификации» названных источников. (Заметим, кстати, что птиц 30, как 30 «основных фруктов» в зороастрийском «Бундахишне», свойства которых использованы в качестве аллегорий состояний души современником Аттара Наджм ад-Дином Рази, о чем ниже.) Птицы Аттара — прежде всего тоже персонификации свойств и состояний души. Когда они проходят «семь долин» (семь стадий духовного совершенствования) и прибывают во дворец Симурга, им не удается его увидеть, ибо Симург — лишь символ божества, подобного зеркалу. Птиц явилось во дворец тридцать (*си мург* — по-персидски — «тридцать птиц»), и потому божество представилось им в одном зеркале как их собственное общее единственное отражение, а ранее мыслилось как одна таинственная птица Симург (омонимия, основанная на ложной этимологии, паронимия, использованная для построения художественного образа, фигуры персидской поэтики «таджнис» и мураккаб», и для изложения, иллюстрации мистической концепции божества).

Таким образом, названия птиц, расклассифицированных по их полуреальным, полуфантастическим свойствам (например: реально быстро летающий удод — фантастический «вестник коранического Сулеймана»), образуют в представленной богатой философской и поэтической традиции

единую систему, где слова взаимозависимы и определяют значения одно другого. Единство системы определяется идеальным объектом — «душой-птицей», аллегориями — перевернутыми, с материалистической точки зрения, отражениями свойств которой оказываются образы разных птиц.

Само по себе символическое сопоставление души и птицы оказывается очень древним. Если упрощенно принять первоначальное представление о душе как об «отлетающем» со смертью человека дыхании, то один из истоков его можно видеть в метафорическом переносе «прекращение, исчезновение, отлет, подобный стремительному полету птицы» (нельзя здесь, конечно, забывать об известной ошибке Макса Мюллера [28], выводившего «современную мифологию» из «словесных ошибок»; причины появления мифологического и религиозного учения о душе весьма сложны и многообразны, и касаться мы их здесь не будем).

Другая линия развития художественного образа-символа «птица-душа» — Симург поэмы Аттара — возможно, берет начало в Авесте. Там имеется словосочетание *saēnō mərəγō* (например, Яшт 14, 41), которое, пользуясь словарем Х. Бартоломе, можно приблизительно перевести русским словосочетанием, именем с приложением «орел-птица». *Saēna-*, по Х. Бартоломе (с. 1548),— «название какой-то большой хищной птицы, очевидно, орла». В среднеперсидском это словосочетание получает форму *sēnmurv*, в новоперсидском — *симург*. Авестийская форма *saēnō* сопоставляется у Бартоломе с древнеиндийским *śyena-* «орел, сокол». Слово *saēnō* встречается в Авесте и как имя собственное праведного зороастрийца. Отдельно *mərəγa-* (MRGA) (с. 1172) Авесты, второй элемент словосочетания, значит: «птица, особенно большая, петух, курица». В современном персидском языке развившееся фонетически из него слово *мург* имеет два основных значения: 1) птица (вообще), 2) курица.

М. Моин посвятил приведенному словосочетанию специальное исследование, резюме которого имеется в его словаре (т. 5, с. 846—847). Этот исследователь пытается связать целебную и придающую смелость силу перьев птицы *saēna-*, о которой идет речь в поздних частях Авесты, с преданиями о праведнике и, вероятно, искусном враче по имени Саэна. Данное сближение представляется искусственным. Нет только сомнений в том, что авестийское представление, обозначенное словосочетанием *saēnō mərəγō*, ближе к реальному орлу, чем Симург Аттара, но уже имеет фантастические черты.

Через много веков после появления Авесты в среднеперсидской книге «Меног и храт» птица Сенмурв «восседает на мировом древе» и подобна Симургу — «царю птиц» Аттара. Известна развернутая художественная картина с участием Симурга в «Шах-наме» Фирдоуси, где Симург выкармливает богатыря Заля, брошенного отцом, спасает жизнь Рудабе, дочери Синдухт (предположительно, это женское имя тоже можно этимологизировать, возводя к *saēn-*), являясь чудесным образом с неба, как только поджигают его перо и т. п. В этой картине есть что-то напоминающее «тотем-орел» — Симург оказывается защитником, спасителем рода.

А. Корбен полагает, что обе линии развития образа-символа птицы (одна идет от Платона и Авиценны, другая — от Авесты и Фирдоуси) сливаются в символике поэмы Аттара [25, с. 229]. Эта точка зрения требует глубокого и четкого, не феноменологического, обоснования. Мы лишь наметили обе линии для того, чтобы показать большую сложность формирования тематических групп («разделов словаря») в персидском языке X—XV вв.

Таким образом, мы хотим пояснить образование «разделов словаря» в изучаемых текстах, аналогичное образованию идеалистического единства словаря в религиозных текстах. Так же как в этих текстах все слова — одно слово, и оно есть чудотворное имя верховного божества, все слова каждого раздела словаря в персидских текстах X—XV вв. сводятся в известном смысле к названию раздела. Все птицы — тень Симурга — «царя птиц» и и д е и птицы вообще, персонифицированной в этом гигантском чудесном, мифическом существе. Род тождествен (абсолютно!) совокупности видов, а не есть лишь обозначение общих признаков сходного

в видах. «Птица-орел» есть царь птиц, представитель рода и, одновременно, сам род. Абстрактная идея членит и деформирует действительность, реальные птицы — «тени» родового понятия. Возможно, эта система таксономии сложилась при развитии форм мышления, отразившихся в структуре иероглифической письменности.

Дополнительный свет на формирование разделов словаря в древних языках проливает одна экспликация, содержащаяся в среднеперсидской книге «Бундахишн» (составление ее относится к X в. н. э., однако в ней изложено содержание утраченных частей «сасанидской Авесты»). Вот что сказано в этой книге, своего рода энциклопедии, о том, какие бывают фрукты (или: плоды): «Есть тридцать видов основных фруктов, из которых в десяти можно есть и внутреннюю, и наружную [части], такие, как инжир, и яблоко, и айва, и цитрон (т. е. сладкий лимон.— *Б. А.*), и виноград, и тутовая ягода, и груша, и так далее. В десяти [фруктах] можно есть наружную часть, но не внутреннюю, таких, как финик, и персик, и абрикос, и ююба, и унаби, и вишня (или: слива), и огурец [2]. В десяти можно есть внутреннюю [часть], но не внешнюю, в таких, как грецкий орех, и миндаль, и кокосовый орех, и фундук, и каштан, и гурганское дерево, которое называют фисташка» [30, p. 15—17].

Издавший транскрипцию и перевод этого текста И. П. Асмуссен обращает внимание на аналогичные разделы «о фруктах» в среднеперсидском «Фраханг и пахлавик», цитированном нами выше словаре аз-Замахшари «Макаддимат ал-адаб», книге Бен Сиры, соответствующий отрывок из которой он приводит. Мы сравнили все эти тексты и добавили к ним более ранний, чем книга аз-Замахшари, словарь «ал-Миркат» и трактат суфия Наджм ад-Дина Рази (ум. 1247), где содержится совершенно аналогичная классификация «плодов земных», или «зерен и плодов».

Дадим сперва перевод текста Наджм ад-Дина Рази, который, хотя и использует описания «зерен и плодов» только как аллегорию совершенствования души мистика, излагает древнюю ботанику, очевидно, довольно точно.

«Пшеница и ячмень и подобные им, когда созревают, не имеют шелухи и ядра... Зерно пшеницы путем [хорошего] ухода нельзя вывести из состояния пшеницы и перевести в более [высокое] положение гороха, и оно не понизится и не станет ячменем. Так же точно ячмень [никогда] не станет пшеницей, но каждое, если получит хороший уход, достигнет совершенства в своей степени...

Некоторые зерна таковы, что вырастают такими же, какими их посеяли, но имеют бесполезную скорлупу [или: оболочку], используется только их ядро, как в грецком орехе и миндале и подобных им; они имеют зеленую оболочку [поверх скорлупы], однако она бесполезна...

А некоторые зерна таковы, что вырастают такими же [какими посеяли], и у них появляется оболочка (= мякоть.— *Б. А.*), и плодом их является эта оболочка, а косточка (= ядро. — *Б. А.*) их бесполезна, как в финике, лохе, оливке и подобных им, [мякоть] полезна, а косточка бесполезна...

А некоторые зерна вырастают такими же и приносят плод, и [в них] плод и зерно все полезно, как в абрикосе [3], персике, и инжире, и подобных им, а всего плодов (мива) — эти четыре вида (нау'), более нет» [31].

Таким образом, Бундахишн называет три вида или рода (не употребляя этого слова) «фруктов» (ср.-перс. *mēvak*), а «Мирсад ал-ибад» — четыре вида «плодов» (мива), относя к ним, с нашей точки зрения, зерно и орехи (последние Д. Н. Ушаков считает «плодами»).

Проливает свет на это несоответствие среднеперсидский «Фраханг и пахлавик», который имеет главу с названием *dānakīhā ut mēvakīhā* [30, с, 14], буквально: «зерна и фрукты» (или: плоды), где даны в одном порядке следующие слова: пшеница, ячмень, просо, чечевица, горох, зерно (вообще), солома, оливки, кунжут, мука, хлеб, ранние фрукты, дерево

---

[2] В Иране огурцы едят с абрикосами и вишнями, как фрукты.
[3] На Востоке едят ядро абрикосовой косточки.

(вообще), финиковая пальма, мирт, роза, (сахарный) тростник, дрова, цитрон, айва, яблоко, груша, гранат, абрикос (или: слива), персик, дыня, огурец, инжир, виноградная лоза, виноград, финик [32].

Таким образом, с достаточным единообразием перечисленные источники называют род, который можно передать русским «плоды», и делят его на виды по способам употребления в пищу, иногда выделяя особый вид — «зёрна».

Аз-Замахшари дает пять глав о растениях, придерживаясь порядка, сходного с порядком «Фраханг и пахлавик», но и с некоторыми отличиями. В главе «О том, что растет из земли» он начинает с «зерен», называет пшеницу, но затем тут же перечисляет, с нашей точки зрения, «бахчевые» и «огородные» растения: дыня, огурец, лук, репа. В следующей главе — «О садах, подножиях гор и о том, что там растет»— он называет розы, нарциссы, фиалки, тюльпаны. Здесь сказываются природные особенности Востока, где цветы растут либо в садах, либо весной — у подножий гор. Следующая глава посвящена «съедобной зелени» (петрушка, кинза), следующая — лугам и лесам (названы деревья) и последняя, о растениях, озаглавлена «Об устройстве посевов и садов», где названы «фрукты» (мива): сливы, персики, инжир и т. п., совпадающие в целом со списками Бундахишна и Фраханг и пахлавик.

Словарь «ал-Миркат» [33] (глава 10) перечисляет, условно говоря, «фрукты», «орехи», «деревья», «зерно», «бахчевые», причем список его близок к спискам названных выше источников.

Нет никакого сомнения в том, что составители всех перечисленных списков ставили себе практические цели: охватить названия наиболее употребительных и известных предметов данной группы («рода», «вида»). Однако в форме списков заметен определенный классификационный принцип: из всего множества чем-то сходных предметов выбирается тридцать наиболее важных и они делятся по десять в группе — «подвиде». Так исчислены «тридцать птиц», которые «равны» своему «царю» — Симургу, «птице птиц», или орлу, который как самая большая и сильная птица представляет весь род. Так исчислены и «тридцать плодов», во главе которых идет, очевидно, пшеница. Интересно при этом отметить, что выделение и счет названий видов для списков явно приблизительны. В поэме Аттара, например, перечислено всего одиннадцать птиц с описанием их свойств: удод, горлица, попугай, куропатка, сокол, франколин (турач?), соловей, павлин, фазан, снова горлица (другой вид), вяхирь [34], хотя речь идет о тридцати птицах, дошедших до дворца Симурга (правда, перечисленные 11 отказались туда идти, так что дошедшие 30 остаются чистой абстракцией). В Бундахишне, хотя и заявлено, что «фруктов 3 раза по 10», названо конкретных видов 7, 7 и 6, т. е. только 20. Очевидно, арифметическая операция исчисления «3 раза по 10» в том виде, в каком она дошла до нас,— обломок какой-то древней традиции. Важно только отметить, что все эти группы в древних и средневековых источниках — семантические поля, связанные по смыслу, а не тематические группы, как названия птиц или растений в современном словаре. Переходы от группы к группе часто плавны, так как нет жесткого родо-видового принципа таксономии.

В заключение хочется сказать, что при выделении разделов идеографического словаря совершенно необходим учет исторического развития и национальной специфики таксономий. Вряд ли возможно сейчас, когда мы не располагаем совершенными идеографическими словарями отдельных языков, создание универсальной схемы типа схемы Халлига-Вартбурга. Эта схема — плод априорного конструирования, а не реального изучения языка. Слова и их группы в «ближайшем» и «дальнейшем» употреблении имеют «историческую глубину», меняющуюся в зависимости от того, имеем ли мы дело с современным учебником ботаники, где глубина равна нулю, или сборником стихотворений, где оживают этимологические ассоциации слов и групп слов.

К мысли о необходимости изучения истории языка для понимания его системы и функционирования в речи приходят сейчас лингвисты самых

разных направлений. Приведем в заключение цитаты из работы, весьма далекой по терминологии от нашей, где речь идет, собственно, о грамматике, но мысли близки к положенным в основу данной статьи:

«Осуществляемые на базе современного состояния языка процессы образования и восприятия речи содержат в себе... элементы некогда протекавших исторических процессов... Момент процессуальности сближает речевую деятельность, протекающую в рамках синхронно данной системы, с историческими процессами, предварившими эту систему» [35, с. 426].

«Вопреки Соссюру, полагавшему, что «противопоставление двух точек зрения — синхронической и диахронической — совершенно абсолютно и не терпит компромисса»,— имеются серьезные основания полагать, что синхрония органически связана с диахронией. Синхронная система языка пронизана генетико-деривационными связями, которые определяют не только взаимоотношения между элементами системы, но и способ их употребления в процессах речевой деятельности» [35, с. 427].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Караулов Ю. Н.* Общая и русская идеография. М., 1976.
2. *Hallig R., Wartburg W. von.* Begriffsystem als Grundlage für die Lexicographie. Berlin, 1952.
3. *Морковкин В. В.* Идеографические словари. М., 1970.
4. *Степанов Ю. С.* Основы общего языкознания. М., 1975.
5. Принципы описания языков мира. М., 1976.
6. *Артановский С. Н.* Историческое единство человечества и взаимное влияние культур, философско-методологический анализ современных зарубежных концепций. Л., 1967.
7. *Кацнельсон С. Д.* Содержание слова, значение, обозначение. М.— Л., 1965.
8. *Панфилов В. З.* Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971, с. 17 и сл., 52 и сл.
9. *Бертельс А. Е.* Лексикализация поэтических метафор и терминов и ее значение для процесса формирования лексики.— В кн.: Проблемы семантики. М., 1974.
10. *Степанов Ю. С.* Номинация, семантика, семиология.— В кн.: Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977.
11. *Будагов Р. А.* История слов в истории общества. М., 1971, с. 4.
12. *Вялкина Л. В.* Из истории слов — терминов времени (на материале письменных памятников XI—XIV вв.).— В кн.: Древнерусский язык. Лексикология и словообразование. М., 1975, с. 69, примеч. 1.
13. *Trier F.* Das sprachliche Feld.— Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung, 1934, № 10, S. 428 u. ff.
14. Раса'ил Ихван ас-сафа, тарджума-йи фарси, чап ба ихтимам-и Малик ал-куттаб. Бамбайи, 1304 [1886—1887], с. 65.
15. *Лосев А. Ф.* Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976, с. 3.
16. *ат-Таханави.* Кашшаф ал-истилахат ан-фунун. I. Калькатта, 1892, с. 223—225.
17. *Верещагин Е. М., Костомаров В. Г.* Язык и культура. М., 1973, с. 124 и сл.
18. Мир'ат ал-мухаккикин.— В кн.: Пять философских трактатов... (о соотношениях между человеком и вселенной). ... Критический текст... Бертельса А. Е. Под ред. Гафурова Б. Г. и Мирзоева А. М. М., 1970, с. 51—54.
19. Толковый словарь русского языка. Т. I. Под ред. Ушакова Д. Н. М., 1935.
20. *Бертельс А. Е.* Происхождение рубрик идеографических словарей.— В кн.: Переводная и учебная лексикография. М., 1979.
21. *Баранов Х. К.* Арабско-русский словарь. М., 1976.
22. *Дворецкий И. Х., Корольков Д. Н.* Латинско-русский словарь. М., 1949.
23. *Дабир-и Сияки.* Фихрист-и алифбайи-йи лугат ва таркибат-и фарси-йи ас-Сами фи-л-асами. Тихран, 1354 [1976], с. 3.
24. *Бертельс Е. Э.* История персидско-таджикской литературы. М., 1960, с. 439, примеч. 95.
25. *Corbin H.* Avicenne et le récit visionnaire. 2. Étude sur le cycle des récits avicenniens. Tehran, 1954.
26. *Ritter H.* Das Meer der Seele. Mensch, Welt und Gott in der Geschichten des Fariduddin Altar. Leiden, 1955, S. 8.
27. *Бертельс Е. Э.* Суфизм и суфийская литература. М., 1965, с. 377—420.
28. *Müller F. M.* The science of language. V. II. London, 1891, p. 647 and fol.
29. *Фирдоуси.* Шах-наме. Критический текст под ред. Бертельса Е. Э. Т. I. Указатель (слово Симург). М., 1960.
30. *Asmussen J. P.* The list of fruits in the Bundahišn.— Henning memorial volume. London, 1969.
31. *Наджм ад-Дин Рази.* Мирсад ал-ибад. Хамадан, 1312 [1895], с. 171, 174.
32. *Машкур М. Дж.* Фарханг-и хузваршиха-йи пахлави. Тихран, 1346 [1968], с. 10—11.
33. *Адиб-и Натанзи.* ал-Миркат. Тихран, 1346 [1967].
34. *Аттар.* Мантик ат-тайр. Тихран, 1342 [1964], с. 35—38.
35. *Кацнельсон С. Д.* Семантико-грамматическая концепция У. Л. Чейфа.— В кн.: *Чейф У. Л.* Значение и структура языка. Послесловие. М., 1975.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1982

АЗЕРБАЕВ Э. Г.

К ПРОИСХОЖДЕНИЮ ПОРЯДКОВЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Известно, что в различных языках мира порядковые числительные образуются по-разному, причем им неизменно предшествует появление количественных числительных. Происхождение порядковых числительных в тюркских языках является одной из сложнейших проблем исторической грамматики тюркских языков, которая неоднократно находила отражение в исследованиях как отечественных, так и зарубежных ученых. Сюда следует отнести работы В. Банга [1, S. 18—19], А. К. Боровкова [2], И. Бенцинга [3, 4], Н. К. Дмитриева [5, с. 94], А. Н. Кононова [6], Г. И. Рамстедта [7], М. Рясянена [8, S. 82—84], А. М. Щербака [9; 10, с. 144—151], Б. А. Серебренникова [11, с. 7—9], а также работы других ученых, почти исчерпывающий список которых приводится в вышеуказанных статьях А. М. Щербака.

Так, В. Банг полагал, что аффикс порядкового числительного представляет собой суффикс глагольного имени *=(i)nč* // *=(ï)nč*, а последующее во времени наращение *-i* // *-ï* — суффикс принадлежности 3-го лица [1, S. 18]. Эту точку зрения В. Банга полностью поддержал И. Бенцинг [3], а также А. М. Щербак [10, с. 146]. А. К. Боровков считал, что «по всей вероятности, порядковые числительные образовались путем изменения именит. падежа в родительный: *birin ... ekin ... ycyn...*, а затем уже путем присоединения суффикса порядковых числительных» [2]. Г. И. Рамстедт [7], а также М. Рясянен [8, с. 83] полагали, что суффиксы порядковых числительных в тюркских языках — этимологически имена действующего лица на *-či*. По мнению А. Н. Кононова, порядковые числительные сформировались из собирательных, дополненных суффиксом принадлежности 3-го лица [6]. Н. К. Дмитриев отмечал: «... порядковые числительные выражают уже не абстрактную идею числа, а последовательность предметов (существительных), расположенных в естественном числовом порядке. Эта последовательность предметов осознается как их признак, и с этой точки зрения числительные порядковые приближаются к категории прилагательных» [5, с. 94]. И, наконец, Б. А. Серебренников также считает суффикс порядковых числительных состоящим их двух компонентов и относительно второго компонента *=čy* // *=či* замечает: «... **порядковое числительное должно быть прилагательным, но не простым, и индивидуализирующим,** особо выделяющим предмет из массы ему подобных» [11, с. 8]. И далее: «Что касается оставшегося элемента *yn*, *in*, то его можно толковать по-разному. Может быть, это аффикс собирательных числительных, и образования типа *ik-in*, *beš-in* и т. д. могли означать „вдвоем", „впятером" (в цитируемом тексте дан ошибочный перевод „втроем".— *А. Э.*) и т. д. Может быть, *-yn*, *-in* — аффикс прилагательных, обозначающий отношение к чему-либо, ср. каз. *aγaj-yn* „родственник" при *aγaj* „дядя". Во всяком случае, при всех попытках выяснения истории образования порядковых числительных следует исходить из предположения, что по своему происхождению это прилагаетельные с выделительным значением» [11, с. 9].

Однако ни одна из предложенных гипотез не получила единодушного или, во всяком случае, признания абсолютного большинства тюркологов, в связи с чем данная проблема продолжает оставаться нерешенной. В настоящей работе автор излагает свои соображения по этой проблеме.

В подавляющем большинстве тюркских языков суффикс порядковых

числительных реализуется в виде следующих фонетических вариантов: *-(i)nsi // (y)nsy*, *-(i)nši //-(y)nšy*, *-(i)nči // (y) nčy*, *-(i)ntsi // (y)ntsy*, *-(i)nǯi // -(y)nǯy* [1].

После приведения исходных данных переходим к решению поставленной задачи.

Первое: так как порядковое числительное отвечает на вопрос «какой?» («который?»), то с функциональной точки зрения оно является именем прилагательным и, следовательно, должно было бы оформляться аффиксом имени прилагательного. Частичное подтверждение этому мы находим у Н. К. Дмитриева [5, с. 94], а также у Б. А. Серебренникова [11, с. 8].

Второе: вопрос «какой?» («который?»), соотносимый с порядковым числительным, исходя из самой природы последнего, может предполагать наличие совокупности объектов, один из которых выделяется особо. Следовательно, порядковое числительное могло оформляться аффиксом собирательности, т. е. быть одновременно и собирательным числительным. Подобное предположение мы находим у А. Н. Кононова [6] и частично у Б. А. Серебренникова [11, с. 9].

Таким образом, мы приходим к заключению, что аффикс порядкового числительного в тюркских языках мог состоять из аффикса собирательного числительного + аффикс прилагательного.

Поскольку, как было показано выше, одним из формантов порядкового числительного мог являться формант собирательности, то выясним, в каком из тюркских языков этот формант, имеющий, по всей вероятности, вид *-(i)n//-(y)n*, встречается, так сказать, «в чистом виде». Таким языком оказывается чувашский, в котором собирательные числительные могут образовываться посредством суф. *-ĕн//-ăн*. (О соответствии чувашских редуцированных гласных *ĕ//ă* общетюркским *i//y* см., например, в работах Ф. Г. Исхакова [12] и Н. А. Баскакова [13, с. 240].) Пример: *Иккĕн икерчĕ çиме, саккăрăн авăн çапма лаййах* (пословица) «Вдвоем блины есть хорошо, восьмером молотить хорошо» [14]. В остальных тюркских языках суф. собирательных числительных *-(i)n//-(y)n* в «чистом виде» не сохранился, но продолжает функционировать в составе сложных суффиксов, а также в композитах, примеры которых мы находим как в памятниках древнетюркской письменности, так и в современных тюркских языках. Ср.: др.-тюрк. *birin birin miŋ bolur tama tama köl bolur* «один по одному — становится тысяча, капля по капле — будет озеро» [15, с. 101]; казах. *біріндеп келе бастады* «начали приходить по одному»; кирг. *бирин-экиндеп* «разрозненно, кое-где, в небольшом количестве»; узб. *бирин-бирин* «один за другим, по одному» [2].

На основании приведенных примеров можно думать, что в тюркских языках некогда существовал аффикс собирательного значения, который, возможно, вошел в состав порядковых числительных.

Рассмотрим второй компонент аффикса порядковых числительных: *-si // -sy*, *-ši // -šy*, *-či// -čy*, *-tsi // -tsy*, *-ǯi // -ǯy*.

Можно ли доказать, что он является суффиксом имени прилагательного? В обобщающей статье Ф. Г. Исхакова [16] вышеуказанные показатели прилагательных не зафиксированы, как и не зафиксированы они в Указателе грамматических форм Древнетюркского словаря [15, с. 649—668]. Однако указанные показатели прилагательных реально существуют в тюркских языках, зафиксированы в ряде грамматик тюркских языков, хотя и представлены в весьма небольшом числе слов, поскольку не получили своего развития в качестве таковых, трансформировавшись в процессе языковой эволюции в признак причастия наст. времени. По-

---

[1] Здесь и в дальнейшем более поздние по времени формирования параллельные субварианты (представленные, кстати, не во всех фонетических вариантах) с лабиальными гласными *o, ö, ü, u* по соображениям экономии места опущены, хотя в примерах они могут быть использованы.

[2] Здесь и в дальнейшем примеры из соответствующих словарей и грамматик тюркских языков народов СССР приводятся в современной орфографии.

следнее, в свою очередь, ввиду тройственной своей природы обладающее признаками прилагательного, существительного (как лица, совершающего действие), а также глагола (поскольку оно дифференцирует залоги, изменяется по временам и т. д.), в конце концов стало выполнять в качестве основной функцию существительного со значением деятеля (nomen actoris, nomen agentis).

Для подтверждения постулируемого морфолого-семантического перехода рассмотрим материалы тюркских языков, в которых зафиксированы все вышеуказанные варианты второго компонента сложного суффикса порядкового числительного.

Компонент *-si // -sy* представлен в башкирском языке. Примеры: *ауырсы* «просторный», *иҙелеүсе* «угнетаемый», *күсеүсе* «1. перелетный; 2. прич. от *күсеү*», *ярҙамсы* «1. помощник; 2. подсобный, вспомогательный», *алыусы* «получающий», *тотоусы* «хватающий», *йөҙөүсе* «плавающий», *тимерсе* «кузнец», *урмансы* «работник лесной промышленности» [3].

Компонент *-ši // -šy* представлен в трех языках: казахском, каракалпакском и ногайском [4]. Казахский: *әнші* «имеющий хороший голос»,- *барушы* «едущий», *беруші* «дающий», *етікші* «сапожник», *бояушы* «красильщик».

Компонент *-či // -čy // -tsi // -tsy // -ǯi // -ǯy* представлен в наибольшем числе тюркских языков и диалектов, а именно: азербайджанском, алтайском, барабинском, гагаузском, караимском, карачаево-балкарском, киргизском, крымскотатарском, кумандинском, кумыкском, армяно-кыпчакском, саларском, сарыг-югурском, староосманском, татарском, тубакижи, турецком, туркменском, узбекском, новоуйгурском, хакасском, чагатайском, шорском. Все вышеуказанные фонетические варианты полностью представлены в караимском языке: Г. *бийэнивци, бийэнӱвцӱ* «веселый, радостный», К. *бийэнивчи* «восторженный, ликующий», Т. *бийанювчю* «радующий, приносящий радость», Г. *коркувцу* «боязливый», К. *къоркъувчы, къоркъывчы* «боящийся», Т. *корхувчу* «боящийся, боязливый, пугливый», К. *болыджы* «1. обычный; 2. возможный, вероятный», Г. *айавцу* «воздерживающий(ся), удерживающий(ся)», К. *алгъышчы* «благословляющий», Т. *ашувчу* «переходящий, проходящий», Г. *экилевци, экилетивци* «повторяющийся», К. *экинджилевчи* «повторяющий», Т. *берювчю* «дающий», Г. *аванцы* «негодяй», К. *авджы*, Т. *авчы* «охотник», Г. *эликци* «насмешник», К. *эйнэджи* «обманщик, лгун», Г. *эмиздиривци*, К. *эмизивчи* «кормящая грудью, кормилица», Т. *эликчи* «насмешник, шутник».

Приведенные данные выведенной морфолого-семантической цепочки: второй компонент суф. порядкового числительного — суф. имени прилагательного — суф. причастия наст. времени — суф. имени деятеля свидетельствуют о тесной генетической связи сравниваемых морфологических формантов. Особого внимания заслуживают данные диалекта кумандинцев (куманды-кижи) [24], а также данные татарского языка [25], авторы грамматик которых прямо указывают истоки образования аффикса имени действующего лица из афф. имени прилагательного. При этом Ю. Немет был, по-видимому, первым, кто обратил внимание на генетическую связь между формантом порядкового числительного *-inǯi* и формантом имени деятеля *-či, -ǯi* [26]. Как было указано ранее, аналогичной точки зрения придерживался Г. И. Рамстедт [7], а также М. Рясянен [8, с. 83]. Хотя эти точки зрения не совсем аналогичны нашей, они в своей основе содержат рациональное начало.

Следует подчеркнуть, что во всех вышеприведенных примерах провести четкую грань между суф. имени прилагательного, причастия наст. времени и имени действующего лица не представляется возможным, что и неудивительно, поскольку все они суть одной природы образования.

---

[3] Фонема *и* в башкирском языке орфографически обозначается через *е*. Об этом см. [5, с. 190].

[4] Здесь и в дальнейшем для каждого фонетического варианта приводятся данные из одного тюркского языка, поскольку примеры из остальных тюркских языков совершенно идентичны.

Перед тем как перейти к реконструкции архетипа показателя порядкового числительного, необходимо сделать существенное замечание. Автор настоящей статьи не разделяет широко распространенную в тюркологии точку зрения, согласно которой в приводимом ряду морфологических показателей второго компонента порядковых числительных *-si* // *-sy*, *-ši* // *-šy*, *-či* // *-čy*, *-tsi* // *-tsy*, *-ǯi* // *-ǯy* исходным является элемент *-či* / *-čy* (см., например, работы М. Рясянена [27, с. 156], А. М. Щербака [28, с. 169], Б. А. Серебренникова [29, с. 66]), а все остальные показатели являются вторичными. При этом М. Рясянен и Б. А. Серебренников при реконструкции системы фонем тюркского праязыка за основу брали тюркские рунические памятники, почти без всяких изменений возводя их систему вокализма и консонантизма к пратюркскому состоянию [27, с. 27—28; 29, с. 29] (реконструированные ими системы фонем, равно как и дистрибуция последних для тюркского праязыка, весьма незначительно отличаются от системы фонем и их дистрибуции в языке тюркских рунических памятников). Несколько отличную от системы консонантизма языка тюркских рунических памятников систему согласных для тюркского праязыка предложил А. М. Щербак (реконструированная им система вокализма ничем не отличается от системы вокализма других указанных авторов) [28, с. 157, 173—174]. Автор данной статьи, исходя из собственных исследований, основанных на комплексном использовании принципов ареальной лингвистики, методов внутренней и внешней реконструкции, дополненных статистической оценкой рассматриваемых параметров (иными словами, частотностью гласных и согласных) ряда тюркских языков, предлагает свою систему фонем для тюркского праязыка, состоящую из трех гласных: *a*, *i*, *u* и восьми согласных: *p*, *m*, *s*, *t*, *n*, *j*, *k*, *r* с произвольной дистрибуцией первых десяти фонем, последняя же фонема *r* не могла употребляться в инициальной позиции. Точно такой же результат получен автором и для системы фонем японского праязыка, как в отношении числа, качества фонем, так и их дистрибуции. Полученный результат удивительным образом совпадает с системой фонем для тюркского праязыка (равно как и для ряда других языков земного шара), выведенной совершенно независимым путем башкирским ученым Т. М. Гариповым [30]. Из реконструированной системы фонем тюркского праязыка видно, что в ней нет места аффрикате *č*, из чего следует вторичность ее образования. Таким образом, в приводимом ряду морфологических показателей порядкового числительного (см. выше) исходной формой будет **-in-si*, где первый компонент представляет собой аффикс собирательности, а второй — аффикс прилагательного. Все остальные рассмотренные фонетические варианты — результат языковой эволюции и дифференциации тюркских языков. Другие аффиксы порядковых числительных, представленные в небольшом числе остальных тюркских языков, — либо результат деструкции реконструированной праформы, либо результат отличного от общетюркского пути развития [10, с. 145, 146, 151].

Подтверждением правильности проведенной реконструкции аффикса имени прилагательного представляются материалы древнеяпонского языка, в котором зафиксирован суф. имени прилагательного в форме *-si*: *uma-si miti* «хорошая дорога» [22, с. 84, 166], *наганагаси* «длинный, долгий», *омоомоси* «тяжелый», *каругаруси* «легкий» [31, с. 237; 32, с. 261]. Если принять во внимание тот факт, что ареал японского языка ограничен крайней периферией распространения алтайских (т. е. тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, корейского и японского) языков и к тому же изолирован от остальных языков алтайской семьи, то в соответствии с принципами ареальной лингвистики (нормы периферийных и изолированных областей) [23, 19] мы вправе допустить наличие в нем архаичных черт (иными словами, консервацию архетипа). Среди тюркских языков эта форма суффикса имени прилагательного представлена в башкирском языке. В связи с этим интересно отметить наличие реконструированного суф. прилагательного **-si* в ряде тунгусо-маньчжурских языков. Примеры: нан. *амтаси* «вкусный», *гачиси* «горький», *боёрси* «кислый» [33]. «Прилагательные этой группы имеют общий компонент

-си, который, судя по его месту в слове, представляет собой омертвевший словообразовательный суффикс» [33]. В эвенском: «Суфф. *-si* указывает на качество, связанное с ощущением холода, тепла, напр.: *gel-si* — прохладный, *huk-si* — горячий, *ŋam-si* — жаркий» [34]. Что касается аффикса собирательного числительного, то в древнеяпонском языке вообще не существовало специальных аффиксов ни собирательного, ни порядкового числительного [22, с. 79—91; 31, с. 110—126]. В этом отношении древнеяпонский язык сближается с курмышским говором чувашского языка, в котором также не существует специальных аффиксов порядкового числительного [35].

«Чувашский язык в отношении образования порядковых числительных среди тюркских языков занимает особое место... Если обратиться к истории развития формы чувашских порядковых числительных, наблюдается следующий путь развития этой формы:

1. В языке имело место употребление количественных числительных вместо порядковых. Оно является естественным следствием развития имен числительных от простых форм к более сложным. Пользование количественными числительными вместо порядковых числительных существовало вплоть до последнего времени в некоторых местах среди чуваш» [36]. Если к тому же принять во внимание точку зрения Р. А. Миллера (почти единодушно разделяемую тюркологами и алтаистами широкого профиля, см., например, работы С. Е. Малова [38], Н. А. Баскакова [13, с. 113, 115], Н. Поппе [39], М. Р. Федотова [40]), который пишет что, имея «дело с тюркскими материалами на уровне алтаистического сравнения и исторической грамматики, всегда необходимо обращать особое внимание на данные, которые могут быть представлены в чувашском языке, во многих отношениях, возможно, являющемся самым ценным из всех тюркских языков в историческом плане, поскольку он может пролить свет на сложные проблемы взаимосвязи различных языков этой семьи» [37], и привлекая данные древнеяпонского языка, можно с достаточным на то основанием высказать предположение о том, что в эпоху алтайской языковой общности, по всей вероятности, не существовало специальных аффиксов порядкового числительного и в качестве последних выступали количественные числительные.

С вопросом происхождения порядковых числительных в тюркских языках тесно связана проблема происхождения так называемого выделительного аффикса (усилительной частицы), о которой пишет Б. А. Серебренников: «... прилагательное, выступающее в роли порядкового числительного, должно иметь в своем составе выделительный аффикс... А она (частица.— *А. Э.*) действительно имеется. Частица *čy* может усиливать в некоторых тюркских языках формы повелительного наклонения, ср. карач.-балк. *ǰaz-čy* „напиши-ка“, *čaqyr-čy* „позови-ка“ и т. д.» [11, с. 8, 9]. Действительно, такая частица, фонетически тождественная соответствующей форме второго компонента суффикса порядкового числительного, отмечена в лексике большинства рассмотренных тюркских языков, а именно:

Башкирский

«*Сы/се*... Безударная частица, которая ставится после глаголов (в повелительной и условной формах): *ал сы* (возьми-ка), *бер генэ күрһәм се* (хоть бы разок мне посмотреть). Не смешивать с ударным аффиксом словообразования *-сы*» [5, с. 130]. «Факультативно ко 2-му лицу ед. ч. можно прибавить безударный аффикс *-сы/-се*... (в других тюркских языках *-чы/-че*...), который несколько смягчает приказание. Примеры: *ал-сы* (возьми-ка, ну возьми), *бир-се* (дай-ка, ну дай). По-видимому, это тот же самый аффикс, который, стоя в несколько другой функции и имея на себе ударение, образует имя действующего лица...» [5, с. 164].

Казахский

Усиленное повелительное наклонение образуется путем прибавления частицы *-ші/-шы* к повелительному наклонению спрягаемого глагола и переводится частицей *-ка*: *ол тіл алмайды, сен айт-шы* «он не слушается, ты скажи-ка» [17].

Барабинский

В языке барабинских татар при образовании повелительного наклонения для усиления приказания к основе глагола добавляется аффикс *-ыц/-иц*: *сорыц*! «спроси-же» [21, с. 165]. Кроме того, в этом языке имеется также частица побуждения *-цы/-ци*: *кисци*! «режь-ка!» [21, с. 170]. По-видимому, здесь имеет место метатеза в составе аффикса усиленного повелительного наклонения.

Караимский

Частица: «Т. *-чы, -чи/Г. -цы, -ци* „*-ка*", „же"... также сочетается с глаголами (и выражает просьбу): Т. *Сен, ширин кыз, тур ойан-чы* „Ты, красавица, встанька-ка, проснись же"» [18].

Аналогичная усилительная частица *-si*, которая фонетически также совпадает с афф. имени прилагательного *-si*, отмечена и в древнеяпонском языке. Примеры: *kimi-wo si matamu* «тебя буду ждать», *sigure-nö amë si* «осенний дождь» [22, с. 155, 166]. Эта частица, употребляемая только в письменном языке и несколько подчеркивающая стоящее впереди слово, более широко употреблялась в период Нара (710—794 гг. н. э.) [31, с. 628—629; 32, с. 261]. Архетип усилительной частицы определяется точно так же, как и в случае с суффиксом имени прилагательного, и, как явствует из ранее изложенного, также представляется в форме **-si*.

На основании вышеизложенного можно высказать предположение о том, что в тюркском праязыке существовали две семантически отличные, но фонетически тождественные (без учета акцентуации) языковые праформы: первая — связанная языковая праформа — суф. имени прилагательного **-si* и вторая — свободная языковая праформа — усилительная частица **-si*, которые полностью совпадали с соответствующими языковыми формами древнеяпонского языка. В японском языке указанные языковые формы (суф. прилагательного и усилительная частица) отмечены в памятниках японской письменности периода Нара и Хэйан [710—1192 гг. н. э.).

Далее, если принять во внимание точки зрения Н. К. Дмитриева (см. выше) и А. Н. Кононова [20] о родстве аффикса имени действующего лица и усилительной частицы, а также Б. А. Серебренникова (см. выше) о тождестве второго компонента сложного суффикса порядкового числительного и усилительной частицы (выделительного аффикса), то на основе полученных данных с привлечением материалов древнеяпонского языка можно сделать далеко идущее предположение о том, что на еще более ранней (не засвидетельствованной памятниками письменности) стадии развития японского и тюркских языков (скорей всего восходящей к периоду алтайской языковой общности) имела место лишь одна свободная языковая форма (поскольку свободные языковые формы всегда предшествуют связанным), иными словами, выделительно-усилительная частица **-si*. Эта гипотеза подтверждается материалами японского языка, в развитии прилагательных которого М. Киэда прослеживает следующие четыре этапа: «Первый период. К этому периоду нужно отнести случаи употребления основы прилагательного в чистом виде; это наиболее древний способ употребления. Случается, что такие формы трудно отличить от существительных и глаголов... В изолированном виде эти формы нередко встречаются в старинных песнях и т. п. Второй период. В это время форма прилагательных стала определенным образом изменяться, причем хотя на письме изменение

изображалось буквой „си“, произносилось оно *ch*. Звук *ch* представлял собой что-то среднее между *ки* и *си*, но ни то, ни другое не выявлялось отчетливо. Следы этого явления можно найти в „Кодзики“ [5] и „Манъёсю“ [6], например, *тōтоси коси-но куни* „далекая страна Коси“, *сакаси мэ* „умная женщина“. Наиболее ясно этот звук сохранился в северо-восточном диалекте (Тōхоку). Третий период. Это время появления изменяемости: а) *ки — си*, б) *си — сики*. Звук *ch*, распадаясь, дает либо *ки — ку*, либо *си*... Четвертый период. Это время (оно начинается с периода Камакура [7]) постепенного исчезновения некоторых форм спряжения прилагательных; как и в современном языке, прилагательное, будучи сказуемым, в любом случае имеет окончание *й*...» [31, с. 236—238].

Памятники письменности фиксируют развитие прилагательных в японском языке, начиная с третьего периода, когда параллельно сосуществовали два аффикса прилагательных: *-si* — заключительной формы и *-ki* — определительной формы, которые в период Камакура в результате элизии согласных слились в одну форму *-i*, сохранившуюся и в современном японском языке. Что касается усилительной частицы *-si*, наиболее широко применявшейся в период Нара, то впоследствии ее самостоятельное употребление постепенно ограничивается и окончательно исчезает в период Хэйан (794—1192 гг. н. э.) [41].

В тюркских же языках эта выделительно-усилительная частица *-si*, по-видимому, стала выполнять также функцию суффикса имени прилагательного, причем последний в ходе языковой эволюции сначала трансформировался в суффикс причастия наст. времени и окончательно закрепился во всех тюркских языках в качестве суффикса имени действующего лица, сохраняя в то же время во многих современных тюркских языках и свое первоначальное значение выделительно-усилительной частицы.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Bang W.* Türkologische Briefe aus dem Berliner Ungarischen Institut. — Ungarische Jahrbücher. Berlin und Leipzig, 1930, Bd. X.
2. *Боровков А.* Очерки карачаево-балкарской грамматики.— В кн. Языки Северного Кавказа и Дагестана. Сборник лингвистических исследований. I. Под ред. Сердюченко Г. П. М.— Л., 1935, с. 39.
3. *Benzing J.* Tschuwaschische Forschungen (I).— ZDMG, Leipzig, 1940, Bd. 94 (NFB 19), Hf. 2, S. 240—241.
4. *Benzing J.* Tschuwaschische Forschungen (V). Die Ordinalzahlen und ein iranisches Suffix zu ihrer Bildung.— ZDMG, Wiesbaden, 1954, Bd. 104, Hf. 2, S. 388.
5. *Дмитриев Н. К.* Грамматика башкирского языка. М.— Л., 1948.
6. *Кононов А. Н.* Тюркские этимологии.— Уч. зап. ЛГУ, 1954, № 4, сер. востоковедческих наук, с. 272.
7. *Рамстедт Г. И.* Введение в алтайское языкознание. Морфология. М., 1957, с. 67.
8. *Räsänen M.* Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen. Helsinki, 1957.
9. *Щербак А. М.* Порядковые числительные в тюркских языках.— UAJb, 1976, Bd. 48.
10. *Щербак А. М.* Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (Имя). Л., 1977.
11. *Серебренников Б. А.* О некоторых трудных проблемах исторической грамматики тюркских языков.— СТ, 1979, № 3.
12. *Исхаков Ф. Г.* Характеристика отдельных гласных современных тюркских языков.— ИСГТЯ. Ч. I. Фонетика. М., 1955, с. 94, 95.
13. *Баскаков Н. А.* Тюркские языки. М., 1960.
14. *Андреев И. А.* Чувашский язык.— В кн.: Языки народов СССР. Т. II. Тюркские языки. М., 1966, с. 50.
15. Древнетюркский словарь. Л., 1969.
16. *Исхаков Ф. Г.* Имя прилагательное.— ИСГТЯ. Ч. II. Морфология. М., 1956.
17. Грамматика казакского языка. Сост. Архангельский Г. В. Под ред. Кеменгерова. Ташкент, 1927, с. 47—48.
18. *Мусаев К. М.* Грамматика караимского языка. Фонетика и морфология. М., 1964, с. 329.
19. *Блумфилд Л.* Язык. М., 1968, с. 367.

---

[5] Древнейший памятник японской письменности, датируемый 712 г. н. э.
[6] Антология древнеяпонской поэзии, составление которой относится к VIII в. н. э.
[7] 1192—1333 гг. н. э.

20. *Кононов А. Н.* Грамматика современного узбекского литературного языка. М.—Л., 1960, с. 334.
21. *Дмитриева Л. В.* Язык барабинских татар.— В кн.: Языки народов СССР. Т. II. Тюркские языки. М., 1966.
22. *Сыромятников Н. А.* Древнеяпонский язык. М., 1972.
23. *Серебренников Б. А.* Методы лингвогеографических исследований.— В кн.: Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. М., 1973, с. 129, 130.
24. *Баскаков Н. А.* Диалект кумандинцев (куманды-кижи). М., 1972, с. 41.
25. Современный татарский литературный язык. Лексикология, фонетика, морфология. М., 1969, с. 144.
26. *Brockelmann C.* Zur Grammatik des Osmanisch-Türkischen.— ZDMG, Leipzig, 1916, Bd. 70, S. 213.
27. *Рясянен М.* Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1955.
28. *Щербак А. М.* Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970.
29. *Серебренников Б. А., Гаджиева Н. З.* Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Учебное пособие для вузов. Баку, 1979.
30. *Гарипов Т. М.* Кыпчакские языки Урало-Поволжья. Опыт синхронической и диахронической характеристики. М., 1979, с. 261—263.
31. *Киэда М.* Грамматика японского языка. Т. I. М., 1958.
32. *Киэда М.* Грамматика японского языка. Т. II. М., 1959.
33. *Аврорин В. А.* Грамматика нанайского языка. Т. I. Фонетическое введение и морфология именных частей речи. М.— Л., 1959, с. 205.
34. *Левин В. И.* Краткий эвенско-русский словарь. С приложением грамматического очерка. М.— Л., 1936, с. 140.
35. *Ашмарин Н. И.* Материалы для исследования чувашского языка. Казань, 1898, с. 182.
36. *Андреев Н. А.* Чувашские порядковые числительные в сравнении с порядковыми числительными булгарских намогильных надписей.— Уч. зап. НИИЯЛИЭ при Сов. Мин. ЧувАССР, 1956, вып. XIV, с. 236.
37. *Miller R. A.* Japanese and the other Altaic languages. Chicago and London, 1971, p. 202.
38. *Малов С. Е.* Памятники древнетюркской письменности. М.— Л., 1951, с. 6.
39. *Poppe N.* Introduction to Altaic linguistics. Wiesbaden, 1965, p. 33.
40. *Федотов М. Р.* Чувашский язык в семье алтайских языков. I. Чебоксары, 1980, с. 48—50.
41. *Kōjien.* Tokyo, 1974, p. 935 («Большой сад слов» — Словарь японского языка на 200 тыс. слов).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1982

ВИНТЕР В.

О МАРКИРОВАННОСТИ, СООТВЕТСТВИИ НОРМЕ И «ЕСТЕСТВЕННОСТИ»

В последнее время не только возродился, но и возрос интерес к вопросу о «маркированности». Как уже неоднократно отмечалось, в прошедшие десятилетия произошли существенные изменения в содержании этого термина. Первоначально Пражская лингвистическая школа считала маркированность чисто формальным свойством в самом узком смысле этого слова: маркированная форма характеризовалась наличием дифференциальных признаков, отсутствовавших у формы немаркированной; иначе говоря, маркирование понималось просто как усложнение данной формы. Так, например, у простого глухого согласного нет той маркированности, которой обладает звонкий согласный; звук с придыханием выступал как маркированный по сравнению со звуком, произносимым без придыхания; грамматическая форма, характеризующаяся наличием флексии будущего времени, считалась маркированной по сравнению с формой настоящего времени, у которой такой флексии нет, и т. п.

Это простое соотнесение маркированности и сложности было пересмотрено в связи с распространением понятия маркированности на разные уровни языка. По мнению Р. Якобсона, те языковые категории, которые образуют взаимосвязанные части модели, можно классифицировать как маркированные или немаркированные по отношению друг к другу *безотносительно* к их формальным свойствам при условии неизменности их общего соотношения. Так, например, форма единственного числа всегда остается немаркированной по сравнению с формой множественного числа, независимо от того, характеризуются ли обе формы одинаковой степенью сложности, является ли множественное число более сложным, или даже если форма единственного числа оказывается более сложной, чем форма множественного. При таком подходе форма претерита оказывается маркированной по отношению к форме настоящего времени; форма совершенного вида — по отношению к форме вида несовершенного; форма 1-го и 2-го лица — по отношению к форме 3-го лица. Таким образом, понятие маркированности перестало быть строго формальным и стало понятием функциональным: в некотором смысле можно сказать, что категория А функционально проще, чем категория В. Поскольку при этом прежнее понимание маркированности, казалось бы, мало отличалось от нового понимания большей или меньшей степени простоты, можно было без особого ущерба сохранить прежнюю терминологию.

Это решение подтверждалось наблюдениями чисто эмпирического характера. Дело в том, что между частотностью употребления маркированных и немаркированных форм в старом и новом смысле существует вполне определенное соответствие: в высшей степени сложные звуки или морфологические структуры имеют тенденцию встречаться реже, чем простые или «немаркированные», точно так же функционально простые или «немаркированные» в новом смысле оказываются более распространенными, чем формы, функционально более сложные. Более того, общий процесс редукции выраженных оппозиций приводит к распространению «немаркированности» в обоих пониманиях этого термина: в процессе нейтрализации фонологических оппозиций выживает немаркированный член пары, а функциональное противопоставление обычно ведет к устранению функционально маркированного члена данного ряда.

Дальнейший прогресс представлялся возможным, когда были введены

некоторые понятия теории информации: казалось, что имеется определенный смысл в том, чтобы сказать, что маркированная форма несет большую информационную нагрузку, чем ее немаркированный «партнер».

Получилось, однако, так, что введение понятий функции и информационной нагрузки таило в себе семена разрушения того, что некогда было относительно ясной теорией маркированности. Предполагалось, что выход информации увеличивается, если избранный отправителем сообщения сигнал не тот, которого ожидает получатель, если это не тот «немаркированный» и «соответствующий норме» сигнал, которого естественно было бы ожидать. Поэтому «немаркированный» и «соответствующий норме» оказывались почти взаимозаменяемыми терминами. И, действительно, вносились предложения заменить понятие «маркированность» понятием «степени соответствия норме», а в последнее время это понятие в свою очередь уступило место (по крайней мере в метаречи ряда лингвистов) понятию «степени естественности». Из этих двух альтернатив первая может показаться более привлекательной, так как соответствие норме можно рассматривать как понятие эмпирически обоснованное и поддающееся проверке, тогда как е с т е с т в е н н о с т ь, несмотря на кажущуюся убедительность, все же, по-видимому, относится к области интуиции. Для начальной стадии нового подхода это неплохо, но объективизация этого понятия, несомненно, необходима.

Независимо от того, чему отдается предпочтение — соответствию норме или естественности, в обоих случаях недостаточно поставить всего лишь такой вопрос: будет ли форма А более соответствующей норме или более естественной, чем форма В? В этой связи следует обратить внимание на то, что вопрос, является ли употребление формы А более соответствующим норме или более естественным, чем употребление В, можно задать, но без какой-либо надежды на получение удовлетворительного ответа. Лучше сразу же видоизменить вопрос и сформулировать его следующим образом: является ли употребление формы А более соответствующим норме или более естественным, чем употребление формы В в условиях С? Условия эти могут быть самыми разнообразными. Они могут быть контекстуальными — например, гораздо важнее переключиться в повествовании с формы претерита на форму исторического настоящего (praesens historicum), чем продолжать повествование в форме претерита. Они могут быть социолингвистическими — например, в современном университете в ФРГ студент обратится к другому студенту на «ты» (*du*), даже если он с ним лично не знаком, тогда как к лицу своего возраста, которое он не воспринимает как коллегу (студента), он обратится на «Вы» (*Sie*). Таким образом, *du* оказывается немаркированным, соответствующим норме и естественным в одном социальном контексте и маркированным, не соответствующим норме, не естественным — в другом.

Исторические условия влияют на приобретение того или иного «статуса» каждым из противопоставляемых членов пары: так, когда квакеры начали борьбу за простое обращение в окружающем их обществе, отказавшись от нелогичного, неестественного *you* в обращении к одному человеку, они избрали казавшееся им абсолютно пригодным для этого простое *thee* «ты» как ту форму, которая должна была иметь статус немаркированного члена в паре *thee* : *you*; когда же *you* полностью утратило все качества формы вежливости и стало простой формой 2-го лица, скромное *thee* совершенно неожиданно стало означать нечто совсем другое, а именно, что говорящий считает человека, к которому он обращается, членом небольшого сообщества простых людей. Именно так пошло развитие данного соотношения в речи квакеров в США, которые употребляют *thee*, обращаясь к членам своего ограниченного круга, а *you* — ко всем тем, кто не входит в данную социальную группу.

С этой точки зрения маркированность, или степень соответствия норме, или степень естественности, является не свойством данной формы, а свойством ее у п о т р е б л е н и я; можно сказать, что маркированность, как она понимается здесь, является контекстуально обусловленным признаком, тогда как в ранних формулировках Пражской лингви-

стической школы, включая теорию Якобсона, маркированность либо была налицо, либо отсутствовала независимо от того, как употреблялась форма. Иначе говоря, в первоначальном своем виде она была свободна от контекста.

Здесь можно было бы остановиться и сказать, что вследствие особенностей исторического развития суть понятия, казалось, претерпела глубокие изменения, так что, употребляя термин «маркированность», следует тщательно разъяснить свою исходную позицию. Более того, можно сказать, что в результате все более углубленного изучения это понятие было видоизменено и усовершенствовано так, что теперь совсем не имеет смысла возвращаться к ранним взглядам Трубецкого и Якобсона. Или, наконец, можно найти достоинства как в раннем, так и в последующих вариантах теории, но тем не менее усомниться в правильности высказанной выше идеи непрерывности развития и выступить за сохранение и строгое разграничение понятий «маркированность», с одной стороны, и «степень соответствия норме и естественности» — с другой.

Из всего сказанного очевидно, что я против того, чтобы полностью сосредоточить внимание на формальной сложности, сопровождающейся полным невниманием к употреблению форм. Должно также быть ясно, что я не одобряю безосновательного определения того или другого употребления как «соответствующего норме» и «естественного». Обе категории могут вообще фигурировать только при условии, что это подтверждается эмпирическими данными. Сказанное значит, что для меня наиболее привлекательным является такой подход, который требует соблюдения двух условий: я хотел бы иметь возможность классифицировать все реализации языка по степени их «открытой» (overt) или явной сложности и, одновременно, я стремился бы к формулировке точных положений, касающихся степени соответствия норме и естественности данного употребления языковых форм. Первый из перечисленных мною аспектов можно назвать вниманием к парадигме, второй — к синтагматическим отношениям. Оба этих аспекта вполне закономерны для языковеда, и ни один из них ни в коем случае не может исключить другой. Это значит также, что я настоятельно желаю знать, существует ли связь между степенью формальной сложности и степенью соответствия норме или естественности употребления данных единиц языка. Тех немногих примеров, которые были приведены выше, достаточно, чтобы показать, что это не является вопросом простой корреляции; поэтому я должен рассматривать каждый из этих аспектов независимо друг от друга, так как, с одной стороны, нельзя приветствовать ранее выдвинутое Якобсоном решение, основанное на изучении только функции, так же как нельзя принять и утверждение о непрерывности между пражской «маркированностью форм» и более новым понятием «степени соответствия норме — естественности». И поскольку я не хочу рассматривать отмеченность как формальное свойство, которое исключается из рассмотрения, то у меня нет другого выбора, как только занять следующую позицию.

Языковеда вполне закономерно интересует не только структурное описание данной языковой единицы, но и сопоставление структуры этой единицы со структурой других единиц. Сопоставляя их, он замечает, что одни из них можно плодотворно сравнивать и что можно сказать, что единица X обладает гораздо большей степенью сложности, чем единица Y. К этой более высокой степени сложности и может быть отнесен термин «маркированность». Раз уж термин был принят именно в этом смысле, его ни в коем случае нельзя употреблять в другом смысле, не нарушая ясности дискуссии.

Лингвистические единицы (и это одно из старых положений пражской традиции) всегда будут маркированными или немаркированными в контексте сопоставления; для того чтобы можно было говорить о маркированности, необходимы «пары» форм, хотя и «пара» может быть членом ряда, который состоит из более чем одной формы; иначе говоря, внутренне обусловленной необходимости бинарного подхода нет.

Языковед должен не только интересоваться изучением структуры

форм, но и обязательно обращать внимание на особенности их употребления. В этой связи вполне целесообразно может быть поставлен вопрос о том, насколько естественно или нормально употребление данной формы. Но, по-моему, нет необходимости считать, что «немаркированный» в смысле «формально более простой» должен непременно совпадать с «более нормальным» или «более естественным». Против такого вывода говорит слишком много фактов. Так, например, русск. *люди*, конечно, маркированно по сравнению с русск. *люд*; однако именно множественное, а не единственное число является наиболее употребительным и поэтому выступает как соответствующее норме, или естественное. В индоевропейском языке более старого типа *b*, конечно, являлось маркированным соответствием немаркированного *p*; однако в кельтском *p* было утеряно (коротко говоря и не касаясь в этой связи возражений Педерсена и Гамкрелидзе — Иванова).

Однако если понятия «менее соответствующий норме/менее естественный» относить к явлениям, совершенно отличным от тех, которые обозначаются термином «маркированный», тогда представлялось бы правильным не пользоваться одним и тем же термином в обоих случаях. Поэтому нецелесообразно говорить о «маркированности», если имеется в виду «не соответствующее норме» или «неестественное» употребление, либо, наоборот, о «соответствующем норме» или «естественном» употреблении, когда подразумевается более простая форма, т. е. формально более простое выражение. Поэтому я предлагаю употреблять термин «маркированный/немаркированный», когда речь идет о противопоставляемых членах ряда. Термин же «нормальный/ненормальный» — только для обозначения соответствующих особенностей употребления. Маркированность тогда измерялась бы в терминах сложности построения форм, а соответствие норме — в терминах частотности употребления в данном контексте.

Ясно, что несравненно легче наблюдать и доказывать маркированность, чем наблюдать и обосновывать «соответствие норме» употребления. Во многих случаях мы вряд ли сможем выйти за пределы интуитивных суждений, так как именно на интуиции обычно основывается оценка того или иного употребления как «естественного». Тем не менее, если мы хоть сколько-нибудь интересуемся функционированием языка, а не только какой-то безжизненной абстрактной грамматикой, определение степеней соответствия норме имеет исключительно важное значение. Как обычно, во всяком эмпирическом исследовании работа продвигается очень медленно, и конечная цель, весьма вероятно, вообще не будет достигнута. Однако, стремясь определить, что такое «нормальное» употребление, мы, конечно, не можем не учитывать изменения, происходящие в употреблении языка как синхронически, например, в социолингвистическом плане, так и диахронически. При этом особенно важно взвешивать сделанные наблюдения и не ограничиваться их простым описанием.

Изучение реального употребления и определение соответствия норме не должно препятствовать дальнейшему исследованию маркированности. В нижеследующем мы ограничимся несколькими краткими замечаниями.

Обсуждая маркированные и немаркированные формы в русской глагольной парадигме, Якобсон не принимал во внимание формальную сторону — его исследование ограничивалось изучением функции и поэтому явилось началом нового подхода в исследовании «соответствия норме/естественности», хотя значительный разрыв существовал даже здесь. Но пренебрежение к форме привело к нежелательным результатам, несмотря на их явную привлекательность. Отнесение Якобсоном форм несовершенного вида к немаркированным, а форм совершенного вида — к маркированным (причем маркированность рассматривалась как свойство, постоянно присущее одному из членов этой пары), никак не могло служить для разъяснения того факта, что имеются пары форм, где совершенный вид — более сложный, т. е. формально отмечен (как, например, в слове *написать* по сравнению с *писать*), и другие, где возрастание сложности происходит в форме несовершенного вида, как, например, в слове *дать* по отношению к *давать*.

Для Якобсона, по крайней мере во время написания его известной работы [1], форма, по-видимому, не имела значения: если бы он признавал значение формы, ему пришлось бы отказаться от своего изысканно простого представления о классификации форм, полностью определяемой употреблением. Но, отказавшись от данных, относящихся к форме, он лишил себя возможности показать, что в русском, так же как и в других индоевропейских языках, есть глаголы, которые по характеру своего основного значения обычно выступают в форме длительного вида настоящего времени, тогда как у других центром их формообразования и функционирования являются недлительные члены глагольной парадигмы.

К этому примеру нетрудно добавить несколько параллельных случаев. В армянском языке имеется суффикс единственного числа, который оформляет существительные, обозначающие парные части тела — глаза, уши, руки, ноги. В системе древнеармянской морфологии вин. п. мн. ч. *ots* «ноги» является менее сложным, чем вин. п. ед. ч. *otn*; *ots* состоит из простой основы + окончание, *otn* — из расширенной основы + окончание (которое было утеряно в результате редукции конечного слога). Если бы мы приняли вывод Якобсона, что формы двойственного числа всегда маркированны в противовес формам единственного числа, то морфологическая отмеченность (сложность) и функциональная маркированность были бы несовместимы. Если разграничить эти два подхода, то можно сказать, что в этом разряде армянских слов форма двойственного числа менее сложна, следовательно, не маркированна по сравнению с соответствующей ей формой единственного числа. Если же затем рассмотреть такую возможность, что немаркированный член этой пары может также быть более «основным», т. е. более соответствующим норме, то напрашивается вывод, что действительно в области парных частей тела именно называние пары, а не индивидуальных членов этих пар будет наиболее естественным, почему армянское *otn* и др. лучше рассматривать не как первичное единственное число, а как производную форму сингулятива. Если вновь брать за основу форму, а не основанное на языковедческих универсалиях обращение к функции, то кажущийся непреодолимым конфликт между маркированностью в формальном и маркированностью в функциональном смыслах можно легко преодолеть и, таким образом, вновь достичь действительно серьезного и глубокого проникновения в динамику развития языковой системы.

Очень похожий пример можно снова привести из русского языка. Если принять точку зрения Якобсона, что множественное число всегда более маркированно, чем единственное, то анализ пары *стол* : *столы* не представит никаких трудностей: форма *столы* будет одновременно и морфологически более сложной, т. е. маркированной в первоначальном смысле этого термина, и функционально неосновной, согласно точке зрения Якобсона. Однако, если сравнить русское слово *боярин* с формой мн.ч. *бояре*, то оказывается, что *бояре* содержит основу — *бояр* + окончание, в то время как формы ед. ч. — *боярин*, *боярина*, *боярину* — включают суф. *-ин*, который предшествует флексии. Опять обращение к первичности формы дает благоприятный результат: *боярин* является сингулятивом со значением «высший жалованный сан», а термин, который обозначает всю группу «бояре», будет более «основным», чем тот, которым мы обозначаем отдельного представителя этой социальной группы.

Так же, как и в армянском языке, внимание к форме помогает здесь обнаружить парадигму, которая менее употребительна, чем ее «партнер» с основными формами единственного числа. Тем не менее она существует и поддается объяснению в терминах функционального подхода к проблеме маркированности и соответствия норме и естественности.

Когда формальным критериям стали придавать меньшее значение, понятие «маркированность» приобрело некоторую неопределенность, причем ее претензии на высокую степень обобщения не поддавались проверке. Введенное Якобсоном понятие универсально приемлемого, постоянного избытка маркированности одной категории по сравнению с другой хотя, несомненно, и привлекает своей оригинальностью, тем

не менее принято быть не может. Вместо этого возможны два пути к улучшению создавшегося положения. Один ведет к отказу от понятия категориальной маркированности и новой ее интерпретации как зависящей не от данной формы, а от употребления данной формальной единицы в данном контексте. Другой путь заключался бы в том, чтобы восстановить в правах форму как основной критерий для определения маркированности; по-видимому, именно второй путь и следует сейчас более тщательно исследовать.

Итак, суммируя все сказанное, я предлагаю, чтобы маркированность была понятием, которое употреблялось бы только при сравнении формальных свойств изучаемых языковых единиц, а соответствие норме или естественность описывались бы эмпирически на основе тех сведений, которые мы имеем относительно частотности употребления той или иной формы. Предлагаемое мною различие я не считаю тривиальным: только строго разделяя анализ формы и анализ употребления, можно надеяться проверить те гипотезы, которые касаются соотношения между свойствами форм и особенностями их употребления.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Jakobson R.* Zur Struktur des russischen Verbums.— Charisteria Gvilelmo Mathesio qvinqvagenario a discipulis et Circuli Lingvistici Pragensis sodalibus oblata. Pragae, 1932.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1982

ШЕНДЕЛЬС Е. И.

СОВМЕСТИМОСТЬ/НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ И ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ

Общее между лексикой и грамматикой заключается в том, что наряду с лексической семантикой существует грамматическая семантика, которая может изучаться тем же методом смыслового (семного) компонентного анализа, что и лексикон. Применение семного анализа к фактам грамматики оказывается, в одном отношении, более простым, а в другом — более сложным, чем к фактам лексики. Разложение на семы значения какой-либо грамматической формы осуществляется более просто и легко, чем значения слова, в силу того, что грамматическое значение носит более обобщенный характер и исчерпывается, как правило, одной, двумя, тремя семами [1, 2], в то время как семный состав лексемы гораздо богаче (ср. число сем, необходимое для раскрытия семантики *стул* в отличие от *кресло*, *табуретка*, *скамья*). С другой стороны, анализ по семам в грамматике осложняется лексическим влиянием, так что иногда не удается провести грань между семами чисто грамматическими и лексическими. Сопоставляя те и другие, мы наблюдаем часто их совпадение. Оно происходит как бы в одностороннем порядке, т. е. нет такой грамматической семы, которая не имела бы эквивалентной лексической семы, но не наоборот. Любой грамматической семе соответствует одноименная лексическая сема; например, сема «множественность» как смысловой компонент формы мн. числа соответствует семе «множественность» в лексическом значении таких существительных, как *множество*, *толпа*, *ряд*, *стадо*, *стая*, *рой*, *ворох*, или глаголов *толпиться*, *хлынуть*, *собираться*, или наречий *много*, *обильно*. Семы «прошедшее/настоящее» (или «совпадение/несовпадение с моментом речи») в значении соответствующих временных форм глагола коррелируют с одноименными семами в словах: *теперь — тогда*, *сейчас — прежде*, *современный — несовременный*, *современность — прошлое*, *старина* и т. п. Обратной связи не существует, великое множество лексических сем не имеет никаких коррелятов среди грамматических сем.

Отсюда следует вывод для грамматики: в синхронном плане любое грамматическое значение в языке подкрепляется лексическими семами; лексическая семантика на каждом временном срезе подхватывает, развивает, модифицирует грамматическую семантику.

Грамматические формы не просто накладываются на лексический материал подобно сетке. Именно потому, что они обладают своей семантикой, они избирательны в отношении лексики, хотя эта избирательность может иметь весьма широкий диапазон. Избирательность всегда связана с ограничениями: трудно найти правило в отношении образования какой-либо морфологической формы, которое не знало бы ограничений, связанных именно с лексической семантикой слов. Грамматическое значение формы должно быть совместимо с лексическим значением слова, только тогда может беспрепятственно возникать словоформа. Оппозиция форм числа реализуется в индоевропейских языках только у существительных, обладающих семой «исчисляемость», оппозиция форм сравнения — только у прилагательных с семой «мера качества», 1-го л. и 2-го л.— только у глаголов, обозначающих деятельность человека, залоговые противопоставления — только у глаголов целенаправленного действия и т. д.

При этом вырисовывается определенная закономерность. Наибольшим лексическим диапазоном в пределах определенной части речи обладают граммемы, выступающие в качестве слабых членов оппозиции с наи-

менее маркированными смысловыми признаками. Таков индикатив (слабый член) в отличие от императива, 3-е л. (слабый член) в отличие от 1-го л. и 2-го л., актив в отличие от пассива, единственное число в отличие от множественного числа, презенс в отличие от форм прошедшего времени. Чем сильнее смысловая маркированность, тем больше ограничений, тем строже избирательность. В перечисленных противопоставлениях сильные члены в лексическом плане более ограничены, чем слабые. Но и среди сильных членов оппозиций существует градация по степени смысловой маркированности и, следовательно, по диапазону реализации. Так, в немецком языке из двух синонимичных форм прошедшего времени — перфекта и претерита — перфект обладает бо́льшим числом сем, чем претерит, и, следовательно, большей избирательностью. Перфект характеризуется тремя семами: «прошедшее», «связь с настоящим», «завершенность», в то время как претериту свойственна лишь одна сема «прошедшее». Естественно, что диапазон образования претерита шире, чем перфекта. Ряд глаголов и отдельных лексико-семантических вариантов (ЛСВ) глаголов, лексические семы которых несовместимы с грамматическими семами перфекта (особенно с семой «завершенность»), не могут образовать этой словоформы (например, глагол *stammen* «происходить», *pflegen* в значении «иметь обыкновение» и др.). Итак, можно установить прямопропорциональное соотношение: чем сильнее семантическая маркированность, тем больше ограничений в образовании грамматической формы. В связи с этим встает вопрос об измерении степени семантической маркированности грамматической формы. Очевидно, последняя величина определяется количеством сем: чем больше сем, тем выше семантическая маркированность, тем более четким предстает значение формы. В бинарных оппозициях характеристика противочленов ограничивается обычно определениями «сильный — слабый». В многочленных оппозициях можно говорить о градации силы маркированности и различать силу первой и второй степени. Например, в трехчленной оппозиции «индикатив — конъюнктив — императив» индикатив — самая слабая грамматическая форма, императив — самая сильная, а конъюнктив занимает промежуточное положение между ними.

Совместимость грамматических и лексических значений — необходимое условие реализации не только морфологических форм, но и синтаксических структур словосочетаний и предложений. И здесь существуют модели с большей или меньшей степенью избирательности в отношении своего лексического наполнения. Можно выделить закрытые модели словосочетаний (синтаксем), которые заполняются весьма ограниченным числом слов определенных тематических классов и подклассов. Большой интерес в немецком языке представляют так называемые антропонимичные модели словосочетаний и предложений, которые могут заполняться существительными, обозначающими части тела человека или тесно связанные с ними понятия. Такова модель модального генитива типа *gesenkten Kopfes stehen* «стоять с опущенной головой», *schnellen Schrittes gehen* «идти быстрым шагом» или модель абсолютного аккузатива типа *die Aktentasche unter dem Arm* «с портфелем подмышкой», *die Kerze in der Hand* «со свечой в руке». К антропонимичным предложениям относятся модель бессубъективного пассива и модель с подлежащим *man*, допускающими в качестве сказуемого только глаголы, обозначающие человеческую деятельность; так, возможны *Dort wird gesungen*, *Dort singt man* «Там поют», но недопустимы **Dort wird gebellt* или **Dort bellt man* «Там лают».

Как бы ни был широк лексический диапазон синтаксической модели, она реализуется только при соблюдении требования лексической солидарности сочетающихся в ней слов [3]. Лексическая солидарность — это одно из проявлений совместимости, причем такой синтагматической совместимости, когда одно слово предопределяет появление другого, связанного с ним по смыслу, так как в значении одного заключены семы другого. В значении глаголов *рубить*, *курить*, *пилить*, *плясать* заключены семы, предопределяющие их окружение,— характер деятеля, объект действия, орудие действия, образ действия. Даже самые открытые модели

предложений типа П + С требуют для своей реализации определенного подбора взаимно согласующихся лексем, допустимых в той или иной синтаксической роли.

Хотя семантическая совместимость — необходимое условие и для образования, и для функционирования грамматических структур в морфологии и синтаксисе, мы нередко встречаемся с «конфликтными ситуациями», когда лексическая и грамматическая семантика приходят в столкновение и грамматике приходится преодолевать сопротивление словаря. Здесь возможны несколько случаев. Один состоит в том, что слово в одном ЛСВ несовместимо с данной грамматической формой, а в другом совместимо. Это обычно новые значения, создаваемые в публицистике, в научном стиле, например, *инициативы* или *скорости*, *мощности*, *интенсивности*, *частоты* и др. [4].

Другой случай, распространенный в художественной литературе и в разговорно-обиходной речи, сопровождается приращением смысла при сохранении того же значения. Грамматика прорывает лексические преграды и образуются формы, недопустимые по существующим нормам данного языка. Наиболее ярко противоречивые взаимоотношения между лексическими и грамматическими семами обнаруживаются в морфологии при образовании словоформ.

Довольно частый случай в художественной литературе — образование формы мн. числа у существительных, лексическое значение которых несовместимо с понятием числа, например, абстрактных существительных *стыд*, *воля*, *одиночество*. Когда же писатель их все же образует, возникает особый стилистический эффект благодаря приращению смысла. Например: «Да здравствует энергия, в которой Спрессованы десятки тысяч воль!» (В. Инбер, Пулковский меридиан).

Форма *воль*, где сема множественность «навязана» неисчисляемому понятию, выражает идею сплоченности, слияния множества в единство, осуществляя одновременно метонимический перенос. Та же форма мн. числа может нести идею расчлененности чувства на разновидности, чем-то отличные друг от друга: «Два равнозначные стыда — Когда торгуешь и когда Тобой торгует кто-то» (Е. Евтушенко, Когда мужчине сорок лет).

Такая же «конфликтная ситуация» возникает при образовании степеней сравнения от относительных прилагательных, обозначающих признак, не знающий градации [5], например: «И мостовая стлалась все булыжней, И звон трамвая длился все печальней» (Л. Мартынов, Музыкальный ящик). Еще более ярким представляется перенесение формы степеней сравнения с прилагательного на существительное с помощью того же суффикса. М. Цветаева называет Черное море «морей морейшее» («Мой Пушкин»).

Необычная и чуждая данным лексемам форма способствует возникновению «художественно-изобразительных приращений смысла» [6], которые входят в сферу коннотации. Читатель (слушатель) вынужден представить себе существование градации таких понятий, которые в действительности не знают ее. Но так как каждое понятие складывается из совокупности существенных признаков, трактуемых в некоторых трудах как семантические предикаты [7], то в сознании говорящего градации подвергается один или несколько таких признаков: *морей морейшее* может относиться и к впечатляющей силе, к красоте, и к мощи Черного моря по сравнению с другими морями, т. е. включать субъективный план, внутреннее ви́дение (Innensicht) говорящего, связанное с индивидуальным восприятием предметов и явлений действительности. В другом примере один из признаков булыжника интенсифицируется, доминирует, вызывает положительную или отрицательную коннотацию.

В немецком языке встречаются случаи образования пассива от непереходных непредельных глаголов или от модальных глаголов как в разговорной, так и в художественной речи. Например: «Wer nicht will, der wird gewollt» (E. Strittmatter, Der Ochsenkutscher); «Ich wurde getanzt» (E. Strittmatter, Schulzenhofer Kramkalender).

В этих образованиях «конфликтная ситуация» возникает в результате

несовместимости грамматической семы пассива «центростремительность действия», т. е. направленность действия на субъект предложения (подлежащее) и отсутствие семы «направленность действия» в значении самой глагольной лексемы. И здесь побеждает грамматическое значение словоформы — создается впечатление чужого воздействия, даже насилия (ср. также шутливое разг. *его ушли*).

Итак, когда лексема выступает в несвойственной ей словоформе, то рождается эффект грамматической образности: нерасчлененное предстает как расчлененное, единое как дробящееся на части, состояние или чувство как воздействие на человека со стороны, помимо его воли. Возникает грамматическая метафора, эффект субъективного впечатления [8].

Грамматическая метафора может слиться с лексической метафорой, удваивая свою силу. Это имеет место в синтаксических структурах с ограниченным лексическим наполнением, когда происходит одновременно нарушение узуальных лексических и грамматических связей, например, субъектный глагол переносится в синтаксическое окружение переходного глагола и, вопреки своему лексическому значению, снабжается дополнениями. Стихотворение немецкого поэта Р. Кунце заканчивается словами, обращенными к своей возлюбленной: «Ich bitte Dich! Schlafe mir einen Brief!». Глагол *schlafen* перенесен в окружение глагола *schreiben* и благодаря этому состояние, сосредоточенное в сфере субъекта, представлено как что-то для кого-то производящее. В результате столкновения между семами «непереходность» и «переходность» побеждает переходность, т. е. не лексическое значение самой транспонируемой единицы, а грамматическое значение всей структуры. Но глагол *schlafen* сохраняет свои лексические семы, что создает метафорический эффект с коннотацией загадочности, таинственности.

К смешанным лексико-грамматическим метафорам относится также метафорическое употребление падежей, которое имеет место в том случае, когда в определенной синтаксической позиции при определенном глаголе выступает не то существительное, которое привычно связано с данной ролью. Лексическая избирательность модели нарушается. Например, в русском языке возможно сочетание глагола *любить* с твор. пад., который передает меру чувства: *любить всем сердцем*, *душой*, *существом*. Здесь полностью сохранена лексическая солидарность глагола и имени. М. Цветаева нарушает эту ограниченность, вводя новые существительные: «...я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием, не на жизнь — а на смерть» («Мой Пушкин»), заставляя читателя слова *прощание*, *встреча*, *разрыв*, *слияние* воспринимать как меру чувства любви. Аналогичный пример представляет собой глагол *играть*, за которым по правилам солидарности следует вин. пад.— название музыкального произведения или имя композитора (*играть сонату*, *Скрябина*). Набор допустимых в этом словосочетании слов ограничен семантической совместимостью. Расширяя границы избирательности, помещая в эту позицию слова других тематических групп, не имеющих семы «музыка», можно достигнуть метафорического эффекта. Так, В. Каверин в повести «Косой дождь» описывает, как мальчик импровизирует на рояле: «И он играл теперь чудо этих яблонь и острое чувство надежды, восхищения, которое испытывали люди, пришедшие сюда и как бы ставшие частью этого сада. Он играл блеск солнца на молодой траве, прохладу еще не согревшейся земли, качанье веток под осторожным ветром». Приведенные примеры иллюстрируют, что в создании образности на равных правах участвуют лексика и грамматика. Преодоление несовместимости грамматических и лексических значений приводит обычно к победе грамматики над лексикой, в результате чего возникает грамматическая или грамматико-лексическая метафора в синтаксисе и коннотация в морфологии. Подобные полуотмеченные образования расшатывают норму. Пройдя стадию окказиональности и экспрессивности [9], они могут стать узуальными и быть санкционированы литературным языком. Так произошло в немецком языке с формами причастия II от модальных глаголов: *der gekonnte Schuß* «меткий выстрел»; *Er brachte ihn gekonnt nach Hause* «Он ловко доставил его домой».

Но тогда они теряют те художественно-изобразительные приращения смысла, о которых говорил В. В. Виноградов и которые мы проиллюстрировали некоторыми примерами.

Итак, лексическое значение относится к условиям реализации грамматических структур в той же мере, в какой грамматическая характеристика является условием реализации слова в лексиконе. Поэтому описание грамматики невозможно без самого широкого привлечения лексического материала, включая разнообразные случаи «конфликтных ситуаций».

ЛИТЕРАТУРА

1. *Шендельс Е. И.* Многозначность и синонимия в грамматике. М., 1970.
2. *Moskalskaja O.* Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. M., 1975.
3. *Coseriu E.* Lexikalische Solidaritäten.— Poetica, 1967, № 1.
4. Русская грамматика. Т. I. М., 1980, с. 473.
5. *Еськова Н. А.* Образование синтаксических форм степеней сравнения в современном русском литературном языке.— В кн.: Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М., 1964.
6. *Виноградов В. В.* Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963, с. 125.
7. Grundzüge einer deutschen Grammatik. Berlin, 1981, S. 42.
8. *Шендельс Е. И.* Грамматическая метафора.— ФН, 1972, № 3.
9. *Гальперин И. Р.* К проблеме необычных сочетаний слова.— В кн.: Проблемы общего и германского языкознания. М., 1978.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1982

АРНОЛЬД И. В.

ИМПЛИКАЦИЯ КАК ПРИЕМ ПОСТРОЕНИЯ ТЕКСТА И ПРЕДМЕТ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

Термин «импликация» можно встретить во многих исследованиях, относящихся к разным направлениям в лингвистике. Значение термина не является устойчивым, но при этом всегда основано на принятом в логике определении импликации как логической связи, отражаемой в языке союзом «если...то» и формализуемой как А → Б (т. е. если А, то Б, или А влечет за собой Б, или Б следует из А). В тексте это может соответствовать выраженной или подразумеваемой связи антецедента (А) и консеквента (Б), т. е. высказывание может содержать или оба вербально выраженных члена, или только один. Во втором случае импликация есть вид подразумевания.

Рассмотрим обе возможности. Л. П. Чахоян [1], исследуя синтаксис разговорной речи, называет импликацией логическую операцию, связывающую два высказывания союзом «если...то», т. е. реализацию в предложении условных суждений. Связка при этом выражена полностью: элемент А — условным предложением, а элемент Б — главным. Аналогичный подход к импликации находим в работе В. В. Богданова [2]. А. В. Бондарко рассматривает импликацию подразумеваемую, он называет импликацией семантические элементы, не выраженные в речевом акте языковыми средствами, но вытекающие из эксплицитно выраженных элементов [3]. Его пример («Ты пойдешь гулять?» — «Я устал») отражает компонент А приведенной выше формулы, т. е. антецедент, а консеквент Б понятен из соположения вопроса и ответа и состоит в том, что второй собеседник гулять отказывается и мотивирует отказ усталостью.

В области лексической семантики можно противопоставить синтагматический и парадигматический подходы к явлению. Синтагматический подход представлен в работах о контекстуальном семантическом осложнении (гиперсемантизации) поэтического слова и о стилистическом контексте, начало которым было положено в трудах Б. А. Ларина [4].

Парадигматический лексический подход отражен в теории импликационала. Импликационал обусловливается связями референта в реальной действительности; в основном лексико-семантическом варианте слова он только подразумевается и в интенсионал не входит, но он может породить производные значения и оказаться в них эксплицированным, войдя в интенсионал. В этом случае антецедент А выражен интенсионалом основного лексико-семантического варианта слова, а элемент Б — его импликационалом. Рассматривая семантику метафоры и метонимии, М. В. Никитин трактует импликацию как аналог связей реального мира, отраженный в мышлении, и, следовательно, как способ организации сознания [5]. Импликация при метонимии, например, отражает пространственные, причинно-следственные, временные и другие связи реальной действительности.

Уже этот предварительный обзор позволяет выделить три дифференциальных признака изучаемого явления: 1) выраженными могут быть или оба компонента связки, или только антецедент; 2) импликация может передавать только информацию первого рода, т. е. предметно-логическую, или сообщать также информацию второго рода: эмоциональную, оценочную, функционально-стилистическую, экспрессивную [1]; 3) импликация

[1] Такая информация изучается в работах, посвященных стилистическому контексту, поэтике слова и разным видам гиперсемантизации.

может быть основана на парадигматических или синтагматических связях слова.

Следует подчеркнуть, что разнообразие уже рассмотренных случаев отнюдь не говорит о терминологическом разнобое, которому так подвержена лингвистика. Напротив, все рассмотренные концепции соответствуют формуле А → Б, но различаются дифференциальными признаками, обусловленными разнообразием изучаемых филологией объектов и целей исследования. Под филологией мы понимаем совокупность наук, исследующих выраженную в языке культуру народа.

Данная статья может рассматриваться как попытка найти филологическую интерпретацию для импликации в узком смысле этого слова, т. е. текстовой импликации, в которой антецедент выражен вербально, а консеквент подразумевается, причем импликация является частью смысла отрывка текста, а не отдельного слова или предложения. Как явление текстовое импликация не может изучаться на примере предложения (это был бы синтаксический подход); рассматриваются отрезки текста независимо от того, из какого количества предложений они состоят. В связи с филологической направленностью исследования в качестве примеров используются только отрезки реальных текстов, которые могут быть известны читателю. Речь, следовательно, идет о текстовой импликации, входящей в компетенцию теории текста, стилистики и шире — филологии. Цель статьи — установить и рассмотреть дифференциальные признаки текстовой импликации, отличающие ее от других видов подразумевания — подтекста, эллипсиса, пресуппозиции, аллюзии и т. п.

Обратимся к примеру. Наполеону привезли портрет сына и он перед придворными демонстрирует отеческую нежность: «Глаза его отуманились, он подвинулся и оглянулся на стул (стул подскочил под него) и сел на него против портрета» (Л. Н. Толстой, Война и мир). Импликация вытекает из взаимодействия смыслов предложения в скобках и описываемой ситуации. Имплицируется угодливость и раболепие придворных, которые ловят малейшее движение императора в стремлении предугадать его желания. Импликация передает не только событийную предметно-логическую информацию, но и экспрессивно-оценочную: образность олицетворения передает отношение к эпизоду. Характеризуя эту импликацию, мы должны осветить социально-ролевую структуру изображенной в тексте ситуации, которую мы в дальнейшем будем называть т е к с т о в о й с и т у а ц и е й или с и т у а т и в н ы м к о н т е к с т о м.

Определим т е к с т о в у ю и м п л и к а ц и ю как дополнительный подразумеваемый смысл (соответствующий консеквенту связки), вытекающий из соотношения соположенных единиц текста (соответствующих антецеденту), но ими вербально не выраженный. Определение это предварительное и в конце статьи оно будет уточнено.

Обратим внимание на то, что речь идет именно о соположенных единицах текста. Импликация, которая содержится в примере, становится понятной, если известно, что говорится о Наполеоне, окруженном придворными. Следовательно, текстовая импликация реализуется в микроконтексте, границы которого определяются его референтом — текстовой, т. е. изображенной в тексте, ситуацией. Основными компонентами ситуации являются участвующие в ней персонажи. Литература и искусство вообще, как известно, антропоцентричны и изображают прежде всего человека. Факультативными элементами текстовой ситуации являются время, место действия, поступки действующих лиц и релевантные для их действий предметы. Формальными границами такого микроконтекста могут быть сверхфазовое единство, диалогическое единство или абзац [2]. Так возникает еще один дифференциальный признак текстовой импликации — признак объема и референтной отнесенности контекста. Текстовая импликация

---

[2] Для терминов «микро-» и «макро-контекст» существует множество различных определений. В данной работе микроконтекст понимается в указанном выше смысле, а макроконтекстом будем считать контекст всего произведения.

коррелирует с текстовой ситуацией, или эпизодом (в терминах поэтики).

Рассмотрим импликацию еще в одном эпизоде из «Войны и мира». Генерал-адъютант Балашов послан Александром к Наполеону в Вильно с письмом, выражающим протест по поводу перехода французскими войсками Немана. Во время разговора Наполеон наивно (Толстой употребляет это слово без кавычек, хотя ирония очевидна) спросил Балашова о том, на какие города идет от Вильно прямая дорога к Москве. Балашов ответил: «Есть много дорог и в числе этих разных путей есть дорога на Полтаву, которую избрал Карл XII». Авторская речь, вопрос Наполеона, ответ Балашова содержат импликации. Толстой употребляет слово *наивно*, намекая на притворство Наполеона, который по существу угрожает нашествием на Москву, а Балашов напоминает ему об участи другого захватчика, наголову разбитого под Полтавой Петром Великим. Разделим ситуацию на изображенную и изображаемую. В изображаемой ситуации в словах Балашова — намек, в изображенной, т. е. текстовой,— текстовая импликация. Экстралингвистический контекст требует подключения фоновых знаний, поскольку импликация учитывает историческую эпоху, хотя и остается в рамках эпизода. Само собой разумеется, что значительность импликации зависит от значительности произведения.

Приведем для контраста импликацию в детективном романе Агаты Кристи: «„It's extremely kind of you",— I said. „But it's impossible. I could never marry a man, unless I loved him madly".— „You don't think?" — „No, I don't",— I said firmly. He sighed» (A. Christie, The man in the brown suit). «„Вы очень добры", — сказала я. „Но это невозможно. Я выйду замуж только за того, кого безумно полюблю".— „А вы не думаете?" — „Нет, не думаю",— сказала я твердо. Он вздохнул». Изображаемая ситуация полностью раскрывается в рамках диалогического единства. Импликация имеет характер не намека, а недосказа. Молодой человек не решается выразить надежду на то, что героиня его когда-нибудь полюбит. Но она тем не менее отлично понимает его.

Этот признак текстовой импликации — признак масштаба контекста, то, что контекст имеет ситуативный характер,— отличает ее от подтекста, который реализуется в макроконтексте целого произведения, на референтном масштабе не эпизода, а сюжета, темы или идеи произведения.

То, что подтекст реализуется в макроконтексте, т. е. в масштабе всего произведения, убедительно показано в работах В. А. Кухаренко [6]. Элементы, соответствующие антецеденту, расположены при этом дистантно, а не контактно, и входят в разные ситуации.

Как импликация, так и подтекст создают дополнительную глубину содержания, но в разных масштабах [7]. В подтексте это дополнительное содержание углубляет сюжет, ведет свою смысловую линию, помогает более полному раскрытию главных тем произведения. Текстовая импликация отражает обстановку отдельного коммуникативного акта, поступка или действия, составляющих отдельное звено сюжета — эпизод. Подтекст и импликацию часто трудно разграничить, поскольку оба являются вариантом подразумевания и часто встречаются вместе; присутствуя в тексте одновременно, они взаимодействуют друг с другом. Важная общая черта подтекста и текстовой импликации состоит в том, что оба вызывают эмоциональное и оценивающее отношение читателя к тому, о чем рассказывается. И все-таки их необходимо разграничить.

Обратимся к примеру. В известном романе Дж. Кэри «Глазами художника» повествование на всем протяжении романа прерывается описанием разных мест Лондона в разное время дня и года и при разном освещении, портретами действующих лиц. Эти словесные портреты и словесные пейзажи удивительно красочны и используют богатый арсенал самых неожиданных образных средств. Почти все они содержат одну и ту же импликацию. Они имплицируют творческое эмоционально окрашенное восприятие художником всего того, что он видит. Герой романа художник Джимсон непрерывно представляет себе, как можно было бы воссоздать виденное на полотне. Многие исследователи видят в подобных случаях подтекст. Но подобное широкое понимание подтекста представляется

неоправданным. В каждом из словесных портретов или пейзажей элементы антецедента расположены контактно, а консеквент восстанавливается как следствие этой частной ситуации. Каждый такой отрывок содержит примерно одинаковую импликацию: художник создает общие контуры своего моделирования объекта и жаждет воплотить этот материал в своем творчестве. Только из сочетания подобных отрывков эпизодов на протяжении всего романа действительно возникает подтекст, несущий важнейший смысл романа: творчество — жизненная потребность художника, ради возможности творить талант идет на все. Подтекст заставляет читателя понять, что в любых самых тяжелых и критических ситуациях старый, нищий, больной, бездомный художник воспринимает окружающее как эстетические стимулы и жертвует всем, лишь бы воплотить замыслы в живописи, лишь бы не прекращать творить. Подтекст создает этот смысл, вытекающий из взаимодействия дистантно расположенных частей, и при этом сообщает информацию как первого, так и второго рода.

От подтекста и дифференциального признака масштабности перейдем теперь к сопоставлению текстовой импликации и эллипсиса. Это разграничение очень удачно проведено в грамматике Р. Кверка и его соавторов [8]. Разница между импликацией и эллипсисом, по мнению этих ученых, состоит в том, что эллипсис восстанавливается однозначно, а импликация имеет вариативную интерпретацию. В авторской речи эллипсис позволяет избежать повторения и является языковой универсалией. Приведем русский пример: «(Я) разостлал бурку на лавке, казак свою на другой» (М. Ю. Лермонтов, Тамань). Синтаксистами эллипсис изучен очень полно, и здесь нет надобности на нем останавливаться подробно. Заметим только, что классифицируются случаи эллипсиса в зависимости от того, какой член предложения или какая часть речи опущены и какую позицию они занимают в предложении. Однозначность восстановления не предполагает неизменности грамматической формы, которая может меняться в зависимости от окружения консеквента. Что касается объема контекста, то совпадение границ эллипсиса с границами предложения необязательно. Эллипсис может появляться во взаимосвязанных репликах диалога. В «Ревизоре» Н. В. Гоголя городничий с тревогой спрашивает: «Где же он там живет?» — «В пятом номере под лестницей»,— отвечает Добчинский. Однозначностью восстановления опущенных элементов эллипсис несколько отличается от неполных предложений, в которых, как в приводимом ниже примере, возможна некоторая вариативность: «„Франц, в мою спальню вещи князя!“ — обратился он к слуге, провожавшему Болконского» (Л. Н. Толстой, Война и мир). Однако вариативность здесь очень незначительна.

От текстовой импликации и подтекста эллипсис существенно отличается по своему назначению. Мы уже отметили, что в авторской речи он служит компрессии информации и устранению избыточности. В устном общении избыточные элементы опускаются не потому, что они уже были употреблены, а потому, что они ясны из ситуации. Эллипсис подлежащего в английском языке, например, типичен для непринужденной разговорной речи, закреплен во многих устойчивых оборотах, а потому стилистически маркирован: *Beg your pardon*; *Told you so*; *Don't know what to say*; *Had a good time*?; *Want a cigarette*?; *Looks like rain*; *Doesn't matter*; *Good to see you*. В авторскую речь такой эллипсис попадает как элемент несобственно прямой речи, а вообще в художественной речи широко используется в речевых характеристиках персонажей. Подобно импликации, эллипсис может повысить экспрессивность, подчеркнуть рематический элемент [9]. Роман «Башня из черного дерева» Дж. Фаулза хорошо знаком советскому читателю и в оригинале, и в переводе, и многие обратили внимание на особенности речи старого художника Генри Бирдслея. Он говорит своему гостю — молодому художнику о девушке, которую держит при себе якобы в качестве ученицы: «„Clever girl, Williams. Don't let her fool you. Shouldn't make fun of her“. — The old man stared down at the drawing.— „Deserves better“. — Then: „Couldn't do without her, really“». «„Умная девчонка, Вильямс. Не давайте себя обдурить. Дразнить

не надо".— Старик посмотрел на рисунок.— „Достойна лучшего".— Потом: „Не могу без нее"». В русском языке эффект эллипсиса слабее, поскольку на лицо указывает форма глагола. В английском варианте заметнее наигранная грубоватость, желание поделиться и в то же время боязнь выдать свои чувства.

Итак, эллипсис позволяет выделить еще один дифференциальный признак — однозначность или неоднозначность восстановления. Однозначность восстановления при эллипсисе имеет следствием отсутствие приращения логико-предметной информации. Но информация второго рода возможна, поскольку имеется стилистическая (разговорная) маркированность, возможна эмфаза, возможны окказиональные стилистические функции при речевых характеристиках. Рамками в эллипсисе служит микроконтекст, но необязательно внутри одного предложения. Восстановление консеквента основано на синтагматических связях. Текстовой импликации и подтексту, как мы видели выше, свойственна вариативность, неоднозначность восстановления.

Продолжим сопоставление текстовой импликации с другими близкими явлениями. Сопоставим ее с явлением, привлекающим в последнее время внимание многих ученых и интенсивно разрабатываемому,— с пресуппозицией. Обзор разных точек зрения по этому вопросу в задачу статьи не входит [10, 11] — мы лишь повторим самое употребительное из определений. Пресуппозиция есть некоторое логическое условие истинности предложения. В таком понимании пресуппозиция тоже отвечает схеме А → Б. Развертывание на глубинном уровне не является при этом восполнением недостающего элемента, т. к. эта операция новой информации не дает, а связана с компонентным анализом и парадигматическими отношениями. Но оно небезразлично и для синтагматики, поскольку пресуппозиционные связи могут служить, как это подтверждено Дж. Личем, Дж. Лайонзом и другими английскими учеными, для связности текста.

Обратимся к примеру. Последняя песнь «Ада» в «Божественной комедии» Данте заканчивается словами: *E quindi uscimmo a riveder le stelle* «И здесь мы вышли вновь узреть светила». Одна из имеющихся здесь пресуппозиций состоит в том, что там, откуда они вышли (т. е. в аду), Вергилий и Данте видеть звезд не могли, а раньше они звезды видели. Контекстуальным указателем служит модель с префиксом *ri-* со значением «вновь», «опять», которое передано в переводе отдельным словом. Вторая пресуппозиция передана в русском переводе при помощи гиперонима «светила». Раскрытие пресуппозиции новой информации не дает. Пресуппозиция не рематична. Следует заметить, что большинство авторов как в нашей стране, так и за рубежом (Дж. Лич, Дж. Лайонз и др.) рассматривают пресуппозицию как связь гипо-гиперонимическую, чисто логическую и не содержащую эмоциональной, оценочной и т. п. информации. Действительно, вся сила эмоционального и эстетического воздействия этого стиха дана эксплицитно. И все-такие связь с подтекстом здесь есть. Мы знаем, что упоминанием о звездах заканчивается каждая часть «Божественной комедии», а это уже рассредоточенный повтор по типу сцепления — появление эквивалентных элементов в эквивалентных позициях, что создает подтекст, связанный с космогонической философской концепцией поэта.

Многие авторы отождествляют пресуппозицию с фоновым знанием. Но надо иметь в виду, что фоновые знания, нужные для понимания пресуппозиции, часто ограничиваются чисто языковой компетенцией. Каждый владеющий русским или, соответственно, французским или английским языком, знает, что *суп*, *soupe* или *soup* — это вид пищи. Знаменитая фраза из «Ученых женщин» Мольера: «Je vis de bonne soupe et non de beau langage» переводится на английский язык с учетом этой пресуппозиции: «It's good food and not fine words that keep me alive» и на русский: «Чтобы жить, мне нужна хорошая пища, а не красивые слова». Конкретность образа в переводе несколько страдает. Заметим попутно, что сопоставление переводов нередко оказывается полезным при анализе всех возможных способов подразумевания и что, с другой стороны, создание общей

теории импликации насущно необходимо для развития теории перевода. Знание теории импликации позволило бы, может быть, избежать таких ошибок, как сглаживание смысла при переводе. Например, переводя следующий мольеровский афоризм, английский переводчик не учел импликации и пресуппозиционной заменой снял образность и богатые коннотации, заменив слово *животное* его гиперонимом *создание*: франц. *L'homme est, je vous l'avoue, un méchant animal*; англ. *Man, I can assure you, is a nasty creature.*

В уже упомянутой работе В. В. Богданов развивает приведенное выше определение пресуппозиции как некоторого логического условия, которое должно быть соблюдено в предложении, чтобы между ним и другим предложением было установлено отношение следования. Связка А → Б, представленная обоими компонентами — антецедентом и консеквентом, оказывается средством связности текста. Далее В. В. Богданов приводит еще трактовку Д. Е. Купера, согласно которой выражение антецедента при этом необязательно.

Сравнение с пресуппозицией позволяет нам выделить следующий признак текстовой импликации, а именно — рематичность, которой в пресуппозиции нет.

Закончим нашу серию сопоставлений сравнением импликации с импликационалом. Выше уже говорилось о работе М. В. Никитина, который рассматривает импликационал тоже как связь А → Б. Семы, входящии в интенсионал основного значения слова, оказываются антецедентом для сем, входящих в интенсионал производного значения, т. е. имплицируют их. Импликационал порождается предметными связями обозначаемого. В качестве примеров М. В. Никитин в своей статье упоминает признаки трусливости зайца, хитрости лисы, благородства льва и орла. Последний дифференциальный признак текстовой импликации состоит, таким образом, в том, что импликация раскрывается в тексте, а импликационал есть понятие лексической семантики [5].

Проведенное сопоставление текстовой импликации с подтекстом, эллипсисом, пресуппозицией и импликационалом позволяет теперь дать развернутое ее определение, основанное на установленных выше дифференциальных признаках.

Текстовая импликация есть дополнительный подразумеваемый смысл, т. е. вид подразумевания, основанный на синтагматических связях соположенных элементов антецедента. Она может передавать не только предметно-логическую, но и субъективно-оценочную и эмоциональную информацию, ограничена рамками микроконтекста, что на композиционном уровне соответствует преимущественно эпизоду, восстанавливается вариативно, рематична, принадлежит конкретному тексту и постоянно сочетается с другими видами подразумевания, тоже выраженными связкой А → Б.

Задача состоит теперь в том, чтобы выявить механизм передачи имплицитных смыслов, установить те свойства антецедента, которые сигнализируют о наличии подразумеваемой части. Задача эта очень сложная и в рамках статьи можно только наметить некоторые возможные направления ее решения.

За последние десятилетия наметилось новое сближение внутри филологии между лингвистикой и поэтикой, социолингвистикой, психолингвистикой, семасиологией, лексикологией и синтаксисом, лексикологией и паралингвистикой, лингвостилистикой и теорией литературы и т. д. Одним из связующих звеньев в этом сближении оказалась теория образов, имеющая большое значение и для теории текстовой импликации. Функционирование образных средств отражения действительности имеет при создании импликации свою специфику.

Специфика образности в теории импликации состоит в том, что образ здесь оказывается не только средством повышения экспрессивности, эмоциональности и создания эстетического эффекта, но и выступает в качестве фактора интенсификации сотворчества читателя и средства компрессии информации. Исследовать образность с этой стороны насущно

необходимо для создания научно обоснованной теории интерпретации текста и стилистики декодирования.

Каждый читатель реконструирует предложенную автором модель мира несколько по-своему, в особом, его собственном варианте, синтезируя в этом варианте то, что находит в тексте, с тем, что имеет в собственном читательском и жизненном опыте. Содержащиеся в тексте образы, аллюзии и контрасты, выраженные эксплицитно, позволяют догадаться об опущенном и подразумеваемом.

В лингвистике более или менее установилось четырехкомпонентное членение образа на предмет сравнения, носитель образа, основание сравнения и слова, выражающие отношение сравнения. В одночленной метафоре, например, называется только носитель образа, а все остальные компоненты имплицируются. В других типах образности те или иные компоненты комбинируются по-разному, но главным для импликации является обычно основание сравнения. В следующем примере Джойс, например, сравнивает мыс с мордой спящего кита: предмет сравнения — мыс, носитель сравнения — морда кита, выразитель отношения сравнения союз *like*, основание сравнения только слегка намечено эпитетом *тупой* и воображение читателя дорисовывает остальное: «... the cape of Bray Head that lay on the water like the snout of a sleeping whale» (J. Joyce, Ulysses, I).

Поскольку образ как представление общего через единичное обладает способностью к компрессии, то импликация, создаваемая тропами, реализуется в небольшом по объему контексте: «The thing to be done swells in importance and complexity in a direct proportion with the time to spent» (N. Parkinson, Parkinson's law). В русском переводе читаем: «Дело тем важнее и сложнее, чем больше времени на него отпущено». В переводе импликация отрицательной оценки сильно побледнела, поскольку не сохранен глагол *swell* «пухнуть», несущий неприятные ассоциации с болезненными опухолями.

Малые размеры контекста могут быть также обусловлены афористичностью высказывания. В афоризмах роль ситуативного контекста сводится к нулю, а вербальный контекст очень важен, но невелик по объему.

Большое место среди образных импликаций принадлежит метонимиям от собственных имен, антономасиям. Большую ассоциативную нагрузку получают топонимы, например, названия улиц больших городов (*Невский проспект*, *Флит Стрит*, *Уолл Стрит*, *Елисейские Поля* и т. д.).

Импликации, основанные на метонимиях и на аллюзиях, имеют много общего. Аллюзией называется стилистический прием употребления какого-нибудь имени или названия, намекающего на известный литературный или историко-культурный факт. Так, например, фраза *When Greek meets Greek* встречается у многих англоязычных писателей. Это — несколько видоизмененная цитата из произведения Н. Ли. Здесь имеется в виду сопротивление, оказанное греческими государствами войскам Филиппа и Александра Македонских. Импликация состоит в том, что, когда встречаются две одинаково мощных армии или два одинаково сильных человека, борьба бывает очень жестокой. Особенности историко-филологического контекста рассматриваются во многих специальных работах.

Помимо этих двух случаев образности, предъявляющих к тезаурусу читателя (имеется в виду содержание его памяти) особые требования, существует множество других стилистических фигур и тропов, специфика импликации в которых зависит уже не от историко-филологических сведений, а от вербального контекста, который мы называем стилистическим. Стилистический контекст дает комбинаторные приращения смысла, о суггестивности которых писал Б. А. Ларин. Семантически реализуемое слово получает свое индивидуально-художественное значение (термин В. А. Кухаренко) в соединении с указательным максимумом, образуемым как соположенными, так и дистантными элементами, при взаимодействии разных уровней. Стилистический контекст характеризуется ярко выраженной неоднозначностью импликации, поскольку он позволяет одновременно реализовать два и больше значений слова и создать ему добавочные кон-

нотации. Например, в стихотворении У. Одена «Странник» *dreams of home* означает и то, что родной дом снится герою, и то, что он мечтает и тоскует о родине [12].

Давно известны такие случаи недоговоренности, как апозиопезис и асиндетон. В лексикологии и семасиологии имплицитность связана с окказиональными семантическими осложнениями слов и свободных и устойчивых словосочетаний. В последнее время большое внимание привлекают к себе проблемы парономазии — звукового сближения слов, независимого от их словообразовательной, этимологической или другой общности, приводящего к возникновению у них общих коннотаций и имплицирующего смысловую общность.

Большие возможности семантического варьирования, а следовательно, и импликации, представляют слова широкой семантики.

Импликации могут порождаться также грамматическими средствами. Особый интерес представляют импликации, связанные с видо-временными формами глагола. Они активно сочетаются с другими видами подразумевания. Одна из глав романа Фаулза «Маг» начинается так: «„What *happened* when you *got* home?" — „It *is* late".— „But ..." — „Tomorrow". «„Что случилось, когда Вы вернулись домой?" — „Уже поздно".— „Но ..." — „Завтра"». Соположение форм прошедшего и настоящего времени (*happened*, *got*, *is*) оказывается значимым: герой не хочет продолжать свой рассказ.

Теория импликации может способствовать комплексному общефилологическому подходу к проблеме, учету данных разных разделов филологической науки.

В другом романе того же Фаулза «Женщина французского лейтенанта» над Сэмом Ферроу, лакеем и большим снобом, посмеялась любимая девушка. Реакция Сэма на обиду дана в несобственно прямой речи: «Sam stiffened, „rose his highbrows" and turned his back».— «Сэм напыжился, „поднял брови", повернулся и ушел». Текстовая импликация оказывается очень богатой. Сэм старается подражать своему господину и реагировать так, как, по его мнению, должен реагировать джентельмен,— молча поднять брови и с достоинством удалиться. Однако описание паралингвистических средств, с помощью которых Сэм собирается поставить обидчицу на место, дано в его идиолекте. Импликация графически маркирована кавычками и употреблением графона: *rose his highbrows* вместо *raised his eyebrows*. Отклонение от литературной нормы и переход на норму кокни (ср. глагольную форму и типичное для кокни добавление звука *h* к словам, начинающимся на гласный в общелитературном языке) имплицирует плебейский снобизм этого персонажа и вызывает у читателя ироническое отношение к нему, которое в дальнейшем развитии сюжета оказывается вполне оправданным. Филолог вспомнит о литературном прототипе этого Сэма — весёлом и остроумном лакее мистера Пиквика — Сэме Уэллере и, возможно, обратит внимание на атономазию (англ. *farrow* значит «молодая свинья»), а это заставит задуматься над эволюцией этого типажа под пером Фаулза. Так короткий эпизод оказывается фокусом, в котором при толковании должны сойтись данные различных отраслей филологии.

В рамках статьи невозможно перечислить все возможности маркировки текстовой импликации, да и изучены они пока недостаточно. Отметим в заключение, что в любом тексте наблюдаются две противоположно направленные, но взаимодействующие тенденции. Это — тенденция к усилению эксплицитности, например, к повтору, облегчающему понимание и запоминание, и тенденция к имплицитности, суггестивности, компрессии информации, которая также может увеличивать экспрессивность, эмоциональность и эстетическое воздействие.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Чахоян Л. И.* Синтаксис диалогической речи современного английского языка. М., 1979.
2. *Богданов В. В.* Семантико-синтаксическая организация предложения. Л., 1977.
3. *Бондарко А. В.* Грамматическое значение и смысл. Л., 1978.

4. *Ларин Б. А.* Эстетика слова и язык писателя.— В кн.: *Ларин Б. А.* Избранные статьи. Л., 1974.
5. *Никитин М. В.* О семантике метафоры.— ВЯ, 1979, № 1.
6. *Кухаренко В. А.* Интерпретация текста. Л., 1979.
7. *Мостовская И. Ю.* Существует ли подтекст в лирическом стихотворении?— В кн.: Интерпретация художественного текста в языковом вузе. Л., 1981.
8. *Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Swartvik J.* A grammar of contemporary English. London, 1974.
9. *Nošek J.* Truncated utterances in modern colloquial English.— Prague studies of English, 1971.
10. *Колшанский Г. В.* Контекстная семантика. М., 1980, с. 77.
11. *Кифер Ф.* О пресуппозициях.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. М., 1978.
12. *Арнольд И. В., Кикоть М. И.* Из наблюдений над лексикой стихотворения У. Одена «Странник».— В кн.: Язык и стиль художественного текста. Л., 1977.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1982

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ДЕГТЯРЕВ В. И.

СОБИРАТЕЛЬНОСТЬ И КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА В ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Отношение имен собирательных к грамматической категории числа не было предметом сравнительно-исторического изучения на материале славянских языков. Однако это актуальная тема сравнительной грамматики. Происхождение имен собирательных связано с формированием и развитием языковых средств выражения количественности, и поэтому природа и сущность категории собирательности, равно как и грамматической категории числа, могут быть поняты только в системе тех отношений и связей, которыми собирательные формы исконно включаются в в широкую сферу функционирования лексико-грамматической категории квантитативности, в историческом взаимодействии собирательности и числа. Следовательно, решение указанной проблемы важно, с одной стороны, для определения функций категории собирательности, а с другой — для выявления языковой специфики категории числа на разных этапах развития грамматического строя в связи с абстрагирующей деятельностью мышления.

Имя собирательное может выражать в определенном контексте известное, количественно определенное, конкретное множество, состоящее из сосчитанного ряда предметов. Причем и в этом случае оно выполняет обычную, свойственную именам собирательным функцию номинации множества как целого. Свидетельством этого в древнеславянской письменности старшей поры является то, что имена собирательные, функционировавшие как лексические средства выражения множественности, употреблялись на месте грамматических форм мн. и даже дв. ч. Так, в в древнерусской письменности XI—XIV вв. собир. ед. ч. *братья* замещает не только отсутствующую в им. п. форму мн. ч. **брати*, но иногда также и форму дв. ч. *брата*, которая, однако, реально существовала; напр.: *и рѣста еи братьꙗ*. Пов. вр. лет, Лавр. сп., л. 38 (характерно нарушение согласования глагола *рѣста* (дв. ч.) и собир. ед. ч. *братья*). Ср. также: *а ныне братьꙗ. поидѣта по мнѣ*. Лавр. лет., 1147 г., л. 105об; *а братью свою Игорѧ*. и *Стослава затвори в Рѧзани*, там же, 1180 г., л. 131; *Игоревїча · В · братꙗ ѥго*, там же, 1207 г., л. 146; *ѡцѧ Ѳеѡдорова и братию. Иѡсифа и Ефимиꙗ*. Выголекс. сб., л. 43, 6—7. Ср. еще собир. *шурья* в аналогичной позиции — вместо формы дв. ч.: *и шурьи своеи Ивану и Василью*. Дух. Ост. ок. 1396 г. (Срезневский, III, стлб. 1601).

Употребляясь в номинативной функции, имена собирательные, как следует из примеров, обозначают совокупности лиц как тип множества — именованно-качественно, а количественность проявляется ситуативно, в определенном контексте. Следовательно, имена собирательные представляют лексический, неформализованный способ выражения множественности, соответствующий конкретному осмыслению количественных отношений.

В древнейшем состоянии языка и мышления имена собирательные — это дограмматические имена множественные, функционировавшие в качестве лексического средства выражения мн. ч. Происхождение собирательности относится к дофлективному состоянию праязыка-основы. Как

способ выражения множественности категория собирательности предшествовала парадигматическому противопоставлению форм ед. и мн. ч. и исторически оказывала активное влияние на формирование грамматической категории числа.

Развитие количественных представлений шло от синкретичной конкретно-собирательной множественности к аналитической, отвлеченной от конкретных материальных форм, абстрактно-количественной множественности. Этимологический анализ словообразовательных типов имен собирательных в славянских языках, сближение с древнегреческими, древнеиндийскими, латинскими и другими соответствиями позволяют установить, что функции выражения собирательности в отдаленном прошлом и.-е. языков предшествовали более общие и широкие словообразовательные значения у всех праславянских суффиксов имен собирательных. В целом им свойствен функциональный синкретизм — нерасчлененность значений собирательности и качественности, отношения или происхождения, локальности и т. п. конкретных значений. Это связано с особенностями формирования собирательных понятий и шире — развития количественных представлений вообще в сложном историческом процессе взаимодействия языка и мышления.

Лексическая номинация предметов предшествовала процессу обособления, абстрагирования реляционно-грамматических значений от лексических и формированию грамматического строя. Однако непосредственно реконструируемое праиндоевропейское языковое состояние характеризовалось высоким развитием грамматической техники и, в частности, наличием флексии как универсального средства выражения грамматических значений. Праиндоевропейский язык-основа имел четко выраженные черты грамматики флективно-синтетического строя. Поэтому в исторических фактах древних и.-е. языков, в том числе и в славянских, можно ожидать отражения лишь некоторых реликтов древнейшего состояния, характеризующего роль имен собирательных в выражении первоначальных количественных представлений. Предполагается, что строй праиндоевропейского языка на древнейшем этапе его развития характеризовался отсутствием грамматической категории числа, в частности грамматических форм множественности. Количественные отношения в этот период могли выражаться лексическими и словообразовательными средствами — основами и суффиксами, а способом выражения конкретно, определенно мыслимой множественности служили имена собирательные. Это предположение опирается главным образом на типологические исследования, подтверждаемые некоторыми данными сравнительной грамматики и.-е. языков [1, 2].

Историко-типологические данные свидетельствуют, что грамматической категории числа, которая представлена в древних и.-е. языках парадигмами ед. и мн. ч., генетически должно было предшествовать такое состояние, когда единая, абсолютная форма слова выражала общее числовое значение, т. е. совмещала единичность и множественность. Естественно, что множественность, выраженная лексически, имела собирательный характер. Сравнительно-исторический анализ фактов древних славянских языков подтверждает эту гипотезу. Обратимся к фактам. Слав. мн. ч. *людие* (<**lēud(h)eies*) образовано от ед. ч. **l'udь*. Это слово не сохранилось в письменности, однако оно имеет прямые соответствия в балтийских и германских языках (ср. литов. ед. ч. *liáudis* «народ, люди», лтш. мн. ч. *ļaudis* «то же», др.-в.-нем. *liuti*, ср.-в.-нем. *liute*, заменившее ед. ч. *liut*) и надежно реконструируется в праформе **lēud(h)is*. Славяно-балто-германская основа **lēud-*, как можно судить на основе гот. *liudan* «расти», первоначально значила «народившиеся, растущие». По-видимому, в старший праславянский период слово **lēudis* совмещало два значения — собирательно-множественное «люди» и единичное «человек», различавшиеся ситуативно. На единичное значение ясно указывает соответствие в прусском: *ludis* «человек», на собирательное — литов. *liáudis* «народ». Последующее развитие грамматической категории числа и образование корреляций форм ед. и мн. ч. изменило первоначальный

способ представления количественных отношений и их выражение в языке. Категория числа получила формально-грамматический характер универсальной морфологической категории. В связи с этим форма *l'udь, как неоднозначная, была вытеснена производной от нее формой мн. ч. *людие*, а в значении единичности образована сингулятивная форма *людинъ*. Эти формы соотносились как словообразовательные: первая — собирательная мн. ч. (диагностическим признаком собирательного значения является сочетаемость с собирательной формой числительных: ст.-слав. *дъвои людие* Клоц. 13 б. 5; др.-русск. *двои люди*, ст.-русск. *девятеро людеи*, слав.-серб. *двое люди*, ст.-чеш. *osmero lidi*, ст.-польск. *ośmioro ludźi*, *dwoje ludźi* и т. п.), а вторая — единичная. Такое соотношение проявляет архаические черты словообразовательного характера категории числа в древних славянских языках старшей письменной поры. Дальнейшая формализация грамматической категории числа вместе с абстрагированием количественных представлений привела к ослаблению собирательного оттенка значения множественности у форм мн. ч. *людие*, а вместе с тем и к утрате сингулятива *людинъ* [1].

Мн. ч. *дѣти*, также выражавшее собирательное значение множественности (ср. др.-русск. *двою дѣти*, *с троимь дѣтеи*, ст.-чеш. *dvoje dětí*, ст.-польск. *ośmioro dzieci* и т. п.), образовано от ед. ч. *dětь. Собир. ед. ч. *дѣть* широко отражено в древнесербской письменности, особенно в грамотах; ср. также диал. серб.-хорв. *dìjet*. Эта же основа сохранилась в современных южнославянских языках: серб.-хорв. *дѐца*, словен. *dẹ̑ca*, болг. *деца*, макед. *деца* (из уменьш.-ласкат. собир. ед. ч. *дѣтьца*). Праслав. *dětь (<*dhoi̯-t-is или *dhei̯-t-is «питаемое, вскармливаемое», «сосущее», ср. слав. *доити*, *дои* «вскармливать грудью»), по-видимому, имело значение общего числа. Ср., с одной стороны, южн.-слав. собир. *dětь «дети», а с другой — чехо-моравск. диал *dět'*, м. р. «дитя», др.-русск. уменьш. *дѣтьць*, образованное от основы *дѣть*, которая, как следует из этого словообразовательного отношения, предполагает значение единичности. Утрата значения общего числа вследствие перехода от качественного к абстрактно-количественному осмыслению множества вызвала расчлененное выражение значений ед. и мн. ч. Поэтому уже в праславянский период было образовано грамматически правильное мн. ч. *děti* и ед. ч. *dětę* (по типу основ на -*ęt-).

Имена существительные с общим значением числа образуются от вербальных или адъективных основ, выражающих обобщающие понятия. Слав. *tьstь, как полагает О. Н. Трубачев, имело первоначально собирательное значение «родившие» и образовано от индоевропейского глагольного корня *tek̂ «рождать» [3]. Но наряду с этим оно, очевидно, могло выражать и единичность. Этим объясняется то, что слово *tьstь относилось к лицам как мужского, так и женского пола, т. е. имело обобщающий смысл, ср. др.-русск. *тьсть* и ст.-польск. *teść* «теща».

Др.-русск. *братучадь*, ст.-серб. *братучедь*, болг. *братовчед* «сын брата, двоюродный брат по отцу» наряду с ст.-чеш. *čad* «мальчик, ребенок брата» могут свидетельствовать, что слав. *чѧдь* (с индоевропейской основой *kon-/*ken-, выражавшей идею начала, начинания) исконно имело не только собирательное значение, в котором оно хорошо известно в древних славянских языках (ст.-слав. и др.-русск. *чѧдь*, ст.-серб. *чедь*), но и единичное.

По-видимому, общее значение числа выражало слав. *говѧдо* «крупный рогатый скот» (корова, бык, вол). На первоначальное собирательное значение указывает литов. разг. *gȯvėda* «сброд», «толпа», «стая».

Слав. *господа* имело сначала ряд связанных между собой значений. Одни из них представляют денотат в количественном отношении, а другие — в предметно-качественном: ст.-слав. *господа* πανδοχίον Сав. кн., Лк., X. 56 «кров, приют, гостиница, постоялый двор», ст.-польск. *gospoda*

[1] В говорах сингулятив *людин* сохранился как архаизм. Вполне возможно, что формы единичности могут быть законсервированы и в литературном языке или общенародном употреблении, но это не нарушает основной тенденции развития категории количества в мышлении и в языке.

«кров, дом, подворье, постоялый двор», ст.-чеш. *hospoda* «хозяйский дом, приют, кров, корчма, гостиница» и др. Вместе с тем ст.-чеш. *hospoda*, по данным старших письменных памятников, означало лицо мужского или женского пола — пана, хозяина, покровителя и госпожу. Впрочем, специально значение лица женского пола в древних славянских языках выражается производной формой **gospod-ja*. Но эта форма, как и сингулятив *господинъ*, образована позже. Др.-русск. *господа*, ст.-серб. *господа*, словен. *gȏsposda* имеют обобщающе-собирательное значение «господа, баре». В славяно-русских источниках отмечены и иные значения слова: «господство, власть», «гостеприимство», «жилище, дом, хозяйство» (Срезневский, I, стлб. 563). Очевидно, что сначала семантика слова *господа* характеризовалась нерасчлененностью, синкретизмом понятий «гостеприимство», «кров, приют» и «хозяева (хозяин и хозяйка дома), оказавшие приют, покровительство гостям, путникам». Это соответствует первоначальной конкретности и нерасчлененности количественных и качественных, в данном случае — предметно-локальных представлений.

Др.-русск. *дружина* в старших текстах отмечено не только в собирательном значении «товарищи, соратники, спутники», «община», «военная дружина князя», но и в единичном —«товарищ, спутник, дружинник», допускавшем форму мн. ч.: *поиду в Русь приведу боле дружинъ*. Пов. вр. лет, Лавр. сп., л. 22; *имѣи подъ собою дроужинъ ·л· с ними же разбои творяше*. Прол. XIII в. (Срезневский, I, стлб. 731) и т. п. На архаический характер значения, в котором слово *дружина* образует формы мн. ч., указывает то, что в более поздних списках и вариантах летописи оно последовательно вытесняется собирательным ед. ч. Только в собирательном значении отмечены ст.-серб. *дружина*, ст.-чеш. *družina* и др. Наконец, можно также предположить, что до образования специальной формы единичности на *-инъ* общую идею числа выражали древнейшие славянские этнонимы на *-а* и *-ь (<*-ĭ-*) — названия финно-угорских, балтийских, славянских и многих иных племен и народов, хорошо сохранившиеся в древнерусском, но малочисленные в старочешском и в старопольском языках, например, тип на *-а*: др.-русск. *волъхва*, *ерева* (чудь), *зимѣгола*, *ижера*, *корѣла*, *литва*, *лотыгола*, *очела* (чудь), *печера* и др., польск. *wołosza*, чеш. диал. *uhra*, в.-луж. мн. ч. *češa* и т. п.; тип на *-ь: др.-русск. *весь*, *водь*, *голядь*, *донь*, *емь*, *жемоить*, *жмудь*, польск. *żmudź*, чеш. *žmud'*, др.-чеш. *sasь* и др.

Уже в праславянский период для обозначения единичного лица, выделенного из этнической совокупности, стали использоваться вторичные сингулятивные формы, образовавшие соотношения типа *русь — русинъ*, *литва — литвинъ*, *угра — угринъ*, *сась — сасинъ* и т. п., но они более позднего происхождения, причем и в письменный период далеко не все этнонимы имели соответствующие формы единичности.

Таким образом, есть основания предположить, что словообразовательному отношению единичность — собирательность генетически предшествовало общее число, совмещавшее в единой форме выражения два значения — собирательную множественность и единичность.

Какие-то следы общего числового значения могут быть замечены и в других древних индоевропейских языках. Д. Н. Кудрявский, характеризуя значения форм ед. ч. в древнегреческом, отмечал: «Единственное число обыкновенно обозначает что-либо как единицу, причем эта единица сама может быть и собирательной, напр. ὁ Πέρσης может значить не только „(один) перс“, но и в собирательном смысле „перс, персы“» [4]. Очевидно, то же архаическое явление отражают староалбанские имена существительные ж. р. с формантом *-ë* (<и.-е. **-ā*), выражающие в общей форме единичность и множественность; например: *bletë* «пчелиный рой» и «пчела», *fëmijë* (лат. *fāmilia*) «семья» и «домочадец; ребенок», *fjalë* (лат. *fābella*) «слово» и «речь» и т. п. [5].

Следует, однако, заметить, что применительно к праславянскому, да и к общеиндоевропейскому языковому состоянию, как оно реконструируется на основании действительных фактов, можно говорить скорее о следах значения, чем формы общего числа, поскольку праславянский

язык-основа характеризовался развитой флексией, тогда как формы общего числа отличают главным образом нефлективный строй языка. Оппозиция флективно выраженных грамматических значений ед. и мн. ч. является эквиполентной. Напротив, значение общего числа противопоставлено специализированному значению мн. ч. как слабый, немаркированный член привативной оппозиции. Значение единичности или множественности существительного получает грамматическое выражение в структуре предложения путем согласования сказуемого: общая форма обладает сочетаемостью обоих чисел [6, с. 67].

Поскольку различие типов оппозиций связано с морфологией слова, формальной организацией предложения и характеризует строй языка, естественно широкое распространение категории общего числа как типологической черты в многочисленных современных языках мира, особенно в языках корневого и агглютинативного типов [см. 7, 6, 8]. Вместе с тем, по данным историко-типологических исследований, общее число, не обязательно равноценное современному, представляет одну из древнейших ступеней формирования и развития языковой функционально-семантической категории квантитативности в едином языкотворческом процессе. В исторической последовательности движения языковых форм, иллюстрируемой примерами типа **l'udь* «человек», «люди» → мн. ч. *людие* — единичн. *людинъ* → совр. русск. мн. ч. *люди* — ед. ч. *человек* или **dětь* «дети», «дитя» → мн. ч. *dѣти* — ед. ч. *дѣтѧ*, можно видеть эволюционный переход от первоначального лексического способа выражения значений к словообразовательному с перспективой развития от словообразования к формообразованию, а значит, и словоизменению.

Система категории числа, реконструируемая на основе исторических данных по крайней мере для ближайшего праславянского состояния, унаследованного древними славянскими языками и отраженного в старших памятниках письменности, имела совершенно иной, в главном — современный характер универсальной грамматической категории, связанной с флективным способом выражения значений. Систему праславянской категории числа образуют флектированные парадигмы форм ед., мн. и дв. ч. Семантическую основу этих противопоставлений составляют абстрагированные количественные значения единичности, множественности и двойственности. Основным средством выражения множественности служили грамматические формы мн. ч. Но наряду с ними в той же функции выступали и имена собирательные как лексические или словообразовательные средства выражения множеств. Естественно при этом, что и сама множественность имела не унифицированный абстрактно-количественный, а более конкретный, качественный характер, иначе говоря, в этих формах не были утрачены признаки лексичности и соответствующие этому семантические оттенки, которые ослабевают или окончательно исчезают в грамматических формах мн. ч. Об однородности указанных функций форм мн. ч. и древнейших типов имен собирательных свидетельствует соотносительность обоих типов выражения множественности с одними и теми же формами ед. ч., например: собир. *камениѥ* и мн. ч. им. п. *камене* коррелятивны форме ед. ч. *камы* (*камень*), причем форма им. п. мн. ч. почти совсем не известна в письменности, а ее место последовательно занимает собир. ед. ч. *камениѥ*. Функционирование имен собирательных на месте форм мн. ч. в старшие эпохи развития славянских языков свидетельствует о том, что понятие множественности еще не утратило известных черт конкретности и качественности.

Именованно-качественный характер представления множества обнаруживают древнейшие славянские этнонимы. В древних славянских языках этнические понятия, совмещавшие идею «страна, земля» и «народ, племя», выражались именами существительными ед. и мн. ч., грамматически не коррелятивными и тождественными по характеру предметно-логического содержания. Формы мн., как и формы ед. числа, имели собирательное значение. На это указывает одинаковая корреляция тех и и других с общими формами единичности; ср., с одной стороны, ед. ч.. *русь — русинъ, чюдь — чюдинъ, литва — литвинъ* и, с другой — мн. ч.

грьци — грьчинъ, нѣмци — нѣмчинъ, угре — угринъ, словѣне — словѣнинъ и т. п. Причем в древнерусском языке некоторые этнонимы имеют вариантные формы ед. и мн. ч., соотносительные с общей формой сингулятива: ед. ч. *прусь* и мн. ч. *пруси* — единичн. *прусинъ*, ед. ч. *русь* и мн. ч. *руси* (более редкое) — единичн. *русинъ*, ед. ч. *черемись* и мн. ч. *черемиси* — единичн. *черемисинъ* и т. п.

Исторически выбор формы ед. или мн. ч. для выражения собирательных значений определяется системой языка, наличными структурно-грамматическими средствами, их функциональным соотношением, внутренними тенденциями развития категории собирательности в единстве и во взаимодействии с грамматической категорией числа, развитием грамматического строя в целом. Праславянский язык унаследовал из общеиндоевропейского состояния флективно-синтетический строй, и флексия, оформлявшая слова и связи слов в предложении, выполняла вместе с тем функцию выражения грамматических значений. Следовательно, формирование славянских типов собирательности происходило на базе слова, оформленного в числе. Поэтому в одних случаях собирательное значение опирается на форматив мн. ч., как, например, в выражении этнических понятий, а в других — на формы ед. ч. Различия в формах выражения имеют в большей мере структурный, чем реально-смысловой источник. Однако нельзя не считаться и с определенным влиянием семантики, характера предметно-логического содержания на выбор числовой формы выражения. Собирательные существительные мн. ч. в древних и.-е. языках, включая и славянские, были актуальны в выражении лично-собирательных множеств, так как они сообщают совокупности известный оттенок расчлененности, подчеркивающей самостоятельность и индивидуальную значимость каждого лица, включенного в совокупность. Формы мн. ч. определенно указывают на множество предметов в совокупности. Однако развитие типов собирательности ед. ч. исторически привело к снижению роли формативов множественности в выражении собирательных понятий, а направленный процесс абстрагирования количественных представлений вызвал обобщение и формализацию значений форм мн. ч. в общем и отвлеченном значении множественности. Но еще в старший письменный период развития славянских языков, как отмечено, имена собирательные, оформленные в ед. ч., сохраняли древнейшую функцию лексико-грамматического средства выражения мн. ч. С этой функцией связано характернейшее дистрибутивное свойство имен собирательных — сочетаемость с собирательными числительными в счетно-количественных значениях, например: ст.-слав. *десѧтеро братиѩ*, слав.-русск. *четверо братия* (из *братиѩ*) и т. п. Собир. ж. р. ед. ч. *братиѩ* или *братриѩ* в им. п. полностью замещало предполагаемую форму мн. ч. **брати* (**братри*), которая в письменности не отмечена и, как убеждают сочетания с простыми количественными числительными типа др.-русск. *три братия* τρεῖς ἀδελφοί Син. пат., л. 9об 11, вообще не существовала, поскольку в подобных сочетаниях употреблялись только простые формы мн. ч. Сочетаемость с количественными числительными в счетных значениях ясно указывает на расчлененное представление совокупного множества, что соответствует функции формы мн. ч. Ту же функцию форм мн. ч. в им. п., по данным древней письменности, выполняли др.-серб. *брат'а* (>*бра̏ћа*), др.-чеш. *bratřie*, ст.-польск. *bracią*, др.-русск. *братья, зятья, кънязья, шурья*, др.-чеш. *kněžie*, ст.-польск. *księża* и др. В польском языке еще в XVI в. собир. ед. ч. *bracia* в им. п. возглавляло две парадигмы — собирательную парадигму ед. ч. и парадигму простых форм мн. ч. от слова *brat* как общая форма выражения множественности. Это отражает общеславянскую черту.

Имена собирательные ед. ч. ср. р. на *-ие*, выражавшие совокупности неодушевленных предметов, тоже функционировали как словообразовательные средства мн. ч. В этой функции они наиболее частотны и вообще типичны для славянской письменности. Наряду с ними возможны были и обычные грамматические формы мн. ч., но их употребление было регламентировано определенными условиями. Общую идею множественности выражали имена собирательные, а простые формы мн. ч. применялись

в значении количественно определенного, конкретного, известного множества. Поэтому в письменности формы мн. ч. регулярны лишь в сочетаниях с числительными. Так, наряду с обычным собир. *стъблиѥ* в среднеболгарском Григоровичевом паремейнике отмечено мн. ч.: *·Ѻ·стеблеи финиковѣхъ*, л. 17.9. Это правило подтверждается фактами древнерусской письменности. В Успенском сборнике XII—XIII вв. собир. *камениѥ* отмечено 31 раз, а форма мн. ч. (только в сочетании с числительным) — 2 раза; например: *трьми камени*, 113 а. 30—32; *три камени чьстьны*, 229 б. 25—26.

Употребление простых форм мн. ч. наряду с именами собирательными определялось и некоторыми другими семантико-синтаксическими условиями. В том же источнике 4 раза отмечено собир. *вѣиѥ* и 1 раз форма мн. ч.— в значении распределительной (дистрибутивной) множественности: *пришедъше же братиꙗ съ вѣꙗми масличьныими и пѣсньми*, 117б. 6—8. Ср. также мн. ч. в метафорическом смысле: *Ѥдиного бо дрѣва вѣтви ѥстѥ*. Панд. Ант. XI в. (Амф.) (Срезневский, I, стбл. 496).

Таким образом, как показывают факты старославянской и древнерусской письменности, подтверждаемые также старочешским, старопольским и древнесербским материалом, простые формы мн. ч., употребляемые наряду с именами собирательными ед. ч., несут обычно особую функционально-смысловую нагрузку, подчеркивая раздельность, конкретность, определенность множества предметов. Синтаксически связанные формы мн. ч. имеют дистрибутивное значение. Это отличает функционирование грамматических форм мн. ч. в древнем строе языка от современного: функцию форм мн. ч. в древних славянских языках несли имена собирательные.

Отмеченная функция древнейших типов имен собирательных имеет не только общеславянский, но и индоевропейский характер. Более того, она составляет общеязыковую историческую универсалию, отличающую грамматические системы древних языков как свидетельство того, что числу исконно (на ранних этапах формализации) были свойственны черты словообразовательной категории и что в силу его очевидной предметно-логической мотивированности и конкретности, активной связи с лексикой оно не достигло современного уровня грамматического абстрагирования. Имена собирательные являются неформализованными, словообразовательными, лексико-грамматическими средствами выражения мн. ч. С другой стороны, это указывает на собирательный характер первоначального осмысления множеств. Следует, однако, заметить, что для архаического мышления исконным является различение двух типов множественности — собирательной и разделительной. Отношение имен собирательных к грамматической категории числа, целиком определяемое их древнейшими функциями и значениями, своеобразно проявляется в том, что имена собирательные, в частности собирательные ср. р. на *-ие*, в древних славянских языках могли образовывать грамматические формы мн. ч., отнесенные к общему с формами ед. ч. денотативному ряду, например: слав.-русск. *камениѥ* — мн. ч. *камениꙗ*, *листвиѥ* — мн. ч. *листвиꙗ*, *корениѥ* — мн. ч. *корениꙗ*, *трупиѥ* — мн. ч. *трупиꙗ* и т. п. Эта особенность принципиально отличает древнее состояние категории собирательности от современного. Употребление форм мн. ч. от имен собирательных на *-ие* в старший письменный период наиболее характерно для церковнославянского, сугубо книжного типа древнерусского, среднеболгарского и древнесербского языков. В старославянской письменности подобные факты единичны. Формы мн. ч. имен собирательных, как верно определила Ю. С. Азарх [9], обозначают расчлененное представление совокупного множества предметов. Следовательно, вместе с функцией форм мн. ч. и в соответствии с нею имена собирательные усвоили и оба исконных значения множественности — собирательное и раздельное. Общее качественное или номинативно-множественное значение выражается именем собирательным ед. ч. Но поскольку имя собирательное служит вместе с тем и формой выражения множественности, замещая простую форму, от нее образуются грамматические формы мн. ч. в значении расчлененности,

дифференцированности, определенности множества. Ср. две фразы из Синайского патерика: 1) *изидохъ из вьр'тъпа въ знои ї камению раждизающю идохъ къ неи*, л. 11. 17—19; 2) *тъ же Авъва Агиодѫлъ. прѣходѧ блата иер'даньскаꙗ. въ мысли помышлаꙗ оубо быша камениꙗ въврьжена Їсусомь Навьгиномь*, л. 8об 1—4. В первой — собир. *камениѥ* обозначает массу камней, каменистую почву (множество мыслится недифференцированно). Во второй — речь идет об известных сакральных предметах — о 12 камнях, брошенных в болота Иисусом. О них как символах невозможно было бы сказать в обезличенной форме ед. ч. ср. р., так как это вполне конкретное, известное множество. Форма мн. ч. подчеркивает количественную определенность, индивидуальную значимость предметов.

Древнейшим и исконным значением форм мн. ч. является идея определенности, конкретности множества небольшой мощности, которое составляют известные предметы. Таким образом, в старший письменный период сложился параллелизм в употреблении форм мн. ч. от имен собирательных и простых грамматических форм мн. ч., аналогичных по значению множественности и равно противопоставленных именам собирательным (соотношение типа собир. *трупие* // мн. ч. *трупья* и *трупи*. По мере абстрагирования количественных представлений формы мн. ч. имен собирательных становятся равноценными простым формам мн. ч. Исторически это ведет к сложному взаимодействию, интеграции и дифференциации форм в процессе образования числовых парадигм, в котором важную роль играли исторические трансформации имен собирательных в формы мн. ч. Но прежде чем обратиться к этому процессу, заметим, что не все типы имен собирательных допускали образование форм мн. ч. Так, в старших славянских текстах не удается обнаружить формы мн. ч. от лично-собирательных имен ж. р. на *-шꙗ* типа *братшꙗ*. Они практически не употреблялись. И это объясняется не только тем, что имена собирательные данного типа функционировали как формы выражения мн. ч. Причина — в характере значения: совокупные множества лиц, в отличие от неодушевленных предметов, мыслились расчлененно, дифференцированно, как состоящие из отдельных, самостоятельно значимых индивидуальностей. С этим связано согласование глагола-сказуемого с именами собирательными, обозначающими совокупности лиц, во мн. ч. Напротив, предметные имена собирательные принимали сказуемое только в ед. ч. В таком различии несомненно проявляется определенное отношение говорящих к лицу как к активному субъекту, деятелю и к предмету как объекту воздействия. Поэтому только личные имена собирательные ед. или мн. ч. образуют сингулятивы на *-инъ* типа *людие — людинъ*, *господа — господинъ*, *шурия — шуринъ*, *сѣмия — сѣминъ* и т. п. Это составляет отличительную особенность лично-собирательных имен существительных. В структурно выраженном различении личных и предметных множеств заложен определенный практический смысл: языковые формы выступают здесь как проявления действительного практического сознания, общественного опыта. Показательно, что в различных номинальных классификациях действительности актуальным является противопоставление активных и пассивных предметов, личного и вещного классов.

Противопоставление единичность — собирательность, выраженное самостоятельно, коррелятивными словообразовательными формами, следует рассматривать как начальный этап в развитии морфологизованной категории числа, как ступеньку к последующему оформлению парадигм форм ед. и мн. ч. Словообразовательная форма единичности сложилась тогда, когда распалось общее число и в плане выражения были обособлены значения собирательности и единичности. На следующем этапе развития категории числа функция множественности реализуется в парадигматической трансформации имен собирательных в грамматические формы мн. ч. Этот процесс связан с абстрагированием количественных представлений, формированием словоизменительной категории числа и обусловлен функционированием имен собирательных как форм мн. ч. Логико-семантическим механизмом преобразования собирательного значения в отвлеченно-множественное является абстрагирование количественных понятий,

переход от именованно-качественного представления множества к абстрактно-количественному, от конкретной, собирательной к количественной, абстрагированной множественности. Абстрагирование количественных представлений ведет к тому, что в языковом выражении количественные значения ориентируются не на имена собирательные, а на грамматические формы мн. ч., более строгие по своему содержанию, свободные от побочных смысловых оттенков и значений множественности. Это является следствием размежевания функций имен собирательных и форм мн. ч., когда функция выражения множественности закрепляется за формами мн. ч. как более рациональными средствами языка.

Вытеснение имен собирательных формами мн. ч. свидетельствует об организующей и упорядочивающей роли грамматики: не словообразовательный суффикс, а флексия как более компактный, универсальный способ языкового выражения принимает на себя роль показателя мн. ч. В результате этого сложились новые формативы множественности, изменились соотношение и связи форм в системе категории числа, ее характер и структура.

В истории и.-е. языков именам собирательным принадлежала активная роль в развитии формообразующих средств множественности. Так, и.-е. формы им.-вин. п. имен ср. р. мн. ч. на *-а* восходят, как известно [10], к именам собирательным, функционировавшим в качестве форм выражения мн. ч. Именно функция множественности на новом уровне абстрагирования и развития грамматического строя стимулировала историческую трансформацию имен собирательных в формы мн. ч. Грамматизация имен собирательных — это разрешение первоначального противоречия между формой выражения ед. ч. и значением множественного, в результате которого формы выражения были приведены в соответствие с содержанием и функцией имен собирательных. Поэтому в им. п. в формы мн. ч. преобразовались только те имена собирательные, которые исконно выполняли указанную функцию. Преобразование славянского типа имен собирательных на *-ия* (<*-ĭi̯ā) в формы мн. ч. дало в современных славянских языках ряд новых формативов им. п. мн. ч. м. р.: русск. *-ья*, болг. *-я*, чеш. *-í*, польск. *-ia*, словацк. *-ia*, луж. *-'a*. В косвенных падежах произошло выравнивание парадигмы путем флектирования основы имени собирательного во мн. ч. В истории болгарского языка, утратившего падежное склонение, собир. *деца* получило синтагматические признаки формы мн. ч.— сочетаемость с количественными числительными и согласование во мн. ч.: *майка на три деца*, *децата играят* и т. п. Болг. *хора*, заимствованное из греческого в значении «страна, земля», в ранний новоболгарский период развило собир. значение «народ» и в XVI—XVII вв. на основе функции множественности преобразовалось в форму мн. ч. «люди». В истории русского языка собир. *господа*, по данным письменности, к началу XVI в. также перешло в форму мн. ч.

Формирование словоизменительной грамматической парадигмы мн. ч. в истории славянских языков вызвало преобразование типа ср. р. на *-ие*, связанное с той же функцией. В истории русского языка особенность этого процесса состояла в том, что отмеченные уже в древнейших славянских текстах формы мн. ч. от имен собирательных на *-ие* оказались исторически перспективными в выражении абстрагированной, логической множественности, сменившей прежнее значение расчлененности. В результате в русском языке утвердились формы мн. ч. типа *деревья*, *листья*, *коренья* и т. п. В истории болгарского языка имена собирательные на *-е* типа *върше*, *лѝсте*, *снѐпе*, *клѐне*, исконно функционировавшие как формы мн. ч., закрепились в народной, диалектной речи, но не продуктивны в литературном языке. Причем в одних говорах они сохраняют согласование формы ед. ч., но в других, в частности, в северо-западных, мизийских и рупских говорах они имеют признаки форм мн. ч.: *остри върше*, *дъбови листе*. Образованные от имен собирательных ср. р. формы мн. ч. типа *листя*, *дървя* и т. п. также имеют в основном диалектный характер. Македонские имена собирательные на *-'е* типа *ливаѓе*, *планине*, *нивје*, *снопје*, *лисје* «листья», *борје*, *класје* и т. п. тоже имеют синтаксические признаки форм

мн. ч. Причем наряду с ними здесь употребительны и производные формы мн. ч., ср.: *даб* — мн. ч. *дабје* и *дабја*, *камен* — мн. ч. *камење* и *камења*, *кол* — мн. ч. *колје* и *колја*, *кремен* — мн. ч. *кремење* и *кремења* и т. п.

Переосмыслению имени собирательного ср. р. в форму мн. ч. наряду с функцией множественности способствовало такое характерное структурное качество, как отсутствие падежной парадигмы. Напротив, в сербохорватском языке имена собирательные ср. р. на -**je* сохраняют исконную форму ед. ч., хотя в фольклоре и в диалектах известны формы мн. ч. типа *биља*, *перђа*, *дубја*, *камења*, проникающие и в художественную литературу.

В истории польского языка собир. ср. р. на -*ie*, соотносительные с производящими основами на мягкий согласный (*kamienie* — *kamień*, *korzenie* — *korzeń*, *krzemienie* — *krzemień* и т. п.), стали ассоциироваться на базе функции мн. ч. и внешнего сходства с формами мн. ч. склонения на-**ĭ* — типа *goście*, *ludzie* и в течение XVI—XVII вв. перестроили свою парадигму, получив падежные окончания мн. ч. В художественной литературе XVIII—XIX вв. встречаются и формы мн. ч.: собир. *kwiecie* — мн. ч. *kwiecia*, собир. *liście* — мн. ч. *liścia*, собир. *ciernie* — мн. ч. *ciernia* и т. п. (в разделительном значении).

В чешском и словацком языках благодаря рациональному распределению функций между именами собирательными ср. р. и простыми формами мн. ч. имена собирательные сохранили парадигму ед. ч.

История праславянских типов собирательности вскрывает важнейшую закономерность в развитии категории числа в период становления норм национальных славянских языков, заключающуюся в формализации языкового выражения количественных отношений, в утверждении флективного способа, что в наибольшей мере отвечало изменившемуся абстрагированному содержанию числа. Переход от именованно-качественного к обобщенному, отвлеченно-количественному осмыслению множества, от собирательности к абстрактной множественности является мыслительно-логическим механизмом этого процесса. Выход имен собирательных из системы средств выражения мн. ч. означал утрату категорией числа остаточных признаков словообразовательной категории. Для внутренней организации языка эти преобразования имели важные последствия. Они знаменовали ведущую роль формальных, парадигматических факторов в выражении языковых значений, структурирование грамматической системы, в целом — совершенствование языковой техники.

Таким образом, в исторической связи и взаимодействии собирательности и категории числа получают свое объяснение процессы формирования и развития логической категории количественности, проявляются некоторые важные для понимания абстрагирующей деятельности сознания закономерности развития грамматического строя в связи с развитием логического мышления.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Тронский И. М.* К семантике множественного числа в греческом и латинском языках.— Уч. зап. Ленингр. ун-та, 1946, сер. филол., вып. 10.
2. *Тронский И. М.* Общеиндоевропейское языковое состояние (вопросы реконструкции). Л., 1967.
3. *Трубачев О. Н.* История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959, с. 126.
4. *Кудрявский Д. Н.* Грамматика древнегреческого языка. Тарту, 1964, с. 269.
5. *Десницкая А. В.* Категория собирательности и категория массы в истории грамматического строя албанского языка.— В кн.: Грамматический строй балканских языков. Исследования по семантике грамматических форм. Л., 1976, с. 39—40.
6. *Кумахов М. А.* Число и грамматика.— ВЯ, 1969, № 4.
7. *Cassirer E.* Philosophie der symbolischen Formen. I. Tl. Die Sprache. Berlin, 1923, S. 191—193.
8. *Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. Гносеологические аспекты. М., 1977, с. 234—242.
9. *Азарх Ю. С.* К истории собирательных типа *братья*, *зверье* в русском языке.— В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. 1975. М., 1977, с. 190.
10. *Schmidt J.* Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra. Weimar, 1889.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1982

ГРИНАВЕЦКИС В. З.

РАЗВИТИЕ АТТРАКЦИИ УДАРЕНИЯ В ГОВОРАХ ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА

Северным говорам литовского языка в определенных случаях свойственна аттракция ударения с конца слова на его начало или ближе к его началу [1]. Данная особенность акцентуации говоров литовского языка уже довольно хорошо исследована и описана. Однако некоторые аспекты происхождения и развития аттракции ударения, как и отдельные закономерности этого явления, еще не совсем исчерпывающе охарактеризованы и адекватно интерпретированы, и, по-видимому, поэтому до сих пор нет единого мнения языковедов по этим вопросам. В этой статье и делается попытка выяснить некоторые случаи оттяжки ударения и в связи с этим объяснить все разнообразие аттракции ударения как гармоничной системы, создавшейся постепенно в течение длительного времени и обусловливаемой фонетической и грамматической структурой различных говоров.

Как свидетельствуют данные говоров литовского языка, аттракция ударения проходила постепенно. Во-первых, переход начался с кратких окончаний на долгие предпоследние слоги. Однако и в этом случае данный феномен в говорах литовского языка имеет немало разнообразных отклонений. Эти различия связаны с вокализмом предпоследнего слога, а также зависят от количества слогов в слове.

В двусложных словах и формах, имеющих краткое ударное окончание и долгий предпоследний слог, ударение закономерно оттягивается почти на всей территории условной аттракции ударения, например: *aukštà* ~ *aukštì* [2] «высокая», *ilga* ~ *ilgà* «длинная», *laukus* ~ *laukùs* «полей», *vaiku* ~ *vaikù* «ребенком» и др.

В многосложных словах с кратким ударным окончанием и долгим предпоследним слогом закономерности перехода ударения другие. В этом случае ударение, как правило, оттягивается на долгий предпоследний слог только в именных словах второй акцентной парадигмы, например: *aguona* ~ *aguonà* «мак», *aguonas* ~ *aguonàs* вин. п. мн. ч. «маки», *agurku* ~ ~ *agurkù* «огурцом», *agurkus* ~ *agurkùs* «огурцов», *naujoku* ~ *naujokù* «новичком», *naujokus* ~ *naujokùs* «новичок» и др. (Бятигала, Расейняйский р-н). В многосложных именных словах третьей акцентной парадигмы с кратким ударным окончанием и долгим предпоследним слогом ударение обычно на второй с конца слог не оттягивается. В этом случае ударение получает тот слог, который имеет ударение в вин. падеже ед. числа, хотя и по природе является кратким, например: *pãbauda* ~ *pabaudà* «штраф» (вин. п. ед. ч. *pãbaudą*), *ãtgaila* ~ *atgailà* «покаяние», *pãgarba* ~ *pagarbà* «честь», *išvirkšče* ~ *išvirkščią* «изнанка» (Бятигала).

При оттягивании ударения на ударяемый систематическим ударением слог гласные *a*, *e*, *i*, *u*, получив это аттрактное ударение, своей долготой приравниваются к гласным с древним ударением. Таким образом, в этом случае переплетаются два фактора — переход ударения и вместе с тем обобщение ударения парадигмы и долготы ударных гласных. В род. паде-

[1] Карта аттракции ударения опубликована в 1964 г. [см. 1, с. 16].
[2] Здесь и далее за тильдой (~) приводится литературный вариант.

же ед. числа и других падежах с ударным долгим окончанием ударение обычно сохраняется на окончании, например: *pabaudõs* «штрафа», *atgailõs* «покаяния», *pagarbõs* «чести», *išvirkščiõs* «изнанки» и др. (Бятигала).

Ближе к территории всеобщей аттракции ударения (особенно в ареале восточных и средних аукштайтов) довольно часты случаи обобщения систематического ударения во всей парадигме. Например, такая акцентуация встречается около Сурвилишкис (Кедайняйский р-н): *ãpjuoka* «осмеяние» (род. п. ед. ч. *ãpjuokos*), *ãtplaiša* «осколок» (род. п. ед. ч. *ãtplaišos*), *ìšvirkščia* «изнанка» (род. п. ед. ч. *išvirkščios*), *pãgarba* «честь» (род. п. ед. ч. *pãgarbos*), *sùtartis* «договор» (род. п. ед. ч. *sùtarties*) и др.

Кроме того, на территории данного типа аттракции ударения ударение оттягивается к слогу с систематическим ударением и в многосложных словах третьей акцентной парадигмы с кратким ударным окончанием и с кратким предпоследним слогом, например: *odara* ~ *atdarà* «открытая», *opačia* ~ *apačià* «низ», *otskira* ~ *atskirà* «отдельная», *otvira* ~ *atvirà* «открытая», *kruvina* ~ *kruvinà* «кровавая», *laikina* ~ *laikinà* «временная», *liguma* ~ *lygumà* «равнина», *považa* ~ *pavažà* «полоз», *porama* ~ *paramà* «опора» и др. (Дер. Дабужяй, Аникщяйский р-н). Род. падеж ед. числа и другие падежи, имеющие долгое ударное окончание, сохраняют ударение на окончании, например: *atramas* ~ *atramõs* «опоры», *aukštumas* ~ *aukšyumõs* «высоты», *adaras* ~ *atdarõs* «открытой», *apač'as* ~ *apačiõs* «низа», *atskiras* ~ *atskirõs* «отдельной», *atviras* ~ *atvirõs* «открытой», *kruvinas* ~ *kruvinõs* «кровавой», *laikinas* ~ *laikinõs* «временной», *li. gumas* ~ *lygumõs* «равнины», *pavažas* ~ *pavažõs* «полоза», *paramas* ~ *paramõs* «опоры» и др. (дер. Дабужяй).

На территории восточных и средних аукштайтов в зоне условной аттракции ударения в некоторых случаях ударение оттягивается в формах им. падежа с сильноконечного окончания, например: *okete* ~ *aketẽ* «прорубь», *pomerge* ~ *pamergẽ* «подружка невесты», род. п. ед. ч. *aketes* ~ *akètês*, *pamerges* ~ *pamergês* и др. (дер. Дабужяй).

В последних двух случаях ударение оттягивается с окончания, по-видимому, по аналогии с такими именными словами с долгим предпоследним слогом, как *pãšalpa* ~ *pašalpà* «пособие», *pãskola* ~ *paskolà* «заем» и др.

В упомянутых случаях переход ударения в многосложных словах чаще встречается в северной части, ближе к зоне всеобщей аттракции ударения. Чем дальше на юг, тем реже и нерегулярнее случаи данного явления. Следует отметить, что передвигаясь к востоку от зоны всеобщей аттракции ударения вдоль границы Латвии (Сувайнишкис, Чедасай, Юодупе, Рокишкис, Обяляй), в многосложных словах третьей акцентной парадигмы она является более закономерной, нежели отдаляясь к югу.

В зоне условной аттракции ударения на территории северо-западных аукштайтов, только несколько дальше от жемайтской границы, действуют такие же законы аттракции, как на территории восточных и средних аукштайтов. Однако аукштайтская система аттракции ударения достигает Бятигалу, Шаукотас. Оттуда начинается жемайтская аттракция ударения (обычно с определенными признаками переходной степени) [2, р. 46, 47].

Ближе к южным и восточным границам аттракции ударения оно чаще не оттягивается с краткого окончания многосложных слов третьей акцентной парадигмы с кратким окончанием и долгим предпоследним слогом. Такая акцентуация присуща говору на запад от Утяны, например: *apkalbà* «оговор», *atgailà* «покаяние», *pagarbà* «честь», *pabaudà* «штраф», *išeitìs* «выход», *ataitìs* «будущее», *prapultìs* «гибель» и др. Подобная акцентуация имеется и около Арёгала, Лящяй, Пярнарава, Ванджёгала, Кулва, Шета, Йонава, Гялвонай, Гедрайчяй, Аланта, Сведасай и в других южных и вос-

точных районах перехода ударения с краткого окончания на долгий предпоследний слог. Однако ближе к границе Латвии, например, около Обяляй, Кряунос, Юодупе и в других местностях, формы упомянутой структуры акцентируются с оттянутым ударением, например: *ãtplaiša* ~ *atplaišà* «осколок», *pãšalpa* ~ *pasalpà* «пособие», *pãtaisa* ~ *pataisà* «исправление», *ãtsarga* ~ *atsargà* «запас», *sutartis* ~ sutartìs «договор», *pãžintis* ~ *pažintìs* «знакомство» и др. Формы других падежей, имеющие долгие ударные окончания, обычно сохраняют ударение на окончании.

Приведенные выше закономерности оттяжки ударения в именных словах третьей акцентной парадигмы в восточно- и средне-аукштайтских говорах показывают, что в данном случае аттракция ударения тесно связана с природным непостоянством ударения в парадигме, т. е. ударение с окончания оттягивается на тот слог, который получает ударение при склонении. О том же самом свидетельствуют примеры перехода ударения во второй акцентной парадигме — оно тоже оттягивается на тот слог, который получает ударение при склонении (ср. литер. *aguonà* «мак», *agũnos* род. п. ед. ч. «мака», дат. п. *agũnai* «маку» и т. д.).

По-видимому, именно таким же образом следует объяснять аттракцию ударения с окончания на корень и в двусложных примерах: и здесь при склонении или спряжении ударение переходит с окончания на первый слог (ср. литер. *sausà* «сухая», *sãusai* род. п. ед. ч. «сухой», *sãusą* вин. п. «сухую» и т. д.). В данном случае оттяжку ударения хоть и частично можно рассматривать как сосредоточение ударения на корне. Свидетельством этого могут служить обнаруженные нами примеры аттракции ударения в южных и восточных пограничьях этого явления. В именных словах второй акцентной парадигмы с долгим предпоследним слогом ударение оттягивается с краткого окончания, а в словах третьей и четвертой акцентных парадигм ударение сохраняется на окончании, например: *dirva* ~ *dirvà* «нива», *dirvas* ~ *dirvàs* вин. п. мн. ч. «нивы», *peil'u* ~ *peiliù* «ножом», *peil'us* ~ *peiliùs* вин. п. мн. ч. «ножи», *turtu* ~ *turtù* «богатством», *turtus* ~ *turtùs* вин. п. мн. ч. «богатства» и др., но *baltà* «белая», *galvà* «голова», *sausà* «сухая» и др. Такая акцентуация свойственна говорам Ширвинтского р-на (дер. Леванишкес, Зибалай), Молетского р-на (дер. Сугинчяй, Каралинава, Миндунай и др.). Кроме того, как нами уже установлено, в указанной зоне ударение еще оттягивается с кратких окончаний на такие предпоследние слоги, которые имеют в своем составе долгие гласные и дифтонги *ie*, *uo*, например: *plona* ~ *plonà* «тонкая», *diena* ~ *dienà* «день», *juoda* ~ *juodà* «черная» и др.

Переход ударения с кратких окончаний на долгий предпоследний слог только в словах второй акцентной парадигмы также иллюстрирует действие акцентуации парадигмы на аттракцию ударения, так как во второй акцентной парадигме ударение на окончании имеется лишь в двух-трех формах, а во всех других падежах ударение падает на корень. Это обстоятельство и создает условия для обобщения ударения на корне.

Как уже отмечалось, переход ударения связан и с вокализмом предпоследнего и последующих от конца слогов. Это подтверждается не только уже упомянутой аттракцией ударения в Ширвинтском и Молетском р-нах (только на такой долгий предпоследний слог, который составляют долгие гласные и дифтонги *ie*, *uo*), но также и впервые нами установленными закономерностями, согласно которым ударение оттягивается с кратких окончаний только в таких именных словах второй акцентной парадигмы, у которых предпоследний слог имеет долгий гласный или дифтонги *ie*, *uo*, например: *plita* ~ *plytà* «кирпич», *plitas* ~ *plytàs* вин. п. мн. ч. «кирпичи», *põnu* ~ *ponù* «господином», *põnus* ~ *ponùs* вин. п. мн. ч. «господ», *altõr'us* ~ *altoriùs* вин. п. мн. ч. «алтари», *kalėdas* ~ *kalėdàs* вин. п. мн. ч. «рождества» и др., но *peil'ù* ~ *peiliù* «ножом», *pirštù* «пальцем», *rankà* «рука» и др. (дер. Кальвяй, Кайшядорский р-н). Такая акцентуация свойственна го-

ворам около Кайшядорис (Правенишкес, Тадарава, Жежмаряй, Вилёнис, Мичюнай, Пласкунай, Ковайчяй, Клеришкяй, Круонис), в западной части Тракайского района (Миглинай, Мигучёнис), в восточной части Пренайского района (Стаклишкес, Англининкай, Езнас, Науёи Ута). Самой дальней точкой такой акцентуации на юге является Пуня (Алитусский р-н). Однако в южной части этой территории (Пуня, Езнас и др.) ударение иногда переносится и с корня на окончание (*vienù* ~ *víenu* «одним», *žiedù* ~ *žíedu* «цветком» и др.), как и в западнодзукских говорах [3, р. 181—186].

В других местах такой же тип аттракции ударения, как около Кайшядорис и далее в южном направлении, имеется на территории восточных аукштайтов на восток от Утяны (Таурагнай, Кирдейкяй, Куктишкес, Спитренай, Шейматис, Даугайляй и др.), в восточной части Зарасайского р-на (Данейкяй, Нарюнай и др.), в восточной части Молетского р-на (Стирняй и др.), на большей части Игналинского р-на (Игналина, Цейкиняй, Даугелишкис, Дукштас и др.), в Швянчёнском р-не (Лабанорас, Калтаненай, Видутине, Стрюнайтис, Казитишкис, Зубишке, Адутишкис и др.).

Только что упомянутый случай перехода ударения частично свойствен и говорам юго-западных аукштайтов, например: *mẽta* ~ *mètà* «мята», *rũta* ~ *rūtà* «рута», *miẽstu* ~ *miestù* «городом», *miẽstus* ~ *miestùs* вин. п. мн. ч. «города» и др. (дер. Юсявичяй, Капсукский р-н).

Следует отметить, что рассматриваемый нами случай оттяжки ударения в большинстве названных местностей более характерен для речи представителей младшего поколения.

Данный тип аттракции ударения наблюдается в жемайтских говорах на территории к югу от Нямакщяй (Расейняйский р-н), в окрестностях Адакавас (Таурагский р-н) и между Паюрис (Шилальский р-н) и Жигайчяй (Таурагский р-н), но здесь сохраняются явные остатки ударения на конце слова, например: *plĩtà* ~ *plytà* «кирпич», *rũtà* ~ *rūtà* «рута», *pu'dĩnė* ~ *puodynė* «горшком» и др. (Адакавас).

Возможно, что этот случай акцентирования является самым началом аттракции ударения, ее зачатком. Это первый закон перехода ударения.

Второй закон и вторая ступень аттракции ударения заключается в его оттяжке с краткого окончания на каждый долгий слог в словах второй акцентной парадигмы. Кроме нами указанной территории распространения данного типа аттракции ударения, такая же акцентуация характерна и для жемайтского говора окрестностей Нямакщяй (Расейняйский р-н), только здесь остается остаток ударения и на окончании, например: *vĩtà* ~ *vietà* «место», *peĩlù* ~ *peilìù* «ножом» и др.

Третья закономерность и третья ступень аттракции ударения состоит в оттяжке ударении с краткого окончания на предпоследний слог, образуемый долгим гласным и дифтонгами *ie*, *uo* независимо от акцентной парадигмы.

Четвертый закон и четвертая ступень — переход ударения с краткого окончания на каждый долгий предпоследний слог в двусложных словах независимо от акцентной парадигмы; в многосложных словах по этому закону ударение оттягивается на тот слог, который получает ударение при склонении.

Пятой закономерностью и ступенью является переход ударения с кратких окончаний на каждый долгий предпоследний слог, причем на краткий слог ударение оттягивается только в словах второй акцентной парадигмы. Такой тип акцентуации около Укмярге, Сесикай, Рагува установил З. Зинкявичюс [4, р. 47—48]. Нами выявлено, что он характерен и для р-на Кедайняй, например: *pupa* ~ *pupà* «боб», *pupas* ~ *pupàs* вин. п. мн. ч. «бобы», *vĩšta* ~ *vištà* «курица», *vĩštas* ~ *vištàs* вин. п. мн. ч. «курицы», *lãpe* ~ *lapè* твор. п. ед. ч. «лиссй», *lãpis* ~ *lapès* вин. п. мн. ч. «лис» и др. (дер. Сликяй, Кедайняйский р-н). В приведенных примерах наблюдается не только обобщение корневого ударения, но и удлинение ударных глас-

ных *a*, *e*, *i*, *u*, что обычно характерно только для гласных с древним ударением. Таким образом, здесь имеем такой же случай аттракции ударения и обобщение долготы ударных гласных, как и на всей территории восточных и средних аукштайтских говоров и в многосложных именных словах третьей акцентной парадигмы (*pãilga* ~ *pailgà* «продолговатая»).

Шестой ступенью и закономерностью является оттяжка ударения с кратких окончаний независимо от акцентной парадигмы и от долготы гласных предпоследнего слога. Такая аттракция ударения в восточноаукштайтских говорах имеется около Биржай, Вабальнинкас, например: *ainu* ~ *ainù* «иду», *sodus* ~ *sodùs* вин. п. мн. ч. «сады», *nàktis* ~ *naktìs* «ночь», *vèdu* < *vedù* «веду», *ràsu* ~ *rasà* «роса» и др. (Вабальнинкас). Если в слове больше чем два слога, то ударение оттягивается на тот слог, который получает ударение при изменении слова, например: *beširdž'u* ~ *beširdžiù* твор. п. ед. ч. «бессердечным» (ср. *bešiřdis* «бессердечный»), *panàšus* ~ *panašùs* «похожий» (ср. *panãšų* вин. п. ед. ч. «похожего»).

Около Биржай, Вабальнинкас краткие гласные *a*, *e*, *i*, *u* в примерах третьей акцентной парадигмы, получившие аттрактное ударение, удлиняются по аналогии со слогами, имеющими древнее ударение, например: *apkalbu* ~ *apkalbà* «оговор» (род. п. ед. ч. *apkalbos* и *apkalbõs*). Наряду с этим во многих случаях аттрактное ударение падает на второй от конца слог, независимо от того, получает ли системное ударение третий или еще дальнейший от конца слог.

Жемайтско-дунининкские говоры около Кяльме, Кражяй, Пакражантис, Лёляй, Кяуноряй, Титувенай и смежные с ним западноаукштайтские говоры около Шяуляй, Пакапе, Тируляй, Шилува и др. также оттягивают ударение во всех случаях с краткого окончания на долгий и краткий слог, получающий системное ударение. Однако в данном ареале краткие гласные *a*, *e*, *i*, *u*, получив аттрактное ударение, остаются краткими, причем на окончаниях сохраняются следы древнего ударения, в многосложных словах слоги, находящиеся в середине слова, также являются ударными, например: *vìnà* ~ *vienà* «одна», *šàkà* ~ *šakà* «ветка», *sveikàtà* ~ *sveikatà* «здоровье»(вин. п. ед. ч. *sveikãtą*), pàbaìgà ~ *pabaigà* «конец» (вин. п. ед. ч. *pãbaigą*) и др.

Дальнейшей ступенью является аттракция ударения не только с кратких окончаний, но и с долгих, ударение с которых оттягивается не во всех говорах одинаково. Таким образом, седьмую закономерность и ступень составляет аттракция ударения с кратких и долгих циркумфлексных окончаний. Данная закономерность является двоякой — аукштайтской и жемайтской. Жемайтские говоры сохраняют остаток ударения и на окончании, причем в большей части аукштайтских говоров такого остатка ударения на окончании нет [2, p. 44—45]. В многосложных словах аукштайтских говоров ударение оттягивается на тот слог, который получает системное ударение при склонении или спряжении. Кроме того, в восточноаукштайтских говорах большинство именных слов третьей акцентной парадигмы имеет обобщенное ударение основы слова для всей парадигмы [2, p. 51—60]. В жемайтских говорах ударение с окончания оттягивается на первый слог, независимо от системного ударения парадигмы [2, p. 46].

Восьмая, самая высокая ступень и закономерность аттракции ударения — оттягивание ударения с окончания во всех случаях, т. е. не только с кратких и сильноконечных, но и с сильноначальных окончаний. Оно свойственно северожемайтским говорам около Вягяряй, Кликоляй, Акмяне, Тришкяй, Луоке и др. По всей вероятности, оттяжка ударения с сильноначальных окончаний — явление более позднее, нежели с сильноконечных окончаний. Это доказывается тем фактом, что в южной части упомянутой территории (Луоке, Тришкяй и др.) сильнее произносятся сильноначальные окончания, а не слоги с оттягиваемым ударением, причем слоги с аттрактным ударением с сильноконечных окончаний произносятся сильнее, нежели конечные слоги.

В северных аукштайтских говорах (северная часть западноаукштайтских говоров и северная часть восточноаукштайтского Паневежского говора) также наблюдается восьмая ступень аттракции ударения [2, p. 41—44, 4, p. 37].

Необходимо отметить, что основной причиной восьмого этапа аттракции ударения является то обстоятельство, что ударение на упоминаемой территории оттянуто с кратких и сильноконечных окончаний. Поэтому и в сильноначальных окончаниях, которых не так уж много, ударение не могло удержаться. Данную мысль может подтвердить тот факт, что из сильноначальных окончаний ударение оттягивается только на той территории, где оно оттянуто с кратких и сильноконечных окончаний. Кроме того, и в аукштайтских говорах оттяжка ударения с сильноначальных окончаний, по-видимому, является более поздней, нежели аттракция ударения с кратких и сильноконечных окончаний. На это указывает тот факт, что дательный падеж в этих говорах по большей части акцентируется двояко — с оттянутым ударением и без него. Таким образом, процесс перехода ударения в этих формах еще не закончен. Необходимо также добавить, что на территории восточных и средних аукштайтов аттракция ударения с сильноначальных окончаний занимает меньший ареал, нежели аттракция ударения с кратких и сильноконечных окончаний.

Как впервые установлено нами, в южножемайтских говорах около Лаукува, Варняй ударение оттягивается в 1-м и 2-м лицах ед. числа в двусложных возвратных глаголах настоящего времени с акутового (сильноначального) окончания (теперь произносимого с прерывистой интонацией), например: *aunûs* ~ *aunúos* «обуваюсь», *prausûs* ~ *prausúos* «умываюсь», *velkûs* ~ *velkúos* «одеваюсь», *aunîs* — *aunýs* «обуваешься», *prausîs* ~ *prausýs* «умываешься», *velkîs* ~ *velkýs* «одеваешься»; *sọkûs* ~ *sukúos* «ворочаюсь», *nèšûs* ~ *nešúos* «несусь»; *sọkîs* ~ *sukýs* «ворочаешься», *nèšîs* ~ *nešýs* «несешься» и др.

Переход ударения в приведенных глагольных формах скорее всего зависит от акцентуации соответствующих невозвратных форм. По аналогии с невозвратными формами, имеющими оттянутое ударение (*vẽlkọ* ~ *velkù* «одеваю», *vẽlkẹ* ~ *velkì* «одеваешь», *šnèkọ* ~ *šnekù* «говорю», *šnèkẹ* ~ *šnekì* «говоришь»), ударение оттягивается и в возвратных формах (*velkûs* ~ *velkúos* «одеваюсь», *velkîs* ~ *velkýs* «одеваешься», *šnèkûs* ~ *šnekúos* «разговариваю», *šnèkîs* ~ *šnekýs* «разговариваешь» и др.). Если глагол имеет основу на *-o*, то аттракции ударения не происходит (например: *rašâus* ~ *rašáus* «подписываюсь», *rašâs* ~ *rašâis* «подписываешься»), потому что аттрактного ударения не имеют и невозвратные формы (*rašáu* ~ *rašáu* «пишу», *rašâ* ~ *rašâi* «пишешь»).

Данный случай аттракции ударения с сильноначального окончания в жемайтских говорах окрестностей Лаукува, Варняй показывает, что аттракции ударения с долгих окончаний способствовала более ранняя оттяжка ударения с кратких окончаний и аналогия с акцентуацией парадигмы вообще.

Как показывает представленная нами градация закономерностей, оттяжка ударения проходила постепенно, т. е. сначала действовал первый закон, позднее — второй и последним является восьмой закон аттракции ударения. Однако нельзя точно установить и утверждать, что на всей территории аттракции ударения (особенно на территории действия седьмой и восьмой закономерностей) имели место все упомянутые ступени, так как можно опираться только на представленные нами факты. Точных письменных исторических данных на этот счет не имеется.

Факты жемайтских и некоторых аукштайтских говоров показывают, что ударение с окончания на передний слог оттягивается не сразу. Часть его остается на окончании. Однако в большей части аукштайтских говоров остатки ударения в конце слова не сохраняются [2, p. 44—45; 7, p. 62—68].

Можно предполагать, что аттракция ударения раньше всего началась

в самых северных говорах литовского языка, а оттуда она распространялась на юг и восток [2, p. 63—66].

Как свидетельствуют письменные источники, оттяжка ударения (первая ступень) в некоторых говорах уже имелась в XVI в. [5, p. 356; 6, p. 164—165].

Причиной перехода ударения А. Салис считал субстрат куршского и земгальского языков [8, p. 33—34]. Это аргументировалось тем, что самая сильная аттракция ударения имеется на той территории, где проживали курши и земгалы. Поскольку неизвестно, какая акцентуационная система была в куршском [3] и земгальском языках, то нельзя утверждать, что предположение А. Салиса является вполне верным. В определенной степени в пользу этой теории свидетельствуют факты, приводимые А. Гирдянисом, согласно которым существуют различные другие жемайтские фонетические особенности, возникшие под действием субстрата куршского языка [10, p. 19—24].

Внутренними факторами фонетического строя говоров литовского языка, обуславливающими аттракцию ударения, являются действие акцентуационной системы парадигмы (что в данной статье было показано) и редукция окончаний [2, p. 47—51], а также слабое ударение на кратких окончаниях, в особенности в том случае, когда предпоследний слог является долгим.

О том, что действие акцентуации парадигмы не является единственным фактором, обуславливающим переход ударения, свидетельствует и акцентуация глагольных форм на территории действия четвертого закона аттракции ударения. Например, с оттянутым ударением произносятся формы 1-го и 2-го лица ед. числа настоящего времени глаголов с основами на -(*i*)*a*, -*i*: *krīpstu* ~ *krypstù* «наклоняюсь», *krīpsti* ~ *krypstì* «наклоняешься», *tīl'u* ~ *tylìu* «молчу», *tīli* ~ *tylì* «молчишь». Можно было бы предполагать, что в данном случае оттяжку ударения обусловливает только ударение парадигмы, ср. *krīpsta* ~ *krỹpsta* «наклоняется, -ются», *krīpstam* ~ *krỹpstam* «наклоняемся», *krīpstat* ~ *krỹpstat* «наклоняетесь», *tīli* ~ *tỹli* «молчит, -ат», *tīlim* ~ *tỹlim* «молчим», *tīlit* ~ *tỹlit* «молчите». Однако такому мнению противоречит акцентуация форм прошедшего однократного времени, например: *kri.paĩ* ~ *krypaĩ* «я наклонился», *kri.pai* ~ *krypaĩ* «ты наклонился», хотя произносится с корневым ударением *krīpa.* ~ *krỹpo* «наклонился, наклонилась, наклонилось», *krīpa.m* ~ *krỹpom* «мы наклонились», *krīpa.t* ~ *krỹpot* «вы наклонились» (Аникщяй).

Приведенные нами примеры ясно показывают, что при равных условиях акцентуации парадигмы ударение оттягивается только с кратких окончаний, а с долгих не оттягивается. Таким образом, главной причиной перехода ударения являются ослабление ударения кратких окончаний и усиление произношения долгого предпоследнего слога. Данный процесс ведет к аттракции ударения. Система акцентуации парадигмы тоже влияет на аттракцию ударения, однако следует иметь в виду, что не всюду и не во всех случаях это влияние оказывается одинаковым.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Гринавецкис В.* Историческое развитие ударения и интонаций жемайтских говоров литовского языка (в сравнении с латышским).— В кн.: Славянская и балтийская акцентология. М., 1964.
2. *Grinaveckis V.* Žemaičių tarmių istorija (Fonetika). Vilnius, 1973.
3. *Grinaveckis V.* Nauji duomenys apie vakarų dzūkų tarmės kirčiavimą.— Lietuvos TSR Mokslų. Akademijos darbai. A serija, 1972, t. 4 (41).
4. *Zinkevičius Z.* Lietuvių dialektologija. Vilnius, 1966.
5. *Grinaveckis V.* Dėl kirčio atitraukimo priežasčių.— Baltistica, 1977, t. 13 (2).
6. *Grinaveckis V.* Dėl lietuvių kalbos tarmių kirčio atitraukimo kilmės.— Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija, 1977, t. 2 (59).
7. *Vitkauskas V.* Kuršėnų tarmės kirtis ir priegaidė.— Lietuvių kalbotyros klausimai. T. 3. Vilnius, 1960.
8. *Salys A.* Kelios pastabos tarmių istorijai.— Archivum Philologicum. Kaunas, 1933, t. 4.
9. *Endzelīns J.* Latviešu valodas gramatika. Rīgā, 1951.
10. *Girdenis A.* Kuršių substrato problema šiaurės žemaičių teritorijoje (Fonologijos dalykai).— Iš lietuvių etnogenezės. Vilnius, 1981.

[3] Я. Эндзелин считал, что акцент куршского языка был подвижным [9, p. 23].

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1982

ПОЛОМЕ Э.

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

(Анализ деятельности Комиссии по изучению роли языков и их преподавания в Восточной Африке)

Некоторые предварительные замечания. Хотя социолингвистические обследования ранее проводились и в других районах мира — от Филиппин до Белиза, ни одно из подобных начинаний, по своему размаху и воздействию, по уровню затрат и вовлеченности научных кадров, не может сравниться с деятельностью Комиссии по изучению роли языков и их преподавания в Восточной Африке (далее сокр. — Комиссия). Работа Комиссии финансировалась фондом Форда и осуществлялась при поддержке университетов Эфиопии, Кении, Танзании, Уганды и Замбии. Задачи, поставленные перед Комиссией, и методы, использованные для их достижения, позволяют уяснить теоретическую базу технических приемов социолингвистического обследования и сделать некоторые интересные обобщения, поскольку обследование выходило за пределы обычного регистрирования данных. Уже в самом начале предполагалось, что обследование как катализатор ускорит лингвистические, социолингвистические и педагогические исследования в указанных пяти странах Африки, а это, в свою очередь, приведет к сотрудничеству ученых в Африке на межнациональном и на междисциплинарном уровнях, способствуя подготовке национальных кадров в области языкознания. Хотя достижение подобных результатов в обычных условиях рассматривалось бы как нормальное следствие практического сотрудничества исследовательской группы с местными лингвистами и педагогами, здесь, в Восточной Африке, к этому стремились как к главной цели, и, как указывал Кл. Пратор, возросший исследовательский потенциал в этом регионе может оказаться куда более ценным, чем данные обследования [48, p. 147].

Первоначальная задача социолингвистического обследования может быть сформулирована следующим образом: «выяснение того, какие языки можно считать важнейшими в данной стране, и сбор о них основной социолингвистической информации» [15, p. 2]. Подобная информация должна, в частности, отражать отношение населения страны к использованию того или иного языка, что рассматривается как существенный фактор, серьезно влияющий на эффективность языковой политики. А в развивающихся странах Африки, где проблему разноязычия практически приходится решать повсеместно, очень важно сначала ознакомиться с конкретной языковой ситуацией и уже затем приступить к разработке каких-либо рекомендаций в области языковой политики. Однако проблема выбора языка далеко не всегда решается рациональным образом: на политическое решение вопроса могут повлиять сугубо эмоциональные мотивы, и поэтому всестороннее ознакомление с ситуацией представляется необходимым условием для разработки и осуществления языкового планирования, например, в области просвещения и образования. Так, в случае, если языку суахили противостоят местные языки, а также английский, использование любого из этих языков становится не только функциональным в той или иной социальной сфере: язык начинает эмоционально ассоциироваться с этой сферой, а новая символическая значимость языка позволяет ему служить политическим целям. Так, например, суахили ассоциируется с независимостью и формированием государственности, английский как

язык колонизаторов предстоит отвергнуть, местные же языки несут на себе печать племенного мышления. Но, если смотреть на это иначе, истинно национальное в африканской среде наилучшим образом можно отразить только через посредство автохтонных языков, так как суахили — язык, чуждый местной культуре, а английский обслуживает лишь административно-экономическую сферу. Система просвещения, таким образом, формулируется и отлаживается в зависимости от принятого решения, и все приемы языкового строительства направляются на то, чтобы внедрять определенную языковую политику. Но, как указывает В. Уайтли, есть предел административным усилиям в области языкового планирования в просвещении: «Если выбор языка противоречит общепринятым моделям языкового использования, то данный язык будет находить применение в определенных контекстах лишь под административным давлением... Таким образом, использование языка в коллективе будет, по-видимому, сопровождаться возникновением различных, нередко противоречивых эмоций и, кроме того, отразит напряженные социальные противоречия, которым более негде проявиться» [54, p. 2].

Из указанных обстоятельств вытекают некоторые важнейшие условия социолингвистического обследования: для того, чтобы исследовать язык в социальном контексте на всех его уровнях, необходимо основательно изучить страну и ее население, экономику, государственную и политическую структуру страны, ее историческое развитие, а также систему образования и просвещения. Вероятно, одним из лучших примеров такого подхода, если говорить о странах Тропической Африки, может послужить первая часть работы о системе просвещения в Танзании [13]. В. Лабов всегда подчеркивал роль своей социологической подготовленности в социолингвистических исследованиях [29, p. 110—111], демонстрируя тесную взаимосвязь лингвистических особенностей и экстралингвистических факторов. Одной из предпосылок успешного социолингвистического обследования является тщательное ознакомление со всеми сторонами существования языкового коллектива — социокультурной, политической, экономической и религиозной, а если потребуется, и анализ исторического прошлого, необходимого для интерпретации современной языковой ситуации.

Основные научно-исследовательские темы Комиссии. Разделы социолингвистического обследования в соответствии с первоначальной задачей, поставленной перед Комиссией, а именно — «собирать и пропагандировать важнейшие сведения об использовании и распространении языков», включали: 1) описание языковой ситуации в стране; 2) исследование языков в их применении, 3) изучение роли языка в просвещении и образовании. Несмотря на то, что каждая исследовательская группа Комиссии прибегала к различным приемам, пригодным в определенных условиях данной страны, подход исследователей в общем основывался на одних и тех же принципах — отчасти благодаря предварительным совещаниям в консультативном комитете, предшествовавшим начальному этапу обследования, но, с другой стороны, и вследствие одинаковой подготовленности исследователей и совпадения их научных школ в таких областях, как дескриптивная лингвистика, социолингвистика и прикладная лингвистика [1].

Языковая ситуация. В соответствии с традицией, такой раздел содержал бы следующее: а) перечень языков и диалектов, районы их распространения и последние данные переписи; предварительную (пробную) классификацию языков и необходимые замечания сравнительно-исторического

---

[1] Исследовательские группы Комиссии были скомплектованы следующим образом: 1) Уганда — П. Ладефогед (экспериментальная фонетика), Р. Глик (компаративная педагогика), Кл. Крайпер (социолингвистика); 2) Кения — В. Уайтли (языкознание), Д. Паркин (социальная антропология), Б. Нил (социолингвистика); 3) Эфиопия — Ч. Фергюсон (языкознание), Р. Купер (социолингвистика), М. Бендер (языкознание); 4) Танзания — Э. Поломе (социолингвистика), П. Хилл (методика), Г. Бартон (языкознание); 5) Замбия — С. Оганесян (методика), М. Кашоки (языкознание).

характера; в) краткое описание отдельных, наиболее типичных языков в основных подгруппах.

Первая часть работы об Эфиопии [6, p. 1—180] внешне соответствует вышеуказанным пунктам, но после более внимательного прочтения оказывается, что этот раздел, как, впрочем, и остальные разделы исследования, в действительности содержит в себе гораздо больше, а именно — здесь нашла применение новая методика классификации, основанная на признаковой дистрибуции и лексических соответствиях основного словарного фонда. Впервые такой подход был продемонстрирован П. Ладефогедом в качестве составной части метода определения статистически значимых различий между языками Уганды [31, p. 51—84]. Ранее обнаруживалось, что при анкетировании информантов их субъективные оценки своего уровня понимания родственных языков не гарантировали статистической надежности данных [2], и поэтому П. Ладефогед сравнивал списки слов путем измерения «степени сходства двух языков, беря список значений и подсчитывая в двух родственных языках количество похожих слов, семантические поля которых совпадали бы в обоих языках». Разбивая все языки обследуемого района попарно и измеряя процент лексических совпадений в словаре, можно представить степень сходства для любой пары языков на двухмерной диаграмме [см. 31, табл. 2.11]. Метод П. Ладефогеда использовал М. Бендер в своей попытке улучшить классификацию языков Эфиопии [4; 6, p. 53—58], а также М. Кашоки и М. Манн для определения степени родства 25 языков и диалектов Замбии [27, p. 50—60]. Г. Филиппсон и Д. Нурс еще более усовершенствовали это метод, применяя его для классификации языков банту Танзании [35].

Несмотря на то, что такой подход дает возможность получить данные, удовлетворительно соответствующие географической соотнесенности языков и уровню понимания других (родственных) языков, он, тем не менее, при тестировании информантов на магнитозаписях (рассказы и т. п.) обнаруживает существенные недочеты, которые заключаются в следующем: 1) хотя основной словарный фонд наименее подвержен изменениям вследствие языковых контактов, опыт доказывает, что даже в списке Сводеша лексика во многих отношениях отражает культурное наследие и в силу этого не вполне надежна для установления исторического родства языков; 2) лексические совпадения могут отражать процесс заимствования, а не историческое родство. (Новейшие заимствования из суахили идентифицировать довольно просто, а как поступить с возможными междиалектными заимствованиями?) [3].

Другой метод, к которому прибегал П. Ладефогед [30; 31, p. 62—65, 77—78], заключался в измерении фонетического сходства языков. С этой целью он тщательно картографировал особенности артикуляции в языках банту Уганды и определял совокупное число признаков, общих для каждой пары фонем сопоставляемых языков.

Результаты табулирования отдельных фонетических данных вылились затем в сводную матрицу, отразившую фонетическое родство языков банту Уганды [см. 31, p. 78].

Р. Хетцрон и М. Бендер вкратце рассматривают возможность классификации семитских языков Эфиопии на основе фонологических соответствий [6, p. 30—33], но не следуют в этом методике, предложенной П. Ла-

---

[2] П. Ладефогед стремился, чтобы анкетируемый ответил на вопросы приблизительно следующего содержания: «В каких пределах жители данного района понимают те или иные языки?». При этом он измерял уровень понимания по восходящей шкале следующим образом: 1) ничего не понимает, 2) понимает некоторые слова в разговоре, 3) понимает до 50% слов в разговоре, 4) понимает в основном все слова при беседе, 5) понимает все [31, p. 53].

[3] П. Ладефогед указывает на эту опасность, когда говорит о том, что подобный список следует «сбалансировать таким образом, чтобы он не выпячивал лишь какой-то один аспект культуры. Было бы недальновидным включать в список только имена диких животных: вполне допустимо, что племена с земледельческими традициями могли заимствовать все и единственно эти слова из языка своих соседей, племен, промышляющих охотой» [31, p. 54].

дефогедом. И в другом случае В. Уайтли в признаковом анализе языковых групп Кении [54, p. 14—26] также идет по иному пути и, основываясь на классификации языков М. Гасри, использует для сравнения языков фонологические, морфологические и синтаксические признаки. Особенно интересным представляется тот факт, что Ч. Фергюсон, использовавший такие диагностические признаки как критерии в том смысле, в каком их понимал М. Эмено в отношении к языкам Индии [14], лингвистически определяет Эфиопию как ареал, который характеризуется 8 фонологическими и 18 грамматическими признаками [16] [4].

Как еще более социолингвистически ориентированный представляется подход В. Уайтли [54, p. 26—54], в особенности, когда он решает проблему объема, распределения и гомогенности языковых групп в Кении. Указанный подход основывается на ряде исходных посылок, призванных выявить оппозиционные сферы монолингвизма и мультилингвизма:

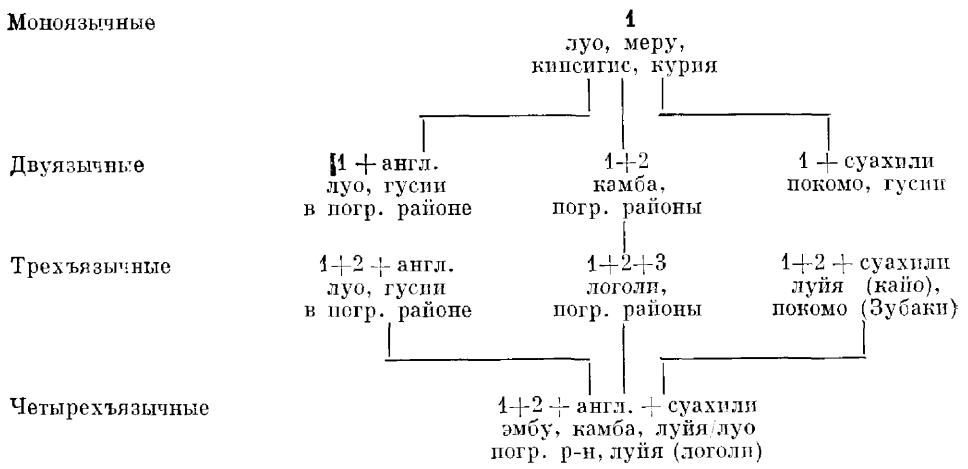
Высокая степень монолингвизма	Высокая степень мультилингвизма
Гомогенная языковая среда	Гетерогенная языковая среда
Доступ к просвещению ограничен по продолжительности и выбору	Неограниченный доступ к просвещению
Неразвитость коммуникаций и незначительная заинтересованность в их использовании	Развитые коммуникации и разнообразные мотивы, побуждающие их использовать
Низкая индивидуальная мобильность	Высокая индивидуальная мобильность
Крайняя сдержанность в привычке прибегать к другим языкам	Чрезвычайно развитая и поощряемая привычка пользоваться и каким-то другим языком, например, официальным языком данной страны

Введя пятимерное шкалирование, В. Уайтли затем попытался определить уровень языковой компетенции и уровень (частоту) использования языков, которыми владели информанты, по их собственному утверждению [5]. Вслед за этим он табулировал языковую компетенцию информантов в различных языках по результатам анкетирования семей, проживавших в 20 ключевых диалектных зонах и в трех пограничных районах. Кроме того, учитывался индивидуальный уровень и конфигурация языковой компетенции, что в конечном итоге позволило получить следующую диаграмму языковой ситуации в сельских районах Кении [54, p. 54]:

---

[4] Оценивая работу Комиссии в Эфиопии, М. Бендер, Р. Купер и Ч. Фергюсон подчеркивают важность своей методики селекции диагностических признаков для классификации языков, применение которой дало возможность по-новому оценить степень дифференциации языков. При этом авторы опирались на идею Ч. Фергюсона о языковом ареале Эфиопии, классификацию ее семитских языков и данные обследования амхарских диалектов. Следует заметить, что указанная методика применялась и для глубинного исследования других ареалов, например, для исследования языков бассейна реки Кафуэ в Замбии (см. работу Д. Леман [33, p. 101—120]), в описании диалектов языка чагга (рукопись Д. Нурса), что в целом подтвердило выводы, содержащиеся в диссертации С. Поломе (*S. Polomé*. A phonological survey of the Chagga dialects of Tanzania. Austin, 1971), а также данные об уровне взаимного понимания родственных языков. Квантитативный анализ на основе диагностических признаков и однокорневых фреквенций в лексике основного словарного фонда лежит в основе оригинальной работы об омотических языках [5]. Предварительный ономастический анализ некоторых имен в языках банту Танзании [36] в общем совпадает с результатами анализа однокорневых фреквенций в тех же языках (Д. Нурс). Разница заключается лишь в том, что Д. Нурс составлял свой список слов по Сводешу (100 слов), а А. Поломе исходил из слов, вошедших в блок 75 предложений, рекомендованных в работе Д. Леман для изучения языков банту в Замбии.

[5] Языковая компетенция измерялась следующим образом: 5 — беглая речь, т. е. способность говорить на любую тему; 4 — способность беседовать на большинство тем; 3 — целый ряд тем; 2 — простые темы; 1 — чрезвычайно ограниченно, очень мало. Поскольку при таком анкетировании информант сам оценивал свои возможности [54, p. 37], вполне понятно, что субъективный подход здесь был неизбежен. Оценка частоты использования языка предусматривала следующие ответы: 5 — регулярно, ежедневно; 4 — по меньшей мере, один раз в день; 3 — несколько раз в неделю (= «довольно часто»); 2 — один раз в неделю (= «время от времени»); 1 — один раз в месяц (= «очень редко»).



Что касается исторического аспекта, исследования, выполненные в рамках деятельности Комиссии, сопровождались лишь краткими историческими примечаниями, например, об этнических группах, населяющих Замбию [27], о первоначальном распространении языка суахили [44], о языковой политике германской колониальной администрации [11] [6]. Проблема миграций банту, по-новому представленная Дж. Шарманом в разделе монографии о языковых проблемах Кении [54, p. 115—127], кратко анализируется также и в монографии о Танзании [45, p. 19—21] и более подробно — в двух других работах о Танзании [41, 43].

Использование языков. Как указывает Д. Бауэн [10, p. 15], «потребитель» вполне закономерным образом концентрирует внимание исследователей на интересующих его проблемах с тем, чтобы добыть соответствующие данные, которые впоследствии помогли бы ему принять и затем внедрить свое решение об использовании языков в данном сообществе. Предполагается, что социолингвисты предложат «потребителю» и альтернативный курс действий, но при этом воздержатся от каких-либо попыток повлиять на формирование языковой политики.

Чтобы получить в свое распоряжение надежные данные, социолингвисту приходится анализировать различные стороны языковых процессов в обществе. Связывая взгляд антрополога на речевую деятельность как утилизацию культурных ресурсов речевого коллектива с исследованиями, которые объединяют в анализе стилевые особенности языка с социальным статусом и мобильностью, Д. Паркин предлагает следующую схему социолингвистического обследования [34 (a), p. 137—140]:

А. Языковой сдвиг: а) добавление нового языка } обратный процесс:
б) замена языка } языковая стабильность
Б. Переключение на другой языковой (диалектный) код, т. е. речевые модели взаимодействия в небольших группах и диадные деловые, обнаруживаемые в parole.
В. Социально детерминированные лингвистические изменения, т. е. особые лексические, синтаксические и фонологические альтернации в langue.

Определив два главных организующих принципа социальной жизни в Найроби как «этническую аффилиацию» и «принадлежность к статус-группе», Д. Паркин далее указывает на решающую роль социально-экономических факторов в возникновении дополнительных языков. Этническая переменная в изучавшемся жилом районе г. Найроби практически в расчет не принималась [34(b)], в то время как взаимодействие переменных этноса и статуса определяло процесс возникновения дополнительных языков и ограниченную языковую «субституцию» в этнически смешан-

[6] См. также переработанный вариант статьи Э. Поломе [45]. Расширенный вариант статьи А. Брумфит в момент подготовки настоящей рукописи находился в печати [12].

ном, а в социально-экономическом отношении еще более разнородном речевом коллективе в Калолени [34(c)].

В Эфиопии Комиссия обращала внимание исследователей на то, как миграция и урбанизация влияют на языковой сдвиг, а также на сравнительное исследование языковых ситуаций в городе и в деревне. В конце статистического анализа родных языков, которые охватили речевые коллективы в столице и в 188 других городах, Р. Купер и Р. Ховат утверждают следующее: «Имеет или не имеет место языковой сдвиг в не-амхарских речевых коллективах..., урбанизация, по-видимому, выступает в качестве импульса к распространению амхарского как второго языка, т. е. языка, которым пользуются в дополнение к своему родному языку» [6, p. 212]. В результате другого, пробного обследования городских и сельских районов в провинциях Кефа и Аруси обнаружились четкие контрасты между гомогенным, преимущественно галлаязычным сельским районом, отмеченным характерным монолингвизмом, и, с другой стороны, разнородными в языковом отношении городами, отмеченными билингвизмом, причем, как указывалось, в городе амхарский играл важную роль и как первый, и как второй язык [6, p. 213—243]. Делается вывод, что носители амхарского как родного языка, проживавшие в сельских районах, как правило, владели языком галла, а носители галла как родного языка, проживавшие в городах, владели амхарским в качестве второго языка, причем амхарский, будучи официальным языком и языком престижа, по-видимому, преобладал в перечисленных ситуациях благодаря поддержке, оказываемой амхарскому языку, языку с давними письменными традициями, и, кроме того, языку самой многочисленной и в политическом отношении самой влиятельной амхароязычной группы населения страны.

Проблема кодового переключения непосредственно относится к этнографии коммуникации: типы ситуаций, имеющие отношение к этой области, в последнее время неоднократно демонстрировались [20, 21, 3 и мн. др.]. В случае с г. Найроби Д. Паркин [54, p. 189—215] анализирует набор речевых актов, деловых и неделовых, в который он включает: а) шутливые замечания по поводу этнических и статутных различий — прием, позволяющий справиться со специфическими чувствами, которые связаны с групповой лояльностью и престижным соперничеством; б) всяческое подчеркивание своей этнической принадлежности, своего статуса и личных социально-экономических связей [7]. Использование местного языка будет усиливать этническую идентификацию, а суахили и английский должны здесь, по-видимому, символизировать особые индивидуальные интересы. Необходимость в изучении такого рода «переключений» в более широком смысле — в рамках выбора кода и кодового смешения в ситуациях многоязычия — демонстрируется в предварительном исследовании, проведенном в Танзании [1]. Для анализа микроситуаций использовались различные приемы. Так, в случае с Танзанией исследователи вели лингвистические дневники, занося в них все факты, имевшие место в будни и в праздники, фиксируя язык общения в каждом отдельном случае и сопровождая все, насколько это было возможно, данными о мотивах, вызвавших переключение. Однако полученные результаты не отразили чего-либо нового в социопсихологических условиях, вызывавших языковое переключение в танзанийском контексте [46, p. 119].

Другой подход, к которому охотно обращались, был социолингвистический анализ рынка. Техника анализа была хорошо разработана [6, p. 244—255] и заключалась в следующем: в какой-то определенный день проводилось наблюдение за рыночными сделками, осуществлявшимися на разных языках, и специально учитывались и сравнивались языки, через

[7] Особенно поучительным представляется подход к изучению лингвистических коррелятов социального статуса на материале личных местоимений 2-го л. в амхарском [6, p. 281—288]. Автор исследования демонстрирует, каким образом семантика некоторых лексических классов, отражающих власть, могущество, солидарность и т. п., воплощается в вежливых формах амхарских личных местоимений. Другими словами, речь идет о взаимодействии лингвистического и внелингвистического социального поведения и вытекающих отсюда интереснейших проблемах, например, проблеме «семантических универсалий» [8, p. 230].

посредство которых осуществлялись торговые сделки, регистрировались товары либо оказанные услуги. Результаты обследования представляются чрезвычайно интересными в следующем отношении: а) не был обнаружен какой-либо специальный торговый язык (к примеру, амхарский или же арабский); б) несмотря на то, что ремесла и торговая специализация отражали традиционные склонности того или иного этноса, покупатель и продавец осуществляли сделку на одном, общем для них языке, причем продавец, как правило, приспосабливясь к ситуации, старался вести переговоры на родном языке покупателя. В более общем плане это обследование указывает на то, что ситуация разноязычия на рынке не обязательно приводит к возникновению lingua franca [8, p. 227].

Неизменной чертой, характеризующей социолингвистическое обследование, является изучение многоязычия в различных контекстах: в общественных местах, судах, на промышленных предприятиях, в церквях, в учебных заведениях и т. д. [36, p. 44—45]. В Танзании Комиссия тщательнейшим образом исследовала юридические процедуры во всех инстанциях и на всех этапах судебного разбирательства, например, иск потерпевшего, допрос подсудимого, показания свидетелей, обвинительный акт, слово для защиты (выступление подсудимого), вынесение приговора, использование в определенных условиях английского и суахили, посредничество переводчиков (английский, суахили и местные языки). В итоге возникла ситуация, когда для продвижения языка суахили за пределы низшей судебной инстанции потребуется еще много времени. В Эфиопии Комиссия впервые в своей работе обратила непосредственное внимание на языковые проблемы, возникающие на промышленных предприятиях [6, p. 264—272]. Было бы, впрочем, полезно изучить языковую ситуацию горнорудного «медного пояса» в Замбии в том направлении, в каком она изучалась в провинции Шаба в Заире [38; 22, p. 88—89; 39; 24, p. 85—86] [8].

Что касается взаимоотношений языка и религии, Комиссия уделила этой проблеме значительное внимание, но подход к проблеме в каждом отдельном случае бывал различным. Так, например, Дж. Буджра в Кении заинтересовало влияние, которое оказывает ислам на языковую лояльность в городском квартале (г. Найроби), населенном преимущественно мусульманами-пумвани [54, p. 217—252]. Дж. Буджра исследует также характер и темпы наступления суахили на местные языки, в ходе которого они вытесняются не только как средство внешней коммуникации, но и как средство внутриэтнического общения. Арабский язык здесь сохраняет ореол религиозного престижа, но познания в арабском в среде местного населения явно недостаточны, если не принимать в расчет тексты молитв и отрывки из Корана, которые механически заучиваются наизусть. В этих условиях язык суахили выступает как культурный маркер, так как он символизирует общие культурные ценности коллектива мусульман, чрезвычайно разнородного по своему этническому составу. Д. Аоко рассматривает языковые проблемы Независимых Африканских Церквей, отколовшихся от традиционных христианских направлений [54, p. 253—262]. Автор насчитывает 17 независимых сект (2345 прихожан в 44 приходах). Использование языка в богослужении варьирутся здесь главным образом в зависимости от этнического состава прихожан. Так, например, язык луо — в Номия, в церкви, основанной «пророком» Дж. Овало; преимущественно суахили — в африканской израелитской церкви (African Israel Church), исключая отдельные случаи, когда прихожане настаивают на использовании местных языков. В Танзании Комиссия старательно собирала данные о местных языках, используемых в различных религиозных целях и в том числе для перевода катехизиса, для общения священника с прихожанами, в литургии и т. д. Комиссия обратила особое внимание на умение священников решать специальные языковые проблемы в своем приходе, а также на случаи переключения на суахили (мотивы такого перключения и хронологизацию переключений см. [42, p. 44—45]). Данные обследо-

[8] О языке таун-бемба см. [26, p. 161—168; 22, p. 56—58].

вания ясно указывают на прогрессирующую суахилизацию церкви в Танзании. Темпы суахилизации географически варьируются и зависят от мобильности населения и экономического развития данного района, языковой лояльности этнических групп и в значительной мере определяются тем высоким престижем, который суахили приобретает в качестве государственного языка и языка просвещения в танзанийских школах [37].

Параллельно с изучением использования языка в различных социокультурных контекстах Комиссия исследовала языковые ситуации в специфических коллективах, дифференцированных в социокультурном отношении, например, городские кварталы, населенные выходцами из Азии. Б. Нил тщательно анализирует подобную ситуацию в Кении, включив в исследование различные уровни — социоэкономический, культурный (занятия и развлечения), религиозный — и соотнося их с использованием языка на работе, дома, в школе, в игровых ситуациях, в культовых учреждениях [54, p. 262—317]. При этом возникла чрезвычайно сложная картина: как правило, выходцы из Азии практически владели четырьмя языками, например, носители гуджарати прибегали к хинди, а также к суахили и английскому, а торговцы и ремесленники часто владели и некоторыми местными языками в той мере, в какой это было необходимо для поддержания их профессиональной деятельности. Однако какие-либо обобщения по поводу многоязычия выходцев из Азии едва ли уместны, поскольку они обладали определенной формой автономии еще в колониальный период, и нынешняя картина многоязычия этой группы населения отражает разнообразные модели адаптации, сформировавшиеся в предшествовавший исторический период [9].

Такого рода исследования вновь возвращают нас к макросоциолингвистическому подходу, где внимание, помимо всего прочего, сосредоточивается на моделях использования языков. В связи с этим все группы Комиссии прибегали к специальной методике анкетирования [36, p. 39—44]. В. Уайтли изучал в разных социальных контекстах уровень использования суахили, английского и местных языков жителями сельских районов Кении: в домашних условиях, в беседах с друзьями, знакомыми и незнакомыми людьми, в церкви, на работе, в административной сфере, на собраниях и митингах и т. д. [54, p. 319—350]. В этом плане сопоставление его статистических данных по Кении с данными по Танзании [37] относительно использования суахили в религиозной сфере весьма красноречиво: в отличие от Кении, влияние языковой политики в Танзании на повсеместное внедрение суахили представляется чрезвычайно значительным.

И в Эфиопии, и в Замбии Комиссия изучала многоязычие в среде университетских студентов. Анкетирование первокурсников позволило выяснить, в каких случаях студенты прибегали к тому или иному языку и в том числе к родному языку, в последнем случае — в беседах с родителями, родственниками (пожилыми либо по возрасту моложе анкетируемого), друзьями, в неофициальной переписке и т. д. Некоторые вопросы анкеты позволяли уточнить позицию анкетируемого в отношении определенного языка, например, хотел бы анкетируемый, чтобы его дети изучали тот

---

[9] Совершенно другой представляется ситуация в Замбии — в кварталах, населенных выходцами из Азии, родной язык которых, как правило, гуджарати, а второй — хинди. Что же касается английского, уровень владения им в этой среде непосредственно зависит от возрастной группы (подрастающее поколение получает образование в школах с преподаванием предметов на английском языке). Стремление хорошо владеть местным языком наблюдается только среди тех, кто поселился в сельской местности, а для всех остальных оптимальным пределом является некоторый набор слов и фраз на местном lingua franca (например, таун-бемба или фанагало), который удовлетворял бы их в профессиональном отношении (торговля, ремесла). К важным факторам, укрепляющим позиции родных языков выходцев из Азии, относятся: а) радиопередачи из Индии и Пакистана, б) индийские кинофильмы (преимущественно на хинди), весьма популярные в их среде, в) частные школы, в которых преподается гуджарати, г) контакты с Индией и Пакистаном, а также с выходцами из этих стран [33, p. 244—267].

или иной язык [10]; какой язык, по его мнению, «приятнее других по своему звучанию». Отвечая на последний вопрос, как ни странно, лишь 11% анкетируемых сочли свой родной язык «наиболее приятным» [6, p. 277].

В Танзании Д. Бартон широко использовал подобного рода анкеты [36, p. 39—43] в сочетании с особой методикой социолингвистического обследования семьи (ср. с обследованием Эфиопии [8, p. 224—225]) и с индивидуальными опросами, что позволило ему вникнуть в проблемы многоязычия и использования языков в одном из районов Дар-эс-Салама [2], а в дальнейшем проверить свои выводы при изучении языковой ситуации в других районах страны [45]. Данные анкетирования позволяют предварительно оценить степень многоязычия, поскольку из анкеты известно, в какой мере анкетируемый, по своим собственным наблюдениям, владеет умением говорить, понимать, писать и читать в определенных ситуациях, градуированных по степени сложности или по уровню абстрагирования. Конечно же, недостаточно устанавливать типологию многоязычия [см. 54, p. 37—54] путем простого выведения процента языковой компетенции в разных языках, согласно ответам анкетируемого. По-разному и в различной степени можно владеть языком, чтобы оперировать им в следующих социальных контекстах: а) приветствия, б) информация о том, как добраться до какого-либо места, в) покупки на рынке, г) беседа на повседневные темы, д) выступление с сообщением, речью, е) беседа о политике, ж) беседа на темы здравоохранения и сельского хозяйства, з) беседы на темы, связанные с использованием техники, и) беседа на профессиональные темы, к) беседа на темы, связанные с математическими расчетами. Так, в перечисленных ситуациях студент строительного факультета Танзанийского университета, проживавший ранее в деревушке (район Нтомбе, область Иринга), без особого труда использовал в беседе как английский, так и суахили. Однако если у него возникала необходимость прибегнуть к своему родному языку (бена), об использовании бена в темах, индексированных как д, е, з, к, не могло быть и речи. Вместе с тем выяснилось, что этот студент думает, поет и молится как на бена, так и на суахили, но не на английском (исключая эпизодические молитвы). Исходя из этого, Комиссия в Танзании дополнила типологию языковой компетенции двухмерным тестовым шкалированием информанта: степень владениям языками, измеряемая самим информантом, и уровень использования языков в определенных социальных контекстах. Так, двуязычная католичка, которая считала кисуби (К) своим «первым» языком, несмотря на то, что она достаточно хорошо владела языком суахили (С) и после окончания школы-четырехлетки умела писать и читать на суахили, прошла тест с результатами, указывающими на тенденцию практически повсеместного использования суахили вне дома [40, 45]. Было бы идеальным проверить фактическую степень владения языками, измеряемую в настоящее время лишь самими анкетируемыми: применяя методику, разработанную П. Ладефогедом [31, p. 65—68], М. Бендером и Р. Купером [7], М. Кашоки [33, p. 123—143] имеет в виду главным образом межъязыковую коммуникацию, а поскольку семь языков банту в Замбии (бемба, каонде, лунда, лувале, лози, ньянджа и тонга), официально признанные в массовых коммуникациях и в просвещении, не квалифицируются как взаимопонимаемые, это представляется существенным для оценки многоязычия в Замбии.

---

[10] Ситуация, в которой предлагался этот вопрос (университет в Лусаке), предопределила в ответах высокий процент для английского языка (96,8%) и пятидесятипроцентные рубежи для двух наиболее распространенных языков Замбии — бемба (51,6%) и ньянджа (49,5%). Важнейшими факторами в этой ситуации были следующие: а) опрашиваемые студенты обучались на английском и в школе, начиная с первого класса, и в университете; б) в качестве официального языка Замбии английский обладает наивысшим престижем, и без его идеального знания в этой стране невозможно получить хорошую работу. В другом, противоположном случае, студенты учительского колледжа в Танзании, в целом признавая ведущую роль суахили как национального языка и важнейшего орудия формирования национального государства, считали, что их детям необходимо изучать родной язык для того, «чтобы знать, кто я есть» (т. е. для этнической идентификации) и, таким образом, языковая лояльность здесь приравнивается к стремлению сохранить культурное наследие.

Хотя тесты в Замбии и не проводились в оптимальных условиях [33, p. 140—141], корреспонденции в основном словарном фонде и в морфемной структуре языков бемба, ньянджа и тонга интереснейшим образом коррелируют с данными тестов на понимание. Более того, у носителей ньянджа оценки в тестах на понимание бемба параллельно соотносились с еще более высокими оценками в тестах на понимание ньянджа носителями языка бемба, проживавшими в Лусаке, хотя здесь следует отметить и некоторые другие факторы, например, доминирующая этническая группа в данном населенном пункте [51], а также и то обстоятельство, что городские разновидности языков ньянджа и бемба являются linguae francae [22, p. 56—70], и там, где в Лусаке имеется высокая концентрация носителей таун-бемба, их словарь содержит довольно много заимствований из ньянджа, которые, однако, не обнаруживаются в таун-бемба «медного пояса». Как указывается [51, p. 153], носители бемба как родного языка не всегда могут ответить на вопрос, является ли то или иное слово в их речи заимствованным из ньянджа или же, в противном случае, в их речи происходит чисто окказиональное переключение.

В целом проблема linguae francae не оказалась в центре внимания исследователей Комиссии. В Уганде правительство настойчиво проводило антисуахилийскую политику: с 1952 г. суахили официально не признавался здесь в просвещении наравне с местными языками, за исключением специальных школ для полицейских и школ для детей полицейских [31, p. 28—29] [11]. Что касается Кении, имеются чрезвычайно ценные, хотя и скудные данные о разновидности суахили в городских кварталах, населенных выходцами из Азии [54, p. 73—79], но сама проблема креолизации и пиджинизации суахили здесь полностью игнорировалась [12]. В Эфиопии Комиссия зафиксировала разновидность пиджинизированного итальянского с редуцированной глагольной системой, в которой прош. время выражается с помощью формы причастия прош. времени, а для всех остальных времен используется форма инфинитива [8, p. 230—232; 6, p. 170—180].

Языки и их роль в просвещении и образовании. В развивающихся странах «наука засучив рукава обслуживает государственные интересы и государственную политику» [10, p. 20]. Правительства этих стран при выработке языковой политики нуждаются в разнообразной социолингвистической информации, которая позволила бы представить реальную картину языковой ситуации в стране. Сведения такого рода способствуют большей эффективности мер в области просвещения и образования. Выбор языка обучения рассматривается в развивающихся странах как серьезный шаг, нередко обуславливаемый политическими мотивами или же социально-экономическими потребностями, но не всегда отражающий фактическое состояние многоязычия в данной стране [32, p. 55—57]. Один язык на каком-то этапе обучения может смениться другим, т. е. родной язык школьника или же государственный африканский язык в начальных классах сменяется в старших классах международным западноевропейским языком, например, английским в старших классах средней школы в Эфиопии. В связи с этим Комиссия уделяла значительное внимание таким вопросам, как: а) характер использования языков в среде школьников [13]; б) формирование языковой политики в данной стране [14]; в) использование языков в системе просвещения, в университетах, в программах по ликвидации неграмотности; г) использование

---

[11] О суахили в Уганде см. [50].

[12] Подробнее о пиджинизированных формах суахили в Кении см. [23].

[13] Т. Горман расширил анкету для Кении, включив в нее родителей анкетируемых детей, так как парентальная модель использования языков может определенным образом влиять на формирование многоязычия в среде подрастающего поколения, в особенности в том случае, когда мать ребенка знает суахили [54, p. 351—393]. Т. Гормана также заинтересовало предпочтение (как звено мотивации), которое дети оказывали тому или иному родному языку. Так, он обнаружил, что в настоящее время в Найроби дети все более склоняются к изучению английского языка, а в Момбасе — языка суахили.

[14] См. на примере Уганды [31, p. 87—99], Кении [54, p. 397—453] и Эфиопии [6, p. 305—323].

массовых коммуникаций в целях внедрения языковой политики[15]. Особое внимание уделялось проблемам преподавательских кадров, учебных материалов и экономическим аспектам просвещения и образования в развивающихся странах.

Время покажет, каким окажутся «дивиденды» от работы Комиссии в области языкового планирования [10, p. 26]. Нельзя, разумеется, предвосхитить в исследовании все детали и неожиданности, поскольку географически ситуации могут меняться, а сама исследовательская работа должна некоторым образом приспосабливаться к определенным условиям и и проводиться в рамках существующего социокультурного контекста, и таким образом, «любое социолингвистически ориентированное обследование обязано представлять проблемы sui generis» [36, p. 31].

Перевел с английского *Журковский Б. В.*

ЛИТЕРАТУРА

1. *Abdulaziz — Mkilifi M. H.* Triglossia and Swahili — English bilingualism in Tanzania.— Language in Society, 1972, t. 1, № 2.
2. *Barton D.* Study of Language Use in Ilala. Austin, 1972.
3. Explorations in the Ethnography of Speaking. Ed. by Baumann R. and Scherzer J. Jondon, 1974.
4. *Bender M. L.* The Languages of Ethiopia. A New Lexicostatistic Classification and Some Problems of Diffusion.— Anthropological Linguistics, 1971, 13 : 5.
5. *Bender M. L.* Omotic: A New Afroasiatic Language Family. Carbondale (Illinois), 1975.
6. *Bender M. L., Bowen J. D., Cooper R. L., Ferguson C. A.* Language in Ethiopia. London, 1976.
7. *Bender M. L. and Cooper R. L.* Mutual Intelligibility Within Sidamo.— Lingua, 1971, 27 : 1.
8. *Bender M. L., Cooper R. L., Ferguson Ch. A.* Language in Ethiopia: implications of a survey for sociolinguistic theory and method.— Language in Society, 1972, t. 1, № 2.
9. Sociocultural Dimensions of Language Change. Ed. by Blount B. G. and Sanches M. New York, 1977.
10. *Bowen J. D.* Organizing International Research in Sociolinguistically Oriented Language Surveys.— In: Language Surveys in Developing Nations. Papers and Reports on Sociolinguistic Surveys. Ed. by Ohannessian S., Ferguson Ch. A. and Polomé E. C. Arlington, 1975.
11. *Brumfit A.* The development of a language policy in German East Africa.— Journal of the Language Association of Eastern Africa, 1971, 2 : 1.
12. *Brumfit A.* The Development of a Language Policy in Tanzania.— Sprache und Geschichte in Afrika [forthcoming].
13. *Cameron J. and Dodd W. A.* Society, Schools and Progress in Tanzania. Oxford, 1970.
14. *Emeneau M. B.* India as a Linguistic Area.— Language, 1956, 32 : 1.
15. *Ferguson Ch. A.* On Sociolinguistically Oriented Language Surveys.— In: Language Surveys in Developing Nations. Papers and Reports on Sociolinguistic Surveys. Arlington, 1975.
16. *Ferguson Ch. A.* The Ethiopian Language Area.— In: Language in Ethiopia. Ed. by Bender M. L., Bowen J. D., Cooper R. L. and Ferguson C. A. London, 1976.
17. Advances in the Sociology of Language. Ed. by Fishman J. A. The Hague, 1971—1972.
18. *Fishman J.* Domains and the Relationship between Micro- and Macro-sociolinguistics.— In: Directions in Sociolinguistics. The ethnography of communication. Ed. by Gumperz J. J. and Hymes D. New York, 1972.
19. Advances in Language Planning. Ed. by Fishman J. A. The Hague, 1974.
20. The ethnography of communication. Ed. by Gumperz J. J. and Hymes D. Washington, 1964.
21. Directions in Sociolinguistics. The Ethnography of Communication. Ed. by Gumperz J. J. and Hymes D. New York, 1972.
22. *Heine B.* Status and Use of African Lingua Francas. München, 1970.
23. *Heine B.* Pidgin-Sprachen im Bantu-Bereich.— Kölner Beiträge zur Afrikanistik. Berlin, 1973.
24. *Heine B.* Sprache, Gesellschaft und Kommunikation in Afrika. München, 1979.
25. *Hymes D.* Foundations in Sociolinguistics. An Ethnographic Approach. Philadelphia, 1974.
26. *Kashoki M. E.* Town-Bemba: a sketch of its main characteristics. (African) Social Research, June 1972, 13, 56—58.

[15] Более подробно об этом см. у Г. Миттона на примерах Танзании и Замбии [33, 46]. А. Мозайен исследует тот же вопрос, но в плане использования массовых коммуникаций для преподавания языков в Эфиопии [6, p. 505—519].

27. *Kashoki M. E.* The Language Situation in Zambia.— In: Language in Zambia. Ed. by Ohannessian S. and Kashoki M. London, 1978.
28. *Kashoki M. and Mann M.* A General Sketch of the Bantu Languages of Zambia.— In: Language in Zambia. London, 1978.
29. *Labov W.* Sociolinguistic Patterns. Philadelphia, 1972.
30. *Ladefoged P.* The Measurement of Phonetic Similarity.— In: Statistic Methods in linguistics, 1970.
31. *Ladefoged P., Glick R.* and *Criper C.* Language in Uganda. London, 1972.
32. *Ohannessian S.* and *Ansre G.* Some Reflections on the Uses of Sociolinguistic Surveys.— In: Language Surveys in Developing Nations, Arlington, 1975.
33. Language in Zambia. London, 1978.
34. *Parkin D. J.* (a) Nairobi: Problems and Methods; (b) Status Factors in Language Adding: Bahati Housing Estate in Nairobi; (c) Language Shift and Ethnicity in Nairobi: the Speech Community of Kaloleni; (d) Language Switching in Nairobi.— In: Language in Kenya. Ed. by Whiteley (Wilfred H.). Nairobi, 1974.
35. *Philippson G. and Nurse D.*— Classification of the Bantu Languages of Tanzania.— In: Language in Tanzania. Ed. by Polomé E. C. and Hill P. C. London, 1980.
36. *Polomé A. R.* Classification of the Bantu languages of Tanzania. Austin, 1975.
37. *Polomé A. R.* Analysis of the Language Situation in the Major Churches of Tanzania.— In: *Polomé E. C., Polomé A. R.* and *Abdullah A.* Language and Religion in Tanzania. Orbis, 1982 [forthcoming].
38. *Polomé E. C.* The Position of Swahili and Other Bantu Languages in Katanga.— In: Texas Studies in Literature and Language, 1969, t. 11, № 2.
39. *Polomé E. C.* Multilingualism in an African Urban Center: The Lubumashi Case.— In: Language Use and Social Change. Ed. by Whiteley (Wilfred H). London, 1971.
40. *Polomé E. C.* Rural versus Urban Multilingualism in Tanzania: An Outline.— Paper read on August 21, 1974 at the 8th World Congress of Sociology. Toronto, 1974.
41. *Polomé E. C.* The Reconstruction of Proto-Bantu Culture from the Lexicon.— In: Working Papers in Linguistics, 1975, v. 19. Ed. by Herbert R. K.; L'expansion bantoue.— In: Actes du colloque international du CNRS — 4—16 avril 1977. Ed par Bouquiaux L. Paris, 1980.
42. *Polomé E. C.* Problems and Techniques of a Sociolinguistically Oriented Language Survey: The Case of the Tanzania Survey.— In: Language Surveys in Developing Nations. Arlington, 1975.
43. *Polomé E. C.* Le vocabulaire proto-bantou et ses implications culturelles.— In: Paleontologia Linguistica. Atti del VI. Convegno Internazionale di Linguisti. Brescia, 1977.
44. *Polomé E. C.* The earliest attestation of Swahili.— Journal of the Linguistic Society of India, 1978, v. 30.
45. *Polomé E. C.* Tanzania 1970 — A Sociolinguistic Perspective.— In: Language in Tanzania. London, 1980.
46. Language in Tanzania. London, 1980.
47. *Prator C. H.* Introduction.— In: Langage in Uganda. London, 1972. University Press.
48. *Prator C. H.* The Survey of Language Use and Language Teaching in Eastern Africa in Retrospect.— In: Language Surveys in Developing Nations. Arlington, 1975.
49. Sociocultural Dimensions of Language Use. Ed. by Sanches M. and Blount B. G. New York, 1975.
50. *Scotton C. M.* Choosing a Lingua Franca in an African Capital. Edmonton — Champaign, 1972.
51. *Serpell R.* Comprehension of Nyanja by Lusaka Schoolchildren.— In: Language in Zambia. London, 1972.
52. *Sharman J. C.* Some Uses of Common Bantu.— In: Language in Kenya. Nairobi, 1974.
53. Studies in Social Interaction. Ed. by Sudnow D. New York, 1972.
54. Language in Kenya. Nairobi, 1974.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1982

ОЛЬДЕРОГГЕ Д. А., ЖУКОВ А. А.

АФРИКАНСКИЕ ЯЗЫКИ И ОБЩАЯ ЛИНГВИСТИКА

(Из истории изучения языков Африки)

В этих коротких заметках приводятся некоторые малоизвестные сведения из истории изучения африканских языков, которые, возможно, покажутся интересными не только африканистам. Они связаны, в частности, с такими прославленными в лингвистике именами, как Расмус Раск, Август Потт, Г. К. фон дер Габеленц, Г. Штейнталь, а также Вильгельм Блик, общелингвистические работы которого ныне почти забыты, хотя в более узкой области науки о языке — африканском языкознании — он по праву считается создателем бантуистики, т. е. науки о языках банту, на которых говорит население почти всей южной части материка, за исключением ЮАР.

Известный современный специалист в этой области К. Док, опубликовавший в 30-х гг. специальную статью о ранних сведениях по языкам банту [1], высказал (ничем не подтвержденное, впрочем) предположение о связи иероглифического написания страны PWNT, встречающегося в древнеегипетских надписях и обозначающего «земля черных», лежащая где-то к югу от Египта, со словом **buntu*, т. е. «земли народов, говорящих на языках банту», которое можно обнаружить в некоторых современных языках.

Согласно этому предположению [ср. 2], *buntu* (в форме PWNT), таким образом, оказывается самым ранним записанным словом из африканских языков [1]. Однако более надежными в этом смысле все-таким следует считать сведения о языках Африки, содержащиеся в арабских источниках X—XIII вв. н. э. (Масуди, Идриси, например), в которых встречающиеся слова из африканских языков могут быть соотнесены со словами некоторых современных языков, в том числе — банту [см. 1, 4, 5].

С конца XV в. португальские мореплаватели в поисках пути в Индию постепенно освоили западное побережье Африки, обогнули южную оконечность материка (в 1498 г.) и вышли на восточный берег. В их отчетах встречаются местные географические названия, записи слов, обиходных фраз на местных языках, которые можно отождествить с современными языками банту. В этом отношении большой интерес представляют опубликованные в 1591 г. Филиппом Пигафеттой записи языка конго, сделанные одним из мореплавателей, посетившим западное побережье экваториальной Африки в 1588 г. Несколько слов, записанных в 1626 г. англичанином Томасом Гербертом на Коморских островах, достаточно ясно сопоставляются с современными суахилийскими.

Активно действовавшие с первой половины XVII в. в африканских государствах Конго и Ангола посланцы римской католической церкви составили первые словари языка конго (например, конго-латинско-испанский словарь 1652 г. Георгия Гельского) [2], осуществили переводы на этот язык религиозных текстов [3]. А небольшая книжка, изданная в 1659 г. в Риме под названием «Некоторые правила для облегчения трудностей конгосского наречия, к грамматическим нормам приведенные Гиацинтом

[1] О термине PWNT см. [3], где доказывается фантастичность подобного предположения: *bu* + *ntu* в языках банту, тогда как в древнеегипетском слове трехрадикальная основа PWN + показатель жен. рода Т-.

[2] Словарь издан Ван Вингом [см. 6]; см. также [7].

[3] Опубликованный в 1624 г. в Лиссабоне перевод катехизиса на язык конго стал первым опубликованным текстом на каком-либо из языков банту вообще.

Брущотто а Ветральья», стала первым описанием грамматического строя не только языка конго, но и вообще какого-либо из языков банту [8] [4].

Во второй половине XVII в. появляются также словарь одного из диалектов языка асанте — Западная Африка (Мюллер, 1673 г.), грамматика и словарь эфиопского языка Лудольфа (1661 г.), очерк языка ндонго — одного из языков Анголы (1697 г.) и др.

Однако систематическая публикация обширного языкового материала связана с периодом так называемой «миссионерской лингвистики». Это — первые десятилетия XIX в., когда начинается интенсивная деятельность в Африке миссионеров, представлявших различные направления христианской церкви. Появляются составленные ими первые грамматики и словари языков крайнего юга Африки (коса, чвана, зулу, гереро и др.), западноафриканских языков (манден, волоф, хауса, йоруба и др.). В Восточной Африке с языками галла, масаи, суахили и некоторыми другими знакомится миссионер Людвиг Крапф.

Эти материалы (опубликованные или рукописные) не могли не попасть в поле зрения ведущих языковедов того времени. К тому же, стоит подчеркнуть, именно к первой четверти XIX в. наука о языке вступает в качественно новую стадию своего развития — закладываются основы сравнительно-исторического языкознания.

Широко известная ныне работа Р. Раска (1787—1832) «Исследования в области древнесеверного языка или происхождение исландского языка» появилась в 1818 г. Менее известен языковедам тот факт, что Р. Раск является автором отдельной книги, специально посвященной одному из западноафриканских языков — га (в современной Гане). Изданная в 1828 г. в Копенгагене под названием «Основные сведения по языку акра на Гвинейском побережье», она состоит из 70-ти страниц и содержит «акра»-датский, датский-«акра» словарики с введением и небольшим грамматическим очерком [10]. Во введении Р. Раск указывает [5], что при работе над этим языком он опирался на три, написанных по-датски, издания,— книгу «Полезные грамматические сведения по двум доселе почти неизвестным языкам — акрийскому и фантийскому, распространенным на Золотом берегу в Гвинее» (Копенгаген, 1764) Кристиана Проттена [6], вышедшую в 1805 г. тиражом в сто экземпляров брошюру — перевод датским коммерсантом К. Шёнингом на «акрийский» язык «Десяти заповедей» и «Отче наш», сделанный для местного африканского населения; наконец, перевод части Библии на «акрийский» язык, подготовленный майором Врисбергом, который, как отмечается в предисловии к переводу, «в совершенстве владел этим языком в результате длительного пребывания в стране» [10, s. 2]. Эта книжечка (объемом в 8 с.) была издана в Копенгагене в 1826 г.

В предисловии к своей работе Р. Раск отмечает также, что он использовал краткий список слов, помещенный П. Е. Изертом в его книге «Путешествие в Гвинею», которая была издана в Копенгагене на немецком языке в 1788 г. [13].

Р. Раск называет, таким образом, издания, малоизвестные в африканистике. Однако самое ценное состоит в том, что ученый непосредственно работал с носителем языка. «Что касается словарной части — пишет он,— то это результат работы местного жителя по имени Ной, крещенного

---

[4] О миссии Брущотто и работах его времени см. [7, 9].

[5] Перевод введения сделан на кафедре скандинавской филологии Ленинградского университета под рук. доц. Б. С. Жарова, приносим ему и коллегам глубокую благодарность.

[6] Кристиан Якоб Проттен (Christian Jakob Protten, 1715—1769) родился в основанной (в 1657—1659 гг.) датчанами крепости Кристиансборг (ныне на территории Аккры — столицы Ганы). Здесь — в этом административном центре «датской Гвинеи»— служил его отец-датчанин; мать-африканка, родным языком которой был га, но сын говорил также и на фанти — родственном га диалекте. В двенадцатилетнем возрасте Проттен был отправлен в Копенгаген, где обучался в университете. Вернувшись на родину, в течение многих лет учительствовал в Кристиансборге. Он перевел на «фантийский« (т. е. акан) и «акрийский» (т. е. га) ряд религиозных текстов, а также составил краткое описание этих языков, которое упоминает Р. Раск [см. 11]. О Проттене см. [12, p. 82—83].

как Фредерик Довунна [7]. Поначалу я думал использовать его для описания родного языка, но так как он совершенно не имел понятия о грамматике, я решил, что самым легким для него будет просто описать по-датски и по-акрийски слова, кои придут ему на ум. Этот словарь я тщательнейшим образом проработал вместе с ним, чтобы уточнить произношение и решить, как наиболее точно записать слова» [10, s. 3]. Р. Раск считал, что составленный им словарь окажется полезным для миссионеров, которые, в свою очередь, находясь непосредственно в стране, могли бы его уточнять и дополнять.

Написанная на языке, недостаточно известном за пределами его страны, эта работа Р. Раска практически не получила до сих пор должной оценки языковедов; не вошла она и в полное собрание сочинений ученого [15] [8].

Другое имя, широко известное в языкознании, которое важно назвать в связи с историей изучения языков Африки,— Ганс Конон фон дер Габеленц (1807—1875). Его лингвистические интересы были обширны — финно-угорские языки, языки Дальнего Востока и др. Он был основателем журнала «Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes», одним из первых членов Немецкого Востоковедного Общества (Deutschen Morgenländischen Gesellschaft). Оно было образовано в Галле в 1845 г. видными немецкими филологами и стало одним из крупнейших востоковедных центров Европы. Общество имело связи с миссионерами, работавшими на Востоке и в Африке, и получало от них разнообразные материалы по географии, языкам, культуре народов, среди которых они жили. Библиотека Общества пополнялась материалами и из Африки.

Активно сотрудничал с Обществом Иоганн Людвиг Крапф. Немец по происхождению, он состоял на службе Church Missionary Society, которое направило его в 1837 г. в Эфиопию. Проведя там шесть лет, он в 1844 г. переехал на Занзибар, а оттуда на побережье — в Момбасу, основав недалеко от этого старинного суахилийского города первую в Восточной Африке протестанскую миссию. Л. Крапф понимал, что вести миссионерскую работу без знания местных языков невозможно. Он знал арабский, в Эфиопии изучил амхарский, занимался языком галла (оромо), в Момбасе сразу приступил к изучению языка суахили. Именно от Крапфа в библиотеку Немецкого Востоковедного Общества поступили первые материалы по языкам суахили, яо, масаи и др. [17, 18]. Эти полученные из первых рук экзотические материалы находят немедленный отклик в Галле. С 1847 г. Общество начинает издавать журнал «Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft» (вместо журнала Габеленца-Лассена «Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes»). В его первом номере появляется статья геттингенского проф. Эвальда «О народах и языках к югу от Эфиопии» [19], написанная по материалам, присланным Л. Крапфом. В ней, в частности, рассматривались некоторые грамматические черты языка суахили.

Материалы Л. Крапфа и статья Г. Эвальда привлекли внимание Г. К. Габеленца. В третьей книжке журнала за 1847 г. он помещает небольшую статью «О языке суахили» [20]. Эта публикация оказалась не только первым очерком грамматического строя суахили — в ней впервые было отмечено родство этого языка с языками Конго, Анголы, и Южной Африки, в частности, сечуана, которым, как следует из статьи, Г. К. Габеленц специально интересовался. Он привел сравнительные словарики этих языков, которые ныне называются языками банту. Г. К. Габеленц, таким образом, разглядел в том небольшом и отрывочном материале, ко-

---

[7] Фредерик Ной Довунна (Frederik Noi Dowunnah) сын одного из правителей народа га — был отправлен в Европу «для знакомства с датской культурой» датчанами, которые еще с XVII в. имели владения на Гвинейском побережье Африки (современная Гана, район Аккры). Проф. Копенгагенского университета Р. Раск в 1827 г. использовал его в качестве своего информанта. Через год Довунна покинул Данию и вернулся на родину. После того, как датские владения перешли в руки Англии, он с 1854 г. стал мантсе (правителем) народа га. См. о нем [12, p. 181—182]. О датских поселениях в Западной Африке см. специальную работу [14].

[8] Пожалуй, впервые она указана в известной сводке Фатера [16, S. 10].

торым он располагал, некоторые общие черты между столь удаленными друг от друга языками. Л. Крапф полностью согласился с его выводами [21]. Эта исключительно важная для африканского языкознания мысль была высказана тогда же и другим видным лингвистом того времени — Августом Поттом (1802—1887). Профессор общего языкознания в университете Галле, он был одним из основателей Немецкого Востоковедного Общества, первым хранителем его библиотеки, первым (вместе с проф. Рёдигером) редактором журнала, издаваемого Обществом. Во втором томе журнала, т. е. сразу вслед за публикацией Г. К. Габеленца, появилась большая статья А. Потта «Родственные отношения между каффрскими языками (т. е. языками Южной Африки.— *О. Д.*, *Ж. А.*) и языками Конго [22].

Предположение «практических лингвистов», т. е. миссионеров (в первую очередь, Л. Крапфа и Дж. Вильсона, работавшего в Западной Африке), о единстве языков, распространенных на огромных территориях экваториальной Африки и к югу от экватора, нашло, таким образом, подтверждение в лингвистических работах таких языковедов, как Г. К. Габеленц и А. Потт. Окончательное же оформление эта идея получила в трудах Вильгельма Блика (1827—1875).

А. Потт продолжал интересоваться африканскими языками и позднее. По материалам Л. Крапфа он опубликовал статью о языке яо [23]. Ему принадлежит также большой обзор появившихся к этому времени грамматик и словарей некоторых языков Африки — хауса, канури, йоруба, тви [24].

Что касается В. Блика, то о его обширном лингвистическом наследии следует говорить отдельно. Здесь только назовем его диссертацию, написанную в 1849 и изданную отдельной книгой в 1851 г. [25], где он ввел в общелингвистический обиход материал африканских языков, поставил вопрос о классификации имен существительных, о происхождении грамматического рода и т. д. [см. также 26, 27]. Позднее именно В. Блик обобщил и сопоставил весь накопленный до него материал по языкам Экваториальной и Южной Африки (последними он сам много занимался), установил, что они образуют одну семью родственных языков, которой он дал название «языки банту», создал сравнительную грамматику этих языков, положил начало самостоятельной отрасли африканского языкознания — бантуистике.

Наконец, необходимо упомянуть языковеда, чьи теоретические труды составили особое направление в лингвистике (Völkerpsychologie), — это Г. Штейнталь (1823—1899). Принято считать, что ученый выступал прежде всего как теоретик и систематизатор, а не как исследователь конкретных языков или отдельных лингвистических явлений. Тем значительнее для нас становится его солидный труд, посвященный западноафриканским языкам,— манде [28] [9], которые, как он считал, являются подходящим материалом для применения психолингвистической теории. Единство языков манде было по существу установлено до него уже в 1854 г. С. В. Кёлле в его известном собрании словарей африканских языков — Polyglotta Africana [30].

Таким образом, работа Штейнталя представляет интерес именно с точки зрения истории психолингвистического направления в языкознании, но для африканистов она не дала ничего нового в решении проблемы классификации языков Африки. Поэтому нередко его труды даже не упоминаются в обзорах истории изучения африканских языков, как, например, в обзорах Кёлера [31, 32], тогда как имя В. Блика как основателя бантуистики прочно утвердилось.

---

[9] Русский перевод отдельных глав книги с комментариями сделан на кафедре африканистики Ленинградского университета (рукопись). Известна также другая работа Г. Штейнталя по африканским языкам [29].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Doke C. M.* The earliest records of Bantu.— Bantu Studies, 1938, v. XII, № 2 (эту же статью см. также в African Studies, 1960, v. XIX, № 1).
2. *Завадовский Ю. Н.* Зинджский субстрат в Северной Африке.— В кн.: Семитские языки. Вып. 2. Ч. I. М., 1965.
3. *Ольдерогге Д. А.* Денг-карлики южных стран — ТИЭ, т. 109. Л., 1980 (Африканский этнографический сборник. XII).
4. *Freeman-Grenville G. S. P.* Medieval evidence for Swahili.— Swahili, 1959, № 29/1.
5. *Tolmacheva M.* The Zanj language.— Swahili, 1975, v. 45/1.
6. *Wing J. van.* La plus ancien dictionnaire bantu. Louvain, 1928.
7. *Ольдерогге Д. А.* Система родства баконго в XVIII в.— ТИЭ, т. LII. М.— Л., 1959 (Африканский этнографический сборник. III).
8. Regulae quaedam pro difficillimi Congensium idiomatis faciliori captu ad grammaticae normam redactae AF. Hyacintho Brusciotto à Vetralla concionatore Capuccino Regni Congi Apostolicae Missionis Praefecto. Romae, Anno MDCLIX (существует английский перевод: Grammar of the Congo language as spoken two hundred years ago translated from the Latin of Brusciotto. Ed. with preface by H. Grattan. London, 1882).
9. *Жуков А. А.* Именные классы в языках банту (из истории изучения).— Вестник ЛГУ, 1964, вып. 4, № 20.
10. *Rask R.* Vejledning til Akra- Sproget på Kysten Ginea, med et Tillæg om Akvambuisk. København, 1828.
11. En nyttig grammatikalsk Indledelse til tvende hidintil ganske ubekjendte Sprog Fanteisk og Akraisk, på Guldkysten udi Ginea. Kh., 1764. 62 Sider.
12. *Debrunner H. W.* Presence and prestige: Africans in Europe. Basel, 1979.
13. *Isert P. E.* Reise nach Guinea. Kopenhagen, 1788.
14. *Nørregård G.* Danish settlements in West Africa 1658—1850. Boston, 1966.
15. Samlede Afhandlinger af Rask R. K. Ung. af. Rask H. K. I—III. 1834—1838.
16. *Vater J. S.* Litteratur der Grammatiken, Lexika, und Wörtersammlungen aller Sprachen der Erde. Berlin, 1847.
17. *Жуков А. А.* О некоторых материалах Людвига Крапфа в Галле.— В кн.: Актуальные проблемы развития языков и литератур Африки: Тезисы первой научной конференции восточного факультета ЛГУ по африканистике. Л., 1975.
18. *Жуков А. А.* О лингвистических работах Людвига Крапфа.— В кн.: III Всесоюзная конференция африканистов «Африка в современном мире»: Тезисы докладов. Вып. II. М., 1979.
19. *Ewald H. von.* Ueber die Völker und Sprachen südlich von Aethiopien.— Zeitschr. der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG), 1847, Bd. I, Hf. 1.
20. *Gabelentz H. C.* Ueber die Sprache der Suaheli.— ZDMG, 1847, Bd. I, Hf. 3.
21. *Krapf J. L.* Les langues et les peuples de le région maritime de l'Afrique australe.— Nouvelles annales des voyages et des sciences geographiques, 1849, T. IV.
22. *Pott A.* Verwandtschaftliches Verhältniss der Sprachen von Kaffer und Kongo-Stamme untereinander.— ZDMG, 1848, Bd. II.
23. *Pott A.* Ueber die Kihiau-Sprache.— ZDMG, 1852, Bd. VI, Hf. 3.
24. *Pott A.* Sprachen aus Afrika's Innerem und Westen.— ZDMG, 1854, Bd. VIII.
25. *Bleek W.* De nominum generibus Linguarum Africae australis, Copticae, Semiticarum aliarumque sexualium. Bonnee, 1851.
26. *Bleek W.* Ueber afrikanische Sprachenverwandtschaft.— Monatsberichten der Geographischen Gesellschaft in Berlin, 1853, Bd. X.
27. *Bleek W.* Über den Ursprung der Sprache als erstes Kapitel einer Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Weimar, 1868.
28. *Steinthal H.* Die Mande-Neger-Sprachen. Berlin, 1867.
29. *Steinthal H.* Vergleichende Darstellung eines afrikanischen Sprachstammes. Berlin, 1866 (?).
30. *Koelle S. W.* Polyglotta Africana; or a comparative vocabulary of nearly three hundred words and phrases in more than one hundred distinct African languages. London, 1854. (Unveränderter Nachdruck — Graz, 1963).
31. *Köhler O.* Neuere Ergebnisse und Hypothesen der Sprachforschung in ihrer Bedeutung für die Geschichte Afrikas.— Paideuma, 1973—1974, Bd. XIX—XX, S. 162—199.
32. *Köhler O.* Geschichte und Probleme der Gliederung der Sprachen Afrikas.— In: Die Völker Afrikas und ihre traditioneller Kulturen. Hrsg. von Baumann H. Th. I. Wiesbaden, 1975.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1982

ГОЛЫШЕНКО В.С., ДЕМЬЯНОВ В. Г., КОТКОВ С. И.

ОБ ОДНОМ «ОСВЕЩЕНИИ» ИЗДАНИЙ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА

Естествен тот большой интерес, который вызывают в широких кругах лингвистов и представителей смежных специальностей лингвистические издания памятников древнерусской и старорусской письменности, подготовленные за последние годы Сектором лингвистического источниковедения и исследования памятников языка Института русского языка АН СССР. Об этом свидетельствуют как многочисленные научные работы, построенные на материалах данных публикаций, так и рецензии на них в нашей стране и за рубежом. Авторы рецензий в целом положительно оценивают работы Сектора, вместе с тем указывают и на некоторые недостатки изданий. Критика носит позитивный, строго научный, уважительный характер, безусловно способствуя улучшению изданий. Статья М. Ф. Мурьянова «О Минее Дубровского» (ВЯ, 1981, № 1) занимает в этом отношении особое положение.

М. Ф. Мурьянов, с одной стороны, склоняется к мысли, что требования лингвистов, литературоведов и историков к изданиям памятников славянорусской письменности «похоже ...практически несовместимы» (с. 121), с другой стороны, находит нецелесообразным «издавать один и тот же памятник одновременно трижды, чтобы один вариант служил только лингвистам, другой ориентировался на нужды поэтики, а третий был оформлен во вкусе палеографов» (с. 121). Заметим: лингвистическое издание той или иной древней рукописи без палеографического исследования абсолютно невозможно, поэтому противопоставление лингвистических изданий палеографическим по меньшей мере странно. Неужели необходимо доказывать, что для лингвистической характеристики рукописи небезразлично, скажем, то, создавалась она одним или несколькими писцами? А это, как и датирование не имеющей прямой даты рукописи, и многое другое, составляющее историю рукописи, устанавливает палеография. Издания «во вкусе палеографов» представляются нам загадочными, поскольку палеографы работают непосредственно по рукописям.

Автор статьи сочувственно цитирует мнение Г. Биркфелльнера о «Правилах лингвистического издания памятников древнерусской письменности» (М. 1961), которые характеризуются как «необычно сильно склоняющиеся в историзм, придерживающиеся линии палеографической эдиционной техники» (с. 121). С нашей точки зрения, подобное сильное склонение в историзм и всемерное использование палеографии являются теми основами, без которых вообще немыслимо лингвистическое издание древних текстов. Адресуя нам упрек Г. Биркфелльнера в приверженности к так называемой палеографической эдиционной технике, М. Ф. Мурьянов далее, тем не менее, вынужден признать: «именно палеографической стороной сильны наши публикации по лингвистическому источниковедению, это общепризнано» (с. 138).

По словам М. Ф. Мурьянова, Г. Биркфелльнер констатировал, что наши правила «не стали основой для международной стандартизации, которая остается острой потребностью...» (с. 121). Между тем Г. Биркфелльнер по этому поводу не предъявляет нам претензий, а лишь указывает, что несмотря на выдвижение проблемы стандартизации в работах ряда ученых и появление наших правил, вопрос о стандартизации эдиционной техники применительно к области древней славянской филологии остает-

ся самым актуальным и предлагает проект эдиционных правил, основанный на опыте издания античных и византийских текстов [1]. М. Ф. Мурьянов высказывает сожаление, что проект правил, предложенный Г. Биркфелльнером, в кругу русистов не вызвал отклика, а вместе с тем и сам сомневается в пригодности данных правил. «Возможно,— признается он,— венский проект недостаточно реалистичен,— например, тем, что сформулирован он на неславянском языке, а критический аппарат к древнему тексту в нем предлагается писать по-латыни...» (с. 121). Обратимся к этому проекту. Хотя Г. Биркфелльнера не удовлетворяет наша ориентация на палеографическую эдиционную технику, и он не в состоянии обойтись без помощи палеографии, если предполагает отмечать характерные особенности письма каждого писца и указывать ошибки чтения [1, с. 23]. Упрекая нас в приверженности к палеографической эдиционной технике, Г. Биркфелльнер никак не аргументирует преимущество иной (редуцированной в палеографическом отношении?) эдиционной техники. Точно так же обстоит дело и относительно вменяемого нам сильного склонения к историзму: необходимость его редукции тоже не объясняется. Положения, лишенные обоснования, естественно, не могли послужить предметом научного обсуждения, почему и не вызвали отклика со стороны источниковедов-русистов.

А вообще говоря, проект Г. Биркфелльнера не свободен от таких решений, которые вряд ли согласуются с точностью воспроизведения текста. Назовем хотя бы удаление из текста всех надстрочных знаков, включая ударения и титла; их начертания и функции рекомендуется описывать во введении [1, с. 24]. Неприемлемо и привнесение в текст современной пунктуации: прямая речь, полагает Г. Биркфелльнер, может выделяться в тексте апострофом [1, с. 24]. Снижает эдиционную точность и правило, по которому сокращения в тексте в основном раскрываются и восстанавливаются с учетом данных языка основного текста [1, с. 24]. Неясно, почему раскрытие сокращений производится только в основном. Усматривая в наших эдиционных деяниях некую «закрытость», М. Ф. Мурьянов провозглашает: «Проблема единых правил должна открыто обсуждаться, а будучи принятыми, правила, в силу живого, творческого характера науки, должны играть роль не догмы, а руководства к действию» (с. 121). В ответ на этот риторический пассаж позволительно напомнить, что, например, наши «Правила» в свое время открыто обсуждались и 20 лет назад были опубликованы, стали достоянием научной общественности. Мы далеки от мысли, что они безупречны и не нуждаются в совершенствовании. Однако так называемое совершенствование за счет отхода от историзма и глубоких палеографических исследований, с нашей точки зрения, снижает уровень эдиционных работ. А если говорить о единых правилах, способных удовлетворить лингвистов, литературоведов и историков, то сетования нашего оппонента должны быть адресованы, помимо нас, и к этим специалистам.

Призывая нас к современным решениям, вроде редукции историзма и палеографии в издании древних текстов, М. Ф. Мурьянов далее объявляет основную задачу своей статьи: «...прежде чем выдвигать те или иные требования к смежным дисциплинам, самокритично посмотрим, нет ли недостатков в осуществленных лингвистических изданиях...» (с. 121). Заранее скажем: есть. В то же время внесем необходимые уточнения: требования к смежным дисциплинам (подразумевается: с нашей стороны) известны лишь автору приведенной цитаты, а самокритичное рассмотрение недостатков лингвистических изданий ему совершенно недоступно, так как памятников письменности он не издавал. Следовательно, рассмотрение является исключительно критическим, обращенным только к нам.

К сожалению, кроме верных суждений, в статье М. Ф. Мурьянова немало и таких, которые представляются спорными.

Вызывает недоумение, что «качество издания текста» рассматривается на примере статейной публикации, которая таким образом преподносится как образец наших изданий памятников.

Предлогом для написания статьи послужила небольшая публикация

Е. Э. Гранстрем [2], вышедшая в свет десять лет назад. Представленные в статье древние тексты занимают всего 17 страниц малого формата. Публикация преследовала скромную цель. «Считаем полезным,— сообщалось в ней,— опубликовать в сопоставлении с греческим оригиналом фрагмент минеи на июнь месяц, XI в.» [2, с. 25].

Словно читая мысли редактора, включившего минейный фрагмент в сборник, М. Ф. Мурьянов информирует научную общественность: «Минея Дубровского, насчитывающая 15 листов пергамента, слишком мала, чтобы стать содержанием книги обычного объема, но и слишком велика, чтобы вместиться в статью. Было принято промежуточное решение — издать в виде статьи часть Минеи...» (с. 122). Таким нехитрым способом частичное освещение фрагмента Минеи (в отношении к греческим параллелям) превращается в ее обстоятельное издание. Иначе как некорректным приемом это не назовешь. В публикации фрагмента Минеи наш критик обнаруживает такой дефект, как отсутствие палеографического описания (с. 138), очевидно, забывая на сей раз о своем равнодушном отношении к палеографии и не понимая того, насколько ошибочным может быть палеографическое описание рукописи по фрагменту в сравнении с описанием всей рукописи. Особое негодование критика вызывает то, что Е. Э. Гранстрем привела греческие параллели не ко всем строфам фрагмента Минеи. Мы не видим в этом криминала. Странно, что при всей библиографической оснащенности статьи М. Ф. Мурьянова автор умалчивает о большой работе, проделанной советскими учеными по изучению рукописных минейных текстов (см., например, [3—4]), хотя пройти мимо этих работ, изучая Служебные минеи, в настоящее время уже нельзя.

Удивительно, что приведение в публикации Е. Э. Гранстрем [2] параллелей из рукописей ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, а не из печатных изданий, не заслуживает одобрения критика. «Четыре опознанных текста,— заявляет он категорически,— не было нужды искать в рукописях...» (с. 123). Разве введение в науку новых рукописных источников из отечественных хранилищ перестало быть достоинством?

Обращаясь к нашим изданиям, М. Ф. Мурьянов указывает на частные моменты в правилах воспроизведения и комментирования текста. Поводом для критики, обращенной ко всем лингвистическим изданиям памятников, осуществленным Институтом русского языка АН СССР, оказываются: употребление пометы *так в ркп.*, неприменение строчных букв в именах собственных и знака переноса в изданиях древнейших текстов. Едва ли можно согласиться с рекомендациями М. Ф. Мурьянова в отношении введения в публикации древних памятников прописных букв, знака переноса и сокращения случаев употребления пометы *так в ркп.* Во всяком случае, эти детали эдиционного воспроизведения древних текстов получили признание со стороны специалистов и нареканий не вызывают.

Отсутствие знака переноса в изданиях древних текстов, передаваемых строка в строку, а также воспроизведение, в соответствии с рукописной традицией, имен собственных со строчной буквы дает повод автору статьи предостерегать научную общественность: блюстители «палеографической точности» могут довести дело до изданий без деления текста на слова (с. 140). Между тем, эти детали эдиционного воспроизведения древних текстов согласуются с их словоделением. Абсурдность предположения об издании сплошного текста наборным способом очевидна.

Что касается употребления пометы *так в ркп.*, то она далеко не всегда означает ошибку писца, как полагает М. Ф. Мурьянов (с. 139), а выполняет и другую, не менее существенную функцию — предварительно ориентирует исследователя в некоторых лингвистических особенностях текста. Поэтому мы не можем согласиться с исключением этой пометы вообще, как рекомендует поступить М. Ф. Мурьянов, ссылаясь на опыт публикаторов античных и византийских текстов, которые идут по этому пути, «более экономному» (с. 139). Применение подобной экономии при издании древнерусских текстов мы не находим целесообразным. В этих текстах, даже переводных, ощущаются многообразные связи с живой историей языка, а проявления последних требуют более детального коммен-

тирования. Предлагается нам и другой выход: проставлять *так в ркп.* «при каждой мелочи» (с. 139). Полагаем, однако: реальность «мелочей», которые в рукописи повторяются или обнаруживают известную регулярность, в подтверждении пометой не нуждается.

Статья М. Ф. Мурьянова обнаруживает недостаточные познания автора в вопросах славянской палеографии. Только этим можно объяснить скептическое отношение его к тому вниманию, которое издатели Выголексинского сборника [5] уделяют *о* очному (с точкой внутри) и *о* с крестиком внутри, включая их, в соответствии с традицией, в перечень букв, употребляемых в рукописи. Дело в том, что в Выголексинском сборнике *о* очное и *о* с крестиком, так же, как и ѡ, встречается только в начале слова и, таким образом, вопреки мнению М. Ф. Мурьянова, не связаны с *о* «микроном» (с. 122). Следует также иметь в виду, что случаи употребления в рукописях *о* и ѡ могут служить материалом для фонетических исследований (см., например, [6]).

В написании «и сиѡна М. Ф. Мурьянов усматривает «позиционно закономерное выпадение оглушенного *з* перед *с-*» (с.139). Неясно, что «позиционно закономерно» в этом случае для М. Ф. Мурьянова — «выпадение» или оглушение *з* перед *с*? На самом деле в написании *и сиѡна* отражен результат регрессивной ассимиляции на стыке двух слов: предлога *из* и словоформы *сиѡна* (род. ед.). Исходя из этого, о выпадении звука не может быть речи, т. к. в соответствии с *з с* в данном случае, полагаем, произносился как долгий *с*. В этом случае можно говорить о «выпадении» только буквы *з*.

Строго спрашивая с других публикаторов и призывая их к самокритичности, М. Ф. Мурьянов в то же время сам допускает неточности в воспроизведении древних текстов.

Упрекая Е. Э. Гранстрем в нескольких допущенных ошибках, в число которых, можно думать, входят и опечатки, например, **глы** вм. **глы**, где титло исчезло, скорее всего, по вине типографии, М. Ф. Мурьянов сам допускает неточности в воспроизведении текста. Цитируя текст еще не изученной ни палеографически, ни лингвистически Служебной Минеи XI—XII вв., М. Ф. Мурьянов не соблюдает единства при воспроизведении аналогичных написаний с выносными буквами. В одном случае выносное *с* просто внесено в строку и не выделено при этом курсивом — **быс** (с. 130), в другом — сохранено выносное *в* в междустрочье, а рядом, справа от него помещено титло: **извѣстова** (с. 138). Кстати, титло, которое должно было бы стоять над словом **быс**, в другом случае оказывается над написанным полностью, без сокращения, словом **мъсть**, являющимся предметом многостраничного рассуждения автора. Понимает ли М. Ф. Мурьянов, что такая «опечатка», как **мъстъ** вм: **мъсть**, гораздо серьезнее, нежели **глы** вм. **глы**?

Недостаточная осведомленность в вопросах соотношения оригиналов и списков в древней славянской письменности приводит М. Ф. Мурьянова к предположению, от которого он сам, естественно, приходит в ужас: «Богоматери приписано желание мести — ошибка в догматическом отношении чудовищная. . .» (с. 129). Основанием для такого предположения послужило написание **мьсть** (ГИМ, Син. 167, л. 67) вместо **мъстъ**. Объяснение этого следует искать скорее всего в орфографии одноеревой южнославянской рукописи, которая могла послужить оригиналом древнерусского списка. Следовательно, **мьсть** можно понимать как **мъстъ** «муст», а не «месть».

Происхождение отдельных написаний М. Ф. Мурьянов выводит из ошибок диктанта (с. 135—136). В связи с этим напомним известные всем, кто работает с рукописными источниками, слова Д. С. Лихачева: «В древней Руси, как и в Западной Европе, писцы сравнительно редко писали под диктовку. Когда-то под диктовку писали писцы античных имперских канцелярий. По свидетельству автора жития Федора Студита, последний также диктовал свои произведения. Можно предполагать, что частично

диктовал свои произведения Иван Грозный. Но по большей части писцы переписывали текст не со слуха, а имея перед глазами оригинал или даже несколько оригиналов» [7, с. 59—60]. И далее: «Именно путем „внутреннего диктанта“ в текст проникают специфические изменения, которые могут навести на мысль неопытного текстолога, что писец писал „со слуха“» [7, с. 70].

Укажем случаи терминологической неточности в отношении понятий, связанных с древней письменностью.

Непонятно, что означает выражение «обычный алфавит» (с. 121), употребленное в рассуждении о Выголексинском сборнике, рукописи, написанной в XII в., в эпоху становления и развития древнерусской графики и орфографии. Неясно, в каком значении употребляется выражение «греческий первоисточник» (с. 124) в отношении отдельных феотокионов Служебной Минеи Дубровского.

Вызывает сомнение привлечение М. Ф. Мурьяновым некоторых источников. Он находит, например, опору в письме зарубежного коллеги, который, по собственному признанию, «не понимает по-церковнославянски» (с.135).

Ошибки и тем более многие недостатки рассматриваемой статьи могли быть устранены на редакционной стадии ее подготовки, но этого, к сожалению, не случилось.

Обратим внимание хотя бы на следующее невнятное высказывание автора: «В русских условиях **виноградъ** стал обозначать любой фруктовый сад, а **вино** — напиток, изготовленный не только из винограда, лишь бы он был алкогольным, в том числе и так называемое хлебное вино, под которым разумеется водка. Возможно, этот вербальный сдвиг заменил передвижение границы виноградарства на север, которое имело место в средневековой Западной Европе под давлением церковной потребности в нефальсифицированном литургическом вине, когда нельзя было полагаться на бесперебойную дальнюю доставку» (с.131—132). Замена вербальным сдвигом реального передвижения границы виноградарства вызывает недоумение.

Заметим здесь же, что в рассматриваемой статье имеется очень много рассуждений по поводу фактов, имеющих лишь ассоциативную связь с предметом изложения, но чаще всего вообще не имеющих к нему никакого отношения. Например, в примеч. 117 на с. 139 М. Ф. Мурьянов пишет: «Написание и сиѡна „из Сиона“. . . Конечно, позиционно закономерное выпадение оглушенного *з* перед *с* — мешало и мешает пониманию синтаксической связи, визуально и на слух, связи очень важной — ведь Сион есть **пꙋть земли** (Иез. 38, 12)».

Ошибка в словоделении **мъстъми** дает повод автору занять 9 страниц журнала рассуждениями об истории виноделия, затрагивающими детали, не имеющие отношения к толкованию значения слова *вино* в данном контексте (см., например, примеч. 82). Поскольку внимание автора сосредоточено на древнейшем периоде письменности (автор упоминает о «славянских переводчиках»), остается непонятным, к какому времени он относит определение слова *вино* как «водка»: автор статьи ссылается при этом на «Словарь русского языка XI—XVII веков»(вып. 2, М., 1975), в котором данное значение иллюстрируется примерами XVI—XVIII вв., взятыми из памятников не литургических.

В подкрепление своих положений автор зачастую ссылается на мнение авторитетных специалистов, не затрудняя себя порой проникновением в существо излагаемых ими мыслей. В. М. Жирмунский в статье [8] (ссылку на нее см. на с.140) обсуждает общие вопросы, связанные с изучением слова как единицы языка в языках различных типов. Вопрос же о графических границах слова (какое написание принять — слитное или раздельное) применительно к практическому эдиционному решению (а именно его касается М. Ф. Мурьянов) нуждается в обсуждении не в общем плане, а в конкретно-исторических, сопоставительно-грамматических данных. Ссылка М. Ф. Мурьянова на работу Ф. П. Филина [9] для подтверждения того, что словоформа *силою* вместо *солью* в текстах Миней

XI—XII вв.— один из ранних украинизмов, бьет явно мимо цели (с.135). Ф. П. Филин пишет о раннем удлинении *о* и *е* в новых закрытых слогах, а не их качественном изменении. Если бы М. Ф. Мурьянов ознакомился целиком с разделом о судьбе исконных *о* и *е* в новых закрытых слогах, то его, несомненно, заинтересовало бы вполне определенное замечание Ф. П. Филина: «Первый более или менее надежный пример передачи *і* на письме приводит А. Е. Крымский: *иткилѣ* (= *відкіля*) (буковинская грамота 1436 г.)» [9, с. 225], и он не стал бы искать эту передачу в памятниках XI—XII вв. Ссылаясь на «Славянскую кирилловскую палеографию» Е. Ф. Карского (Л. 1928), М. Ф. Мурьянов приписывает ему понимание *о* очного и *о* с крестиком как разновидностей «одной и той же буквы» (с.122). Между тем Е. Ф. Карский, отмечая случаи их употребления в памятниках славянорусской письменности, не определяет их функций. Такие отрывочные цитаты из высказываний отдельных ученых, изолированные от широкого контекста, способны лишь ввести в заблуждение читателей.

Упреки к нашим изданиям нередко сформулированы таким образом, что читатель получает неверную информацию о действительном положении вещей. К примеру: «В самом тексте Изборника указано, что. . . выражение является цитатой из Иезекииля, а в аппарате дан греческий текст — по парафразе у Миня, без более правильного привлечения Септуагинты, которая точнее соответствует славянскому тексту...» (с.132). При таком изложении остается скрытым тот факт, что греческий текст по Миню приведен не специально к библейской цитате, а к отрывку из произведений Иоанна Златоуста, где процитирован текст Иезекииля [10].

В заключение считаем необходимым сказать, что доброжелательная критика, какой бы строгой она ни оказалась, вызовет у всякого ученого чувство благодарности. Как видим, статья М. Ф. Мурьянова — несколько иного свойства.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Birkfellner G.* Slavistische Editionstechnik.— In: Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 24. Wien — Köln — Graz, 1978.
2. *Гранстрем Е. Э.* Греческие параллели к гимнографическим текстам Минеи Дубровского.— В кн.: Русский язык. Источники для его изучения. М., 1971.
3. *Момина М. А.* Песнопения древних славяно-русских рукописей.— В кн.: Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 2. ч. II. М., 1976.
4. *Рогов А. И.* Минеи (справка).— В кн.: Методическое пособие по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 1. М., 1973.
5. Выголексинский сборник. Изд. подгот. Дубровина В. Ф., Бахтурина Р. В., Голышенко В. С. Под ред. Коткова С. И. М., 1977, с. 45—46.
6. *Зализняк А. А.* Противопоставление букв *о* и ω в древнерусской рукописи XIV века «Мерило праведное».— Советское славяноведение, 1978, № 5.
7. *Лихачев Д. С.* Текстология. На материале русской литературы X—XVII вв. М.— Л., 1962.
8. *Жирмунский В. М.* О границах слова.— В кн.: *Жирмунский В. М.* Общее и германское языкознание. Л., 1976.
9. *Филин Ф. П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972.
10. Изборник 1076 г. Изд. подгот. Голышенко В. С., Дубровина В. Ф., Демьянов В. Г., Нефедов Г. Ф. Под ред. Коткова С. И. М., 1965, с. 803.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1982

РЕЦЕНЗИИ

Граудина Л. К. **Вопросы нормализации русского языка.** — М.: Наука, 1980. 288 с.

Л. К. Граудина известна работами в области нормализации русского литературного языка. Ее новая работа — закономерный результат, обобщающий эти исследования. Вместе с тем в монографии подведены известные итоги статистических методов изучения языковой нормы на материале современного русского литературного языка, осмысляемые с позиций углубленного структурно-семантического и функционального анализа лингвистических фактов, присущего советской русистике.

Рецензируемая книга — обстоятельное исследование проблемы грамматических вариантов (в сфере частей речи) в их соотношении с действующими литературными нормами. Описание и анализ существенного среза литературных норм современного русского языка (нормы словоизменения) опираются на хорошо аргументированную теоретическую основу, разработка которой в свою очередь стала возможной благодаря обширному фактическому материалу, представленному как в самой монографии, так и в других работах автора.

Анализ фактического материала проведен с учетом сложившейся в отечественной науке библиографии по нормализации русской литературной речи. Это нашло свое выражение прежде всего в историографическом обзоре (см. первую главу), а также в постоянном обращении автора (в других главах) к фактам речевой практики конца XIX — первой половины XX в. и их оценкам в литературе вопроса.

В первой главе «Из истории грамматической нормализации в современном литературном языке» дан анализ кодификации грамматических норм в XIX — XX вв. Он подчинен задачам более полного и точного осмысления актуальных проблем нормализации русского языка в современную эпоху. Изучение предшествующего опыта нормализации и кодификации дает возможность автору в дальнейшем исследовании с бо́льшим основанием наметить известные перспективы движения конкретных норм. Л. К. Граудина убедительно показала, что основную канву истории сознательной нормализации языка составляет ограничение и преодоление стихийных речевых элементов.

В кодификации грамматических норм выделено три основных направления: словари «неправильностей» и ортологические словари, толковые словари, описательные грамматики и грамматические учебники (с. 7). Большой интерес представляют обобщения, касающиеся смены нормативных оценок от эпохи к эпохе и движения самих норм (с. 17), а также степени авторитетности и полноты воспроизведения грамматических норм в рамках разных жанров нормативных трудов. Автор делает вывод, что характер воспроизведения норм с наибольшей определенностью выражен в толковых словарях и в академической грамматике (с. 62).

Обращают на себя внимание страницы, посвященные «Правильности и чистоте русской речи» В. И. Чернышева (§§ 11 — 19). Л. К. Граудина раскрывает непреходящую значимость этого классического труда для углубленной разработки теоретических и исследовательских проблем нормализации современного русского языка, справедливо называя В. И. Чернышева «создателем жанра новой русской стилистической грамматики» (с. 28). Этот раздел книги важен еще и потому, что здесь объективно показана историческая роль русского ученого как одного из основоположников стилистики, получающей именно в начале XX в. статус самостоятельной отрасли филологии.

Обзор современных толковых словарей приводит к убедительному, хотя на первый взгляд и неожиданному выводу о характере отражения ими грамматических норм, поскольку этот аспект, как известно, играет вспомогательную роль в структуре толкового словаря: «Пословная кодификация норм в словарях сделана более тщательно, чем в грамматиках... Если же более углубленно всмотреться в те материалы по грамматике, которые дают в руки исследователя толковые словари,— заключает автор, — картина грамматических норм предстает в широком и разнообразном диапазоне» (с. 29). При этом подчеркивается и на «говорящих» иллюстрациях раскрывается специфичность отражения советскими толковыми словарями грамматических вариантов и характеристики неустойчивых норм, обусловленная во многом «своеобразием и в каких-то чертах даже „непохожестью“ каждого из них» (с. 33).

В этом разделе (§§ 20—24) намечена интересная тема, предполагающая тщательный анализ грамматических помет,— тема, которая существенна не только для нормализаторской проблематики. Предложенный аспект изучения толковых словарей расширяет рамки исследования

словарной статьи, открывает перспективы повышения информативности толковых словарей. Он актуален и для исторического изучения лексикографической практики, поскольку освещает одну из граней своеобразия каждого толкового словаря.

Что касается ортологических словарей, то в книге отмечается, с одной стороны, тенденция к расширению репертуара отображаемых языковых явлений, а также к полноте охвата вариантов и разнообразию сообщаемых сведений о грамматических трудностях современного литературного языка. С другой стороны, доминирующим в кодификации становится принцип опоры на «действующие в жизни нормы» (с. 56).

Воссозданная в первой главе весьма существенная страница из истории отечественной русистики точно соотносится с развитием русской лингвистической мысли, которая, теоретически разрабатывая грамматическую структуру русского языка, с постоянным вниманием относилась к проблемам нормы и нормализации, к вопросам функционирования грамматических форм и конструкций. Эта черта отечественного языкознания прослеживается в трудах Ломоносова и многих крупных ученых XIX — начала XX в. и советской эпохи.

Во второй и третьей главах Л. К. Граудина обсуждает вопросы нормализации, исследования нормы, имеющие методологическое значение. Это прежде всего статистический метод и его применение к проблеме нормы (гл. 2), вариативность нормы (гл. 3). Много внимания уделено уточнению и обоснованию понятий и категорий как непосредственно связанных с проблемами нормы и нормализации, так и с принципами и методами анализа общелитературного речевого обихода. Автор стремится выстроить эти понятия и категории в определенную систему.

Основной пафос книги Л. К. Граудиной — обоснование статистического метода в применении его к проблеме языковой нормы, а также к узусу. Вторая глава посвящена в основном обоснованию статистического метода применительно к нормализации литературного языка, обоснованию и выяснению реальных, действительных возможностей этого метода в сфере норм современного русского языка. В главе же четвертой находим конкретный анализ современных норм словоизменения при помощи статистического метода в соответствии с тем пониманием возможностей и границ его применения, которое дано во второй главе и освещением проблемы вариантности в третьей главе.

Вторая глава выясняет возможности статистического метода в сфере нормализации. Уточняя представление о статистической природе нормы, понятие статистической нормы, выясняя возможности и границы статистического метода при анализе узуса, автор занимает ясную позицию в отношении статистической интерпретации норм, выступая против ее абсолютизации в лингвистическом исследовании. Л. К. Граудина исходит из социально-исторической природы языковой нормы (с. 80). В этом вопросе автор опирается на то понимание нормализации, которое получило свое выражение в трудах С. И. Ожегова [1] и отражает принципиальную постановку данного вопроса в советской русистике [2].

В начале второй главы поставлен вопрос о месте статистического критерия в ряду других критериев нормы, играющих основополагающую роль для ее научного осмысления. Теоретическое освещение проблемы нормы (гл. 2 и 3) и конкретное исследование современных норм словоизменения (гл. 4) убедительно доказывают первостепенную значимость статистического критерия для определения наших представлений о норме.

Уместно особо отметить, что монография не только устанавливает действительные границы применения статистического метода в лингвистическом исследовании. Она также демонстрирует несомненные достоинства этого метода как в углубленном исследовании (на базе строго систематизированного и интегрированного обширного фактического материала) и уточнении сложившихся представлений об известных процессах и явлениях, характерных для современного русского языка (см. особенно раздел об аналитизме — с. 146—171), так и в установлении таких сторон грамматической структуры, весьма существенных для ее характеристики в синхронии и диахронии, которые традиционным методам не доступны. Укажем лишь на одну такую закономерность: «грамматические категории и классы подвержены явлениям варьирования в неравной степени» (с. 121). Устанавливается в самых общих чертах сравнительная доля одних групп вариантов относительно других по частям речи и отдельным категориям и классам слов (с. 121—124, табл. 6).

Изучение норм словоизменения современного русского языка по охвату вариантов в данной книге наиболее полное. Вместе с тем работа построена на материале языка газеты. В связи с этим автор намечает программу дальнейшего исследования: «Важно уточнить характер нормы и ее особенности в других стилистических сферах языка, например, в устных диалогах, научной речи, деловых документах и т. д.» (с. 276).

Однако и полученные на газетном материале данные, выводы достаточно репрезентативны, чтобы судить о функциональном статусе норм словоизменения, об их удельном весе в современной речевой коммуникации, о соотношении с другими типами грамматических вариантов современного русского языка. И с этой точки зрения глубоко закономерно, что для исследования вариантности в сфере нормы выбран именно язык газеты. Эта стилевая сфера особенно в послевоенное время стала лабораторией, «испытательным полем» наиболее широкого спектра речевых инноваций, важных процессов развития лексики и грамматической структуры русского литературного языка, не говоря уже о развитии его стилистической системы. Авторитетность газетного материала ранее была подтверждена обращением к нему в изучении активных про-

цессов развития русского синтаксиса [3—4].

Наиболее значительна в теоретическом отношении третья глава «Теоретический и методологический подходы к изучению вариантов в нормативном аспекте». Автор предлагает свою интерпретацию проблемы вариантности, существенно уточняя и конкретизируя понятие варианта. На материале преимущественно морфологического варьирования установлено категориальное различие между грамматическим вариантом и грамматическим синонимом, уточняется содержание терминов «варианты слов», «варианты форм» и «форма слова».

То понимание сущности грамматических вариантов, которое предлагает Л. К. Граудина, весьма убедительно, поскольку построено на представлении о системности наблюдаемого грамматического явления и функциональном подходе к сопоставляемым в рамках одной вариативной *парадигмы речевым фактам. На такой* методологической основе выдвигаются критерии отбора грамматических вариантов (см. § 5 гл. 3). И именно благодаря выдвинутым критериям словообразовательные варианты включены в сферу грамматической вариантности, наряду с вариантами морфологическими и синтаксическими. При этом осознается все своеобразие словообразовательных вариантов (см. с. 110).

Столь внимательное выяснение сущностных признаков, показателей грамматических вариантов и особенно вариантов форм необходимо автору для дальнейшего исследования грамматической вариантности при помощи статистического метода, который предполагает массовость отбора максимально «чистых» по своим признакам однотипных фактов речи.

В монографии получают обоснование и содержательное наполнение такие важные категории анализа, без которых (и это однозначно показано автором) нельзя полноценно изучить статическое состояние нормы и ее динамику, как «частотная зона вариантности» и «фазы вариантности».

В классификации грамматических вариантов по количественному *признаку* («по употребительности») учитывается также и характер количественных соотношений внутри каждой классификационной группы. Автор обнаруживает известную закономерность между «количественным» типом вариантов и характером количественных соотношений внутри каждого из типов (с. 122—126).

Л. К. Граудина не ограничилась констатацией «степени употребительности» и установлением характера количественных соотношений вариантов внутри наблюдаемой вариантной парадигмы. Ей удалось за этими данными увидеть и — самое ценное — объективизировать известный сдвиг в эволюции самого наблюдаемого явления, развитие известного языкового элемента, движение в изменении его функционирования, движение конкретной нормы. С этой точки зрения «фаза вариантности» (см. § 8 гл. 3) приобретает большую значимость как категория, открывающая заманчивые перспективы в изучении динамики нормы, изменений грамматических форм, эволюции их функционирования в конкретных условиях речевой коммуникации на объективной, теоретически аргументированной основе. Автор выдвигает понятие «сила и мера вариантности» (с. 143). Это понятие специально не раскрывается. Однако оно не менее существенно в системе анализа нормы, чем «частотная зона» и «фаза вариантности». Эта операционная категория анализа, по всей вероятности, должна быть интерпретирована как производная от «частотной зоны вариантности» и непосредственно связанная, во многом определяемая «фазой вариантности».

Особо надо сказать о таблицах. Они неотъемлемый содержательный компонент композиции книги, причем не только те, что включены в текст, но и вынесенные в Приложение. На эту деталь научного аппарата тем более следует обратить внимание, что в современных лингвистических исследованиях все чаще обращаются к статистике. И чрезвычайно важной становится «культура» составления таблиц, их место в структуре работы и главное — подача и интерпретация табличного материала. Между тем научно-справочный аппарат рецензируемой книги явно недостаточен. Индекс форм, словоформ, слов, конструкций, предметный указатель в значительной степени повысили бы информативность издания.

Книга Л. К. Граудиной, написанная в изящной манере и вместе с тем строго научно, без ставших в последнее время «модными» квазиученых ухищрений слога, демонстрирует глубину филологической культуры автора, четкость его методологических позиций, высокий профессионализм лингвистического анализа. Монография существенно продвигает разработку теории вариантности норм и конкретное исследование норм современного русского языка.

Бельчиков Ю. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ожегов С. И.* Очередные вопросы культуры речи.— В кн.: Вопросы культуры речи. Вып. 1. М., 1955, с. 14—15.
2. *Филин Ф. П.* Несколько слов о языковой норме и культуре речи.— В кн.: Вопросы культуры речи. Вып. 7. М., 1966.
3. *Шведова Н. Ю.* О некоторых активных процессах в современном русском синтаксисе (Наблюдения над языком газеты).— ВЯ, 1964, № 2.
4. *Шведова Н. Ю.* Активные процессы в современном русском синтаксисе (гл. Словосочетание). М., 1966.

Одинцов Г. Ф. **Из истории гиппологической лексики в русском языке.** — М.: Наука, 1980. 224 с.

В последние десятилетия исследования тематических групп лексики занимают основное место в литературе по русской исторической лексикологии. Заметно общее повышение теоретического уровня этих работ, совершенствование методики анализа, расширение круга привлекаемых источников. Книга Г. Ф. Одинцова в этом отношении показательна.

Несмотря на то, что отдельным названиям лошади уделялось много внимания в этимологических и историко-лексикологических работах (литература в полном объеме использована и критически оценена автором), столь глубокое изучение этой важной лексической группы предпринято впервые. Поставлена цель «описать употребление и семантику русских названий лошадей в XI—XVII и нач. XVIII в. в тесной связи не только с языковыми особенностями (например, со спецификой диалектного и общерусского словообразования), но и с историческими судьбами русского народа, с изменениями, происшедшими за этот период у всех народов Европы» (с. 11). Культурно-историческому аспекту изучения данной группы слов, действительно чрезвычайно важному, уделено в работе большое внимание.

Источниками работы служат словарные картотеки Института русского языка АН СССР и многочисленные изданные и рукописные памятники русской письменности. Приступая к анализу материала, автор счел необходимым охарактеризовать письменные источники «древнерусского» и «старорусского» периодов как различные по содержанию и языковым особенностям: в XI—XIV вв. в основном это памятники литературные (применено наименование «неделовые»), в XV—XVII вв.— деловые документы. С характером источников связываются различия в методике анализа: «древнерусские памятники изучались чаще всего текстологически, а старорусские — статистически» (с. 12). Правда, там, где имеется массовый материал, он обобщен в таблицах и для древнерусского периода (с. 86).

Не совсем ясно применяемое в работе наименование «общерусские памятники письменности XI—XVII вв.» (с. 9). Едва ли устарело высказывание А. А. Потебни: «Исследователь должен помнить, что с первых памятников письменности он имеет дело с образцами не всего русского языка, а лишь некоторых его частей» [1]. С излишней скрупулезностью цитируются рукописи, в том числе XVII в.: воспроизводятся все надстрочные знаки, указаны границы строк и листов, что в работе по исторической лексикологии выглядит часто лишь как информация о возможностях академической типографии.

В книге отдельно рассмотрены «Древнерусские названия лошадей» (глава I) и «Старорусские названия лошадей» (глава II), но в процессе анализа материала выясняется, что традиционное разделение на XI—XIV и XV—XVII вв. для данной тематической группы роли не играет. Во II главе приведен также список кличек лошадей по источникам XVII в.

Основная часть названий распределена по лексико-семантическим группам (это понятие было определено Ф. П. Филиным [2]), например: *конь — комонь — фарь*; *осьля — клюся — мъщя* и т. п. Ряд терминов включен в несколько таких объединений, некоторые названия не вошли в группы. Признавая своеобразие судьбы каждого слова в языке, автор описывает большинство терминов монографически. «Монографии» расчленены по «синхронным срезам» в тех случаях, когда слово активно употребляется на протяжении всего рассматриваемого периода XI—XVII вв. Общий словник, помещенный в конце книги, содержит 163 нарицательных имени. История целого ряда названий рассмотрена впервые. Для некоторых лексем Г. Ф. Одинцовым установлена более ранняя фиксация по памятникам письменности (*кляча*, *стригун* и др.).

Примерами полного и очень тщательного анализа контекстов, всех употреблений могут служить разделы, посвященные терминам *фарь* (с вариантами) и *комонь* — оба в значении «ценная верховая лошадь». Автор стремится не только выяснить источник термина, показать его бытование в языке, но и вскрыть причины исчезновения слова, демонстрируя тем самым большие «объяснительные» возможности историко-лексикологического анализа. Так, широкое распространение арабизма *фарас* в тюркских, индоевропейских, семито-хамитских языках было обязано большому влиянию арабской лошади на коневодство Запада и Востока в средние века, а исчезновение термина началось по мере того, как были выведены другие (неарабские) быстроаллюрные породы и уменьшилось значение верховой лошади в военных действиях. В русском языке (преимущественно на юго-западе) термин поддерживался благодаря живому контакту с греками; последнее употребление его — в произведении XV в. в связи с упоминанием о падении Константинополя.

С особой «терминологичностью» гиппологических названий связывается их «семантическая взаимообусловленность», прослеживаемая на протяжении всей истории слова. Так, колебания в употреблении древнерусского, тоже юго-западного диалектного названия *комонь*, семантически сближающегося в XV—XVI вв. с *конь*, объяснены изменениями в употреблении слова *конь*, происходившими в свою очередь «под натиском заимствованного *лошадь*» (с. 31). Воспрепятствовало распространению с юго-запада названия *комонь* широкое вторжение в XV в. слова *аргамак* (с. 31—32).

Методика полного анализа контекстов, в которых употребляются все члены лексико-семантической группы слов, дает интересные результаты при изучении слов с «затемненной» семантикой, таких, например, как *клюся* «лошак» и «лошаденка» (с. 59—72) [см. 3].

Естественно для данной работы особое внимание к словам *конь* и *лошадь* как основным русским названиям лошади.

В текстах XI—XII вв. *конь* употребляется в значениях: а) «самец лошади» — древнейшее, праславянское значение; б) «конь боевой»; в) «конь верховой»; г) «лошадь, equus»; д) «животное тягловое, сельскохозяйственное». Есть контексты, в которых слово обозначает «недифференцированное понятие». В текстах XIII—XIV вв., материалы которых рассмотрены статистически, «количество употреблений слова *конь* для указания на лошадь боевую, верховую является самым значительным как в книжно-церковной, так и в деловой письменности» (с. 86).

Из анализа летописных контекстов Г. Ф. Одинцов делает вывод о том, что на юго-западе Древней Руси слово *конь* выступает как синоним к сравнительно редко употребляемому здесь названию *лошадь*. Это подтверждается распространением в этой области названий *комонь* и *фарь* и праукраинским *конь* «лошадь, в том числе тягловая» (с. 34—35).

В целом «стилистическая дифференциация и семантическая специализация слова в XI—XIV вв., как правило, еще не имела места» (с. 92). Только начиная с XV в. термин *конь* оттесняется словом *лошадь*.

Обширные материалы, приведенные в монографии и ранее опубликованной статье [4], еще раз подтвердили вывод С. И. Коткова о неосновательности территориального противопоставления: южновеликорусское *лошадь* — северновеликорусское *конь* [5]. Термин *лошадь* уже в первой своей фиксации обнаружен именно на Севере — в Духовной Климента. В XV—XVII вв. он употреблялся повсеместно в памятниках севернорусской письменности (с. 149—152). Первоначально, по мнению Г. Ф. Одинцова, слово *лошадь* бытует в Ростово-Суздальской земле, что подтверждается, в частности, ссылкой на биографию Владимира Мономаха — в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях слово встречается в его высказывании (с. 37). Бытование слова *лошадь* преимущественно на Севере и сниженный лексико-стилистический оттенок этого термина принимаются во внимание при рассмотрении вопроса о его происхождении. По фонетическим, семантическим и географическим причинам «наиболее вероятным» источником заимствования признается древнебулгарский» (с. 39). Убедительны данные о том, что современная дифференциация в употреблении слов *конь* — *лошадь* в основном сложилась еще в XVII в. (с. 170—174), а также возражение против решающего влияния «старой южновеликорусской нормы» при становлении этой дифференциации (с. 156).

Следует особо отметить, что семантическая разработка важных коневодческих терминов, предложенная Г. Ф. Одинцовым, была использована в «Словаре русского языка XI—XVII вв.», в особенности в вып. 7 и 8 (К — Л).

Из этимологических гипотез, подробно рассмотренных в книге, некоторое сомнение вызывает, пожалуй, только очерк, посвященный слову *бахмат*. Едва ли не как основной аргумент в пользу этимологии К. Менгеса (из *Мухаммад*, *Магомгт*) и против этимологии И. Г. Добродомова (из **baqma at* > **baxmat*) выдвигается «беспрецедентность» случая утраты слова именно как коневодческого термина в тюркских языках и временное его сохранение в восточнославянских и др. Между тем, вообще факты утраты слова в языке-источнике при сохранении его в других языках в истории известны; многочисленные «следы» термина показаны И. Г. Добродомовым в статье, вышедшей одновременно с рецензируемой монографией [6].

Большой интерес для историков русского языка представляют выводы автора, касающиеся хронологии изменений, происходивших в группе слов — названий лошади, а также объема и направления этих изменений. Важнейшим этапом в развитии тематической группы указан XVI в., а это, наверное, справедливо не для одной тематической группы лексики в связи с особой ролью XVI в. в истории Русского государства. В историко-лексикологическом плане любопытно, что «в XI—XV вв. родовое название *конь*... преимущественно обозначает верховую лошадь, тогда как в XVI—XVII вв. родовое название *лошадь* указывает на неверховое, упряжное животное» (с. 199).

Монография Г. Ф. Одинцова может служить образцом исчерпывающего исторического анализа тематической группы лексики. Она, как и ряд других вышедших в последнее время работ, подтверждает настоятельную необходимость и возможность создания обобщающих трудов по русской исторической лексикологии.

Дерягин В. Я.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Потебня А. А.* К истории звуков русского языка. Ч. I. Воронеж, 1876, с. 3.
2. *Филин Ф. П.* О лексико-семантических группах слов.— В кн.: Езиковедски изследвания в чест на академик Стефан Младенов. София, 1957, с. 536—537.
3. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 7. М., 1980, с. 182.
4. *Одинцов Г. Ф.* Еще раз к этимологии слова *лошадь*.— Этимология 1972. М., 1974.
5. *Котков С. И.* Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI—XVII вв. М., 1970, с. 89—93.
6. *Добродомов И. Г.* Из аланского пласта иранских заимствований чувашского языка.— СТ, 1980, № 2.

Pennington A. E. **Grigorij Kotošixin. O Rossii v carstvovanie Alekseja Mixajloviča.** Text and commentary. — Oxford: At the Clarendon press. 1980. 775 p.

Капитальный труд английской исследовательницы А. Е. Пеннингтон посвящен изданию и изучению одного из самых замечательных памятников русской допетровской письменности — сочинения Григория Карповича Котошихина. В своей книге, написанной в эмиграции, Г. К. Котошихин не преследовал литературных целей, но стремился воссоздать основные черты русской жизни и устройства московского правительственного аппарата, что сделало ее ценнейшим справочником по истории России XVII в. В то же время ясный и точный язык бывшего подьячего Посольского приказа давно привлекал внимание лингвистов, сочинение Котошихина неоднократно использовалось в качестве источника в исследованиях по истории русского языка, в лексикографических работах, словарях.

До революции памятник издавался четыре раза, при этом последнее издание, осуществленное под редакцией А. П. Барсукова в 1906 г., принадлежит к лучшим археографическим предприятиям своего времени [1]. Издатели стремились к точной передаче текста подлинника, ими воспроизведены пометы, отмечены листы рукописи, в подстрочных примечаниях оговорены палеографические особенности оригинала. Тем не менее и это издание не отвечает высоким требованиям, предъявляемым в настоящее время филологами к публикациям памятников древнерусской письменности. Так, в нем безоговорочно раскрыты титла, произвольно расставлены знаки мягкости и твердости, вышедшие из употребления буквы ѕ, ѕ, ѡ, ѧ и др. заменены буквами современного алфавита, выносные буквы и концы строк не обозначены, не всегда воспроизведены и оговорены зачеркнутые части текста и т. д.

Новое издание сочинения о России Григория Котошихина, подготовленное А. Е. Пеннингтон, примыкает к серии лингвистических изданий памятников древнерусской письменности (в том числе деловой), осуществленных в нашей стране в последние десятилетия. За образец для него были взяты (см. с. 13) принципы издания скорописных текстов, разработанные в Секторе лингвистического источниковедения и исследования памятников языка Института русского языка АН СССР [2]: при передаче текста издатель не раскрывает сокращений (но и не передает титла) в подлиннике, сохраняет различия между ѹ и *у*, *і* и *и*, *я* и ѧ, ѕ и *з*, *о* и ѡ, выделяет курсивом выносные буквы, воспроизводит пунктуацию оригинала, разделяя текст на слова в соответствии с нормами современного русского литературного языка, и т. д. Непосредственно под основным текстом, но до подстрочных примечаний в издании публикуются имеющиеся в рукописи позднейшие пометы О. Баркгузена. В число подстрочных примечаний, с пометой scil., вошли и необходимые уточнения ошибочных написаний в рукописи, как правило, выправленных без всяких оговорок прямо в тексте в издании 1906 г.: млады*ж* вм. ошибочного млады*ж*, кромѣ вм. кром*у*, колымага*х* вм. колыма*х*, строения вм. строение, бывают вм. бываю (с. 94, 95, 96, 99, 102) и т. д. Лишь некоторые из них не нуждались, на наш взгляд, в таких уточнениях, см., например, варианты: *сутки* — *судки*, тамошнихъ — тамощнихъ (с. 99, 104) и др.

Несколько отлична от принятой в советских филологических изданиях гибкая система скобок, последовательно осуществленная в книге. Помимо круглых и фигурных, встречающихся в оригинале и сохраненных в публикации, мы находим в тексте еще несколько пар: в угловые скобки ⟨ ⟩ издатель заключает текст, восстановленный им [1], в квадратных [ ] — зачеркнутый Г. Котошихиным, в полускобки ⌜ ⌝ — написанный им над строкой или на полях рукописи позднее основного текста. Такими средствами достигаются наглядность и достоверность публикации, максимальное (после фототипии) приближение исследователя к оригиналу, создаются дополнительные удобства для работы читателя с памятником. Строгое следование избранным принципам издания, тщательная передача текста (в ней можно убедиться, сравнив публикуемый текст с фототипическим воспроизведением лл. 1 и 117об рукописи на вклейках книги) позволяют высоко оценить мастерство А. Е. Пеннингтон как палеографа и археографа и делают подготовленное ею издание первоклассным источником для лингвистических исследований.

Публикации текста в издании предпосланы биография писателя и описание рукописи его сочинения. Палеографическое описание рукописи у А. Е. Пеннингтон полнее аналогичных описаний, приводимых в первом и последующих русских изданиях сочинения Г. Котошихина. Еще в XIX в. было установлено, что в Университетской библиотеке в Упсале хранится подлинная рукопись сочинения. Новое изучение ее автором показало, что это беловая копия, написанная Г. Котошихиным довольно торопливо на 249 листах датской или английской бумаги (31 тетрадь по 6 или 8 лл.), и, что особенно важно, позволило отчасти проследить историю подлинника.

Первым читателем книги, по мнению автора, был друг Г. Котошихина и первый ее переводчик О. Баркгузен, оставивший на рукописи свои пометы. В конце XVII — начале XVIII в. рукопись принадлежала известному шведскому ученому-коллекционеру, дипломату и путешественнику И. Г. Спарвенфельду — именно в это время книга Г. Котошихина была переплетена. Наконец, рукопись побывала и в руках какого-то третьего лица: этот читатель на поле л. 91об оставил помету на немецком языке. Для ис-

---

[1] Главным образом, в позднейших вставках Г. Котошихина и ремарках О. Баркгузена, написанных нередко с сокращениями (см. с. 42, 127, 130, 131, 161 и др.).

тории памятника было бы существенно установить время поступления его в Упсальскую библиотеку, — нет ли возможности это выяснить по старым библиотечным описям и каталогам?

Несомненной заслугой автора является и то, что к немногочисленным источникам о пребывании Г. Котошихина за рубежом его разыскания позволили добавить еще один ценный документ — сохранившееся в недатированной копии на шведском языке письмо Г. Котошихина канцлеру Швеции графу Магнусу Делагарди, написанное, по определению А. Е. Пеннингтон, вероятно, в мае 1666 г. В этом письме Г. Котошихин, в частности, упоминает о взятом им на себя обязательстве «описать все Московское государство» и называет заголовки 20 глав будущей книги, первые семь из которых были к тому времени близки к завершению (с. 6). Он просит также разрешения у М. Делагарди выехать для работы из Стокгольма в какое-либо спокойное место из опасений требования его выдачи со стороны русского правительства. И хотя это письмо Г. Котошихина было ранее уже опубликовано автором [3], можно лишь пожалеть, что оно не воспроизведено в приложениях к настоящему изданию вместе с другими письмами Г. Котошихина (с. 759—762).

Значительную часть труда А. Е. Пеннингтон представляет исследование («комментарий») о языке Г. Котошихина, состоящее из разделов, посвященных орфографии, морфологии, синтаксису и словарному составу. Помимо древних и новых словарей ею использованы материалы Картотек Словаря русского языка XI—XVII вв. (ДРС) в Институте русского языка АН СССР и Словарей старопольского языка XIV—XV вв. и польского языка XVI столетия, хранящихся в Институте польского языка и Институте литературных исследований Польской Академии наук в Кракове. Как отмечает автор, при сопоставлении языка Г. Котошихина с языком других памятников им использовались, главным образом, результаты исследований современных русистов и лишь в некоторых случаях сравнительный материал из первоисточников, преимущественно XVI—XVII столетий. Хотя такое ограничение легко объяснимо объективными трудностями, было бы желательным все же более широкое привлечение в подобной работе новых появившихся в последние годы изданий дипломатических документов XVII в., вышедших из Посольского приказа, служащим которого в 1650—1660-х гг. был Г. Котошихин. А. Е. Пеннингтон полагает, что представление о деловом языке можно составить и по одному достаточно обширному тексту, при этом автор публикуемого сочинения представляется ей типичным носителем русского приказного языка, поскольку, несмотря на годы эмиграции, большую часть жизни он прожил в России и писательские навыки получил в московском приказе (с. 382, 397).

Большое внимание уделено в книге вопросу соотношения в сочинении Г. Котошихина русского и церковнославянского языков. Констатируя, что «канцелярский» русский язык является «нейтральной нормой» Г. Котошихина, А. Е. Пеннингтон показывает, что иногда писатель обращается и к церковнославянскому. Чаще всего церковнославянизмы встречаются у него в цитатах, описаниях церковных церемоний и в моралистических рассуждениях, они почти исчезают, когда автор обращается к «организационной стороне» тех или иных русских обычаев и порядков (с. 382—383). В одних случаях церковнославянские включения составляют полные фразы, заимствованные из литургических сочинений, в других — используются отдельные элементы или риторические приемы, свойственные церковнославянскому языку. Однако, хотя писатель и привлекал церковнославянизмы, он не был, как установила А. Е. Пеннингтон, достаточно знаком с церковнославянским языком «как с системой», допуская по этой причине и явные ошибки, например, в употреблении союза *воеже* в приводимой им по памяти цитате из библии (Лук I, 78). Влияние церковнославянского языка особенно заметно, по справедливому наблюдению А. Е. Пеннингтон, в первой главе сочинения, посвященной московскому царствующему дому, что объясняется, по нашему мнению, воздействием на эту часть книги Г. Котошихина русских сказаний о событиях конца XVI — начала XVII в. (ср., в частности, л. 2—2об публикуемого сочинения и «Сказание о царстве царя Федора Ивановича» [4]).

В исследовании показано, что Г. Котошихин, как, вероятно, и многие другие служащие Посольского приказа, хорошо знал польский язык и очень плохо шведский. Его послание польскому королю Яну Казимиру (см. прилож. 1) изобилует полонизированными русскими формами, а в книге для пояснения специфических русских терминов подьячий обращается именно к польскому языку, хотя его сочинение и адресовано шведскому читателю. Тем более любопытно, что труд Г. Котошихина содержит «замечательно мало полонизмов» (с. 385).

Анализ сочинения Г. Котошихина привел А. Е. Пеннингтон к выводу, что русский приказной язык достиг во второй половине XVII столетия большой стабильности, приблизившись к наддиалектной норме, причем его орфография, морфология, фразеология и синтаксис в значительной степени были независимы от норм церковнославянского языка. В руках умелого писателя этот язык, по мнению исследовательницы, был «точным и даже прекрасным инструментом» (с. 400).

Следует отметить все же, что лексика и стиль посольских документов, по-видимому, не были характерны для всех русских учреждений и, скорее всего, отличались значительным своеобразием. Участие в работе Посольского приказа ряда выдающихся русских деятелей и выходцев из иных государств, в частности, Николая Спафария, знакомство посольских служащих с языками, обычаями и культурой многих стран, переводческая и издательская деятельность приказа делали его крупнейшим культур-

ным центром России, какими не были и не могли быть Разрядный, Поместный и другие приказы.

Указатель слов и форм к сочинению Г. Котошихина, впервые составленный автором (упомянутые предшествующие издания по существу его не имели), представляет большую самостоятельную ценность. Однако перевод некоторых русских слов и терминов иногда не вполне точен. Так, под *четвертью* Г. Котошихин подразумевает несомненно центральное учреждение — приказ, в функции которого входил в том числе и сбор налогов с определенной территории, а не «налоговый округ» (tax-collecting district, с. 741),— соответственно неточно комментируются *Галицкая* (*Галичская*), *Костромская*, *Новгородская* (*Новгородцкая*) и *Устюжская четверти* (с. 448, 521, 565, 725). Термин *стольникъ* определяется автором как «придворный, по званию следующий за думными боярами» (court officer, in rank after the duma boyars, с. 693). Между тем, как известно, между боярами и стольниками на служебной лестнице находились еще окольничие и думные дворяне. Термин *ясаулъ* (cossack captain, с. 751) Г. Котошихин употребляет не только в значении «офицерская должность в казачьих войсках», но и по отношению к должностным лицам в царском полку, обязанности которых писатель определяет так: «да из столников же и из стряпчих и из дворянъ и из жилцов выбирает царь из своего полку... для всяких дѣл в розсылку ꙗсаꙋлов съ · ξ · члвкъ» (л. 191 об).

Есть также небольшие погрешности и в организации лексического материала в указателе. Так, в одной из статей указателя — **вѣдомо**, с определением «сущ. ср. р.», даны отсылки как на существительное (л. 28, 43, 178об, 180), так и на наречие, употребленное в составе сказуемого в сочетаниях: вѣдомо бꙋдетъ (л. 16), вѣдомо обявится (л. 11об), вѣдомо ꙋчинилос, ꙋчинитца и др. (л. 2об, 17об, 22, 43). В целом же указатель составлен очень тщательно, на высоком профессиональном уровне и несомненно будет широко использоваться в исследованиях, посвященных русскому языку XVII в.

В книге имеется библиография, включающая все (в том числе и зарубежные) издания сочинения Г. Котошихина, литературу, посвященную этому памятнику, а также другие исследования и публикации источников, привлекавшиеся А. Е. Пеннингтон в связи с изучением особенностей языка русского подъячего.

В последние годы, во многом благодаря усилиям сотрудников Сектора лингвистического источниковедения и исследования памятников языка ИРЯ АН СССР, резко возрос интерес к бытовой и деловой письменности. Труд А. Е. Пеннингтон является ценным вкладом в изучение особенностей русского «делового» языка XVII в., а новое, тщательно комментированное и полиграфически прекрасно оформленное издание книги Григория Котошихина — своеобразной энциклопедии Московской Руси XVII в. заметно обогащает источниковую базу лингвистических исследований.

Мордовина С. П.

ЛИТЕРАТУРА

1. О России в царствование Алексея Михайловича. Сочинение Григорья Котошихина. 4-е изд. СПб., 1906.
2. *Котков С. И., Панкратова Н. П.* Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII — начала XVIII века. М., 1964, с. 14—18.
3. *Pennington A. E.* An unpublished letter by Grigory Kotoshikhin.— Slavonic and East European Review, 1971, v. XLIX, p. 113—124.
4. Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. 2-е изд. СПб., 1909, т. 13, стлб. 772—773.

Ahmed Chamanga M., Gueunier N.-J. **Le dictionnaire comorien-français et français-comorien de R. P. Sacleux.** — Paris: SELAF, 1979. 658 p.

Рецензируемая работа посвящена описанию языка населения группы Коморских островов — одного из языков банту и его диалектов. Книга представляет собой посмертное издание рукописи коморско-французского и французско-коморского словарей Р. П. Саклё, подготовленных к опубликованию М. Ахмедом Шамангой и Н.-Ж. Генье. Она предваряется аннотацией на французском, английском, немецком, испанском и русском языках, издательским предисловием Р. Шоденсона, введением издателей рукописи М. Ахмеда Шаманги и Н.-Ж. Генье, библиографическим указателем лингвистических работ Саклё, списком литературы, использованной при составлении Словарей и их подготовке к изданию, предисловием самого Саклё и кратким грамматическим очерком коморского языка, извлеченным из черновых набросков Саклё. Основную часть издания (с. 71—620) составляют коморско-французский и французско-коморский словари. В Приложении помещена «Хроника Саида Бакари» по истории острова Гранд-Комор, написанная в оригинале арабским алфавитом на коморском диалекте языка суахили (образец рукописи приводится на с. 656—657) и транскрибированная Саклё латиницей, а также перевод Хроники на французский язык.

Издание рукописи Саклё предпринято отдельным выпуском (№ 9) в виде двух книг (с. 1—323 и с. 333—658) в серии публикаций Центра документации и ис-

следований по языкам и цивилизациям Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана (CeDRASEMI) и осуществлено Национальным центром научных исследований (CNRS) по программе «Индийский океан» (RCP 441) при финансовой поддержке CeDRASEMI, AUPELF (Ассоциации университетов частично или полностью французского языка), CILF (Международного совета по французскому языку) и Агентства по кооперации культурного и технического сотрудничества.

Материалом рецензируемой монографии Саклё послужили диалекты Коморского архипелага, расположенного посреди Мозамбикского пролива и состоящего из четырех островов: Гранд-Комор, Мохели, Анжуан и Майотта. В настоящее время они образуют самостоятельную Федеральную Исламскую Республику Коморские острова. Исследование, на котором основан труд Саклё, было проведено, в основном, в 1900—1914 гг., когда Саклё жил на Мадагаскаре. Позднее он дорабатывал рукопись Словаря коморского языка вплоть до самой своей смерти во Франции в 1943 г. и подготовил его к изданию в серии Bibliotheca Missionum. Однако во время Второй мировой войны значительная часть рукописи погибла (словарные статьи от M до Z в Коморско-французском словаре, грамматика коморского языка, записи текстов на диалектах Коморского архипелага), и издание рукописи оказалось невозможным. В 1976 г. М. Ахмед Шаманга и Н.-Ж. Генье принялись за восстановление текста рукописи Саклё. На основании черновиков и сохранившейся части обратного словаря им удалось воссоздать в первоначальном объеме весь текст Словаря (как французско-коморскую, так и коморско-французскую часть). Однако грамматический очерк коморского языка, над которым работал Саклё, восстановить полностью не удалось: в настоящем издании приводятся только заметки Саклё о происхождении коморского языка, а также некоторые сведения по его фонетике и грамматике (именные классы, формообразование и спряжение глаголов). Сложность структуры авторского текста заставила подготовителей рукописи Саклё отказаться от воспроизведения текста в его первоначальном виде. Им пришлось написать его заново.

Автор словаря коморских диалектов — миссионер Саклё давно известен в науке. Первое его исследование, вышедшее еще в самом начале XX в., было посвящено изучению звукового состава языков банту. В нем он основывался на данных по языкам банту, полученных им в работе по экспериментальной фонетике на основе методики известного французского фонетиста аббата Руссло. Книга эта была одним из первых исследований такого рода по африканским языкам вообще. Тогда же Саклё создал свою систему записи звуков языков банту, в частности, применив ее в своих многочисленных миссионерских изданиях по языку суахили. Проведя долгие годы в Восточной Африке, он собрал много материалов по языку суахили, и результатом его работ был обстоятельный Словарь языка суахили, изданный в Трудах Института этнологии при Парижском университете в двух томах: в 1939 г. вышла первая часть суахили-французского словаря, а в 1941 г. — вторая его половина. Затем в 1949 г. издан был обратный словарь — французско-суахили. Эти словари до сих пор являются одними из лучших и наиболее полных словарей этого языка — по числу говорящих на нем самого значительного среди всех языков банту, признанного ныне официальным языком республики Танзании и распространенного далеко за ее пределами во всех соседних с нею странах — Уганде, Кении, Заире и Мозамбике. Английский языковед Д. Дэлби в своей классификации языков Африки (1977) причисляет языки населения Коморских островов — нгазиджа, мвали, извани и маури к группе суахили, выделяя их в подгруппу восточных суахилийских диалектов. Им-то и посвящена рецензируемая работа Саклё.

Языки, или диалекты, Коморского архипелага были описаны Эллиоттом еще в самом начале XIX в. (в 1821—1822 гг.). Весьма краткие записи Эллиотта были изданы лишь в 1926 г. по его рукописи, хранящейся в библиотеке лорда Грэя в Капштадте, немецким бантуистом Хеепе. Это издание, судя по рецензируемому исследованию, осталось неизвестным как самому Саклё, так и его издателям. Они упоминают лишь о сообщениях Герберта о языке Коморских островов (относящихся к 1626 г. и позднее опубликованных Бернгардом Штруком). Ими учтены были также материалы по коморским диалектам епископа Стира. Однако настоящего полного описания языка Коморских островов до сих пор не было. Поэтому М. Ахмед Шаманга и Н.-Ж. Генье в своем Введении к изданию вполне обоснованно пишут, что труд Саклё является первым научным исследованием коморского языка в его состоянии на начало XX в. Оно интересно в наши дни не только с точки зрения описания системы этого языка, но также и его истории за последние 80 лет.

В работе Саклё приводятся сведения о диалектных формах коморского языка, представленного четырьмя диалектами: нгазиджа (о. Гранд-Комор), нжуани (о. Анжуан), мвали (о. Мохели) и маоре (о. Майотта). Следует отметить, что термин «нгазиджа» употребляется Саклё в двух значениях: в узком смысле он обозначает только диалект острова Гранд-Комор; в более широком значении — говоры не только острова Гранд-Комор, но также Анжуана, Мохели и Майотта, т. е. коморского языка в целом. Саклё считал, что по происхождению коморский язык мог быть одним из древних суахилийских диалектов, который, в силу полной изоляции островов, постепенно стал самостоятельным языком, отличным от суахили, хотя и имеющим общие характеристики как с северо-суахилийскими диалектами аму и др., так и с суахилийскими диалектами Мозамбика. Этот н а р о д н ы й (или коморский) язык Саклё

не смешивал литературным языком, который исчез в наше время, но еще использовался на Коморских островах в начале XX в. в торговле, деловой переписке, дипломатии, а также при создании поэтических, религиозных и исторических текстов (как, например, помещенной в Приложении «Хронике Саида Бакари») и был одним из суахилийских диалектов, близким занзибарскому диалекту суахили, но имеющим некоторые отличительные признаки северных диалектов. Как суахилийский диалект он был включен Саклё в его Суахилийский словарь и грамматику суахилийских диалектов. Сложность языковой ситуации на Коморских островах не ограничивалась сосуществованием разговорного коморского языка и литературного языка, созданного на базе суахили: здесь были представлены, кроме того, мальгашские разговорные диалекты, на которых еще и сегодня говорят на острове Майотта, а также языки банту: макуа, ньянджа и маньянджа, на которых некогда говорили рабы, вывезенные на Коморские острова для работы на плантациях (следы влияния этих языков отчетливо сказываются еще в фольклоре.)

Саклё указывает, что он не имел возможности посетить все уголки Коморского архипелага, и его исследование, в основном, построено на материалах, полученных им от носителей коморского языка, живших на Занзибаре. Черновики Саклё показывают, что среди них ему удалось собрать немало сведений и записать связные тексты. Материалы эти Саклё впоследствии использовал в Словаре коморского языка и его грамматике, однако сами тексты не сохранились. Имена информантов, за исключением главного — Мконда — нигде не упоминаются, но издатели его труда высказывают предположение, что все (или почти все) его информаторы были уроженцами острова Гранд-Комор. По возвращении во Францию Саклё продолжал свою работу, собирая сведения у носителей коморского языка, с которыми он встречался или переписывался. В монографии Саклё использованы также работы его предшественников, изучавших языки Коморских островов, что отмечено в списке литературы. Поэтому труд Саклё представляет собой последнюю сводку всех имеющихся данных к восьмидесятым годам нашего века.

Словарь Саклё включает более 4 тыс. слов коморского языка. Приблизительно 35% слов, имеющихся в Словаре, представлены во всех диалектах коморского языка (нгазиджа, нжуани, мвали и майотта), около 45% слов снабжены пометой «нгазиджа». Слова, характеризующие только диалект майотта, встречаются в единичных случаях. Учитывая лексику, общую для различных диалектов, можно предположить, что Саклё обработал около 10 тыс. слов различных диалектов коморского языка. Этот материал и положен в основу коморско-французского и французско-коморского словарей. Слова записаны в транскрипции, разработанной Саклё. Словарь предваряется таблицей соответствий между алфавитом Саклё и алфавитом Международной фонетической ассоциации IPA, а также комментариями М. Ахмеда Шаманги и Н.-Ж. Генье о степени дифференциации отдельных звуков в системе записей Саклё и правомерности принятой им системы. Так, например, они отмечают, что Саклё не фиксирует различий между эксплозивной и имплозивной фонемами *b* и δ, между билабиальным и лабио-дентальным спирантами β и *v* и обозначает их одними и теми же символами. Издатели справедливо указывают также, что у Саклё отсутствует тональная характеристика коморских слов, хотя есть все основания считать, что тон в коморском языке играет смыслоразличительную роль и в лексике, и в грамматике. Однако они не решились полностью переделывать все записи Саклё и переводить принятую им транскрипцию слов на алфавит IPA. Это, пожалуй, было правильным решением, так как дает возможность сопоставлять данные большого суахилийского словаря Саклё, о котором уже шла речь выше, со всеми сведениями, содержащимися в этом новом словаре коморских диалектов. Издатели, полностью переработавшие первоначальные рукописи Саклё, отмечают формы, которые, по их мнению, совершенно неприемлемы для норм современного коморского языка и должны рассматриваться как суахилизмы, неправомерно приписываемые коморским диалектам. Изучая внимательнее Словарь, мы можем добавить, что в нем не всегда последовательно отмечаются арабские заимствования (так, например, при словах *fahamu*, *faida* и др. имеются соответствующие пометы, а при словах *fanusi*, *farasi*, *fitina* и др., которые также несомненно арабского происхождения, таких помет нет), проводятся суахилийские параллели и фиксируются исходные и производные формы глаголов. Хотя степень охвата лексики коморского языка не является высокой, рецензируемая монография представляет несомненный интерес не только для бантуистов, но и для всех, кто занимается диалектологией и ареальной лингвистикой. Африканисты же, а в особенности исследователи языка суахили, благодаря обоим издателям рукописного наследия Саклё получили много новых данных для оценки истории развития коморского языка, который долгое время считался всего лишь диалектом языка суахили.

Ольдерогге Д. А., Сова Л. З

Grundzüge einer deutschen Grammatik. Unter der Leitung von Heidolph K. E., Flämig W. und Motsch W.—Berlin: Akademie-Verlag, 1981. 1028 S.

Вышел в свет фундаментальный труд по грамматике немецкого языка, над созданием которого в течение ряда лет трудился коллектив ведущих германистов Центрального Института языкознания Академии наук ГДР под руководством К. Э. Хайдольфа, В. Флемига и В. Мотша. Цель этого обширного труда, объем которого превышает тысячу страниц,— выработать общую концепцию описания грамматической системы немецкого языка, отражающую современный уровень грамматической теории в ГДР и призванную служить основой для создания вузовских учебников грамматики немецкого языка и для преподавания немецкого языка как родного и иностранного. В соответствии с этой задачей книга начинается подробным изложением методологических основ грамматики. Значение этой части книги далеко выходит за пределы нормативной грамматики немецкого языка. Изложенная в ней концепция представляет большой интерес для общей теории грамматики и общего языкознания в целом. Она позволяет также судить о больших успехах германистики в ГДР и о том внимании, которое уделяют германисты ГДР вопросам методологии науки. Для того чтобы оценить принципиальную важность этого раздела, необходимо учитывать, что марксистско-ленинская методология в области языкознания в ГДР и в том числе в области теории грамматики складывалась в острой борьбе с традициями младограмматизма, с одной стороны, с современными теориями структурализма и так называемой «грамматикой, ориентированной на содержание» (школа Л. Вейсгербера), с другой стороны. Именно поэтому ключевыми вопросами вводной части рецензируемой книги стали вопросы взаимоотношения мышления и языка, формы и содержания в системе языка и в его грамматическом строе. Эти проблемы получили искаженное, одностороннее решение как в структурной грамматике с характерным для нее отрывом формы от содержания и абсолютизацией формы, так и в теории Л. Вейсгербера, провозглашавшей имманентное развитие духа и пропагандировавшей шовинистические идеи национального языкового «видения мира», различного для каждого народа.

Борьба за марксистско-ленинское понимание языка как непосредственной действительности мысли и за выработку соответствующей этому пониманию методологии частных лингвистических наук, в том числе грамматики, развернулась в лингвистической науке ГДР в германистических коллективах университетов и педагогических вузов, но стала особенно последовательной после образования Академии наук ГДР и создания в ее системе Института немецкого языка и литературы (ныне Центральный Институт языкознания Академии наук ГДР). Она ярко проявилась уже в 50-е и 60-е годы в докладах лингвистов ГДР на проводившихся в ГДР в 1959 и 1962 гг. международных симпозиумах на тему «Знаковая система и система языка». Во вступительном докладе на 2-м симпозиуме Г. Ф. Мейер и К. Аммер писали: «Теория грамматики не может существовать независимо от общей теории языка. Грамматика — часть языка и должна соответствовать критериям определения языка» [1, S. 11]. И далее: «Из определения языка следует, что язык является исторически сложившейся системой знаков, которая служит целям коммуникации в человеческом обществе. Если понимать знак как поддающийся формальному описанию элемент языка, который имеет как минимум одно значение, а произнесенный или написанный текст как содержательную комбинацию знаков, то из этого следует, что элементы текста и организация текста должны описываться с формальной и содержательной сторон. Из методических соображений можно на время разделить формальную и содержательную стороны и абстрагироваться от одной из них, но из этой операции методического характера нельзя выводить лингвистическую концепцию» [1, S. 11]. Борьба за марксистско-ленинское понимание взаимоотношения языка и мышления в языкознании, за соблюдение диалектико-материалистического принципа единства формы и содержания, против антиментализма структуральной грамматики и идеализма и агностицизма грамматической теории Л. Вейсгербера особенно успешно развивалась в 60-е и 70-е годы. Лингвистами ГДР были подвергнуты развернутой критике как теория Л. Вейсгербера [2—4], так и структуральная и генеративная грамматика [5—8]. В 1965 г. В. Шмидт издал учебник по теории грамматики немецкого языка для педагогических вузов, написанный на основе марксистско-ленинского понимания языка [9]. В нем был полностью преодолен односторонний, асемантический подход к языку и грамматическая система языка рассматривалась с точки зрения единства формы и содержания, а также развивался функциональный, коммуникативно-прагматический подход к явлениям грамматики, требующий раскрытия не только содержательной стороны каждой грамматической формы, но и того коммуникативно-прагматического эффекта, который может быть связан с ее употреблением. Наконец, общие принципы марксистско-ленинской методологии в подходе к языку и к его грамматическому строю были изложены также в двухтомном коллективном труде «Теоретические проблемы языкознания» под ред. В. Ноймана [10].

Вполне понятно, что такой фундаментальный труд по грамматике немецкого языка, как академическая грамматика немецкого языка, не мог не уделить самого большого внимания подробному изложению основ марксистско-ленинского учения о взаимоотношении мышления и языка и теории познания, привлекая труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, работы современных философов-

марксистов. Именно на этой основе решается авторами рецензируемой книги вопрос о знаковой природе системы языка и подчеркивается двусторонний характер языкового знака. Авторы пишут, что они рассматривают билатеральность языкового знака «как основополагающий теоретический и методический отправной пункт грамматики» [S. 33]. Творчески разрабатывая это положение, авторы книги выделяют в системе языка несколько взаимосвязанных подсистем, или компонентов, рассмотрение каждого из которых, как и раскрытие их взаимодействия, определяет модель описания грамматического строя языка. Такими взаимодействующими и взаимообусловленными компонентами грамматического строя являются семантический, синтаксический, фонологический и коммуникативно-прагматический компоненты, каждый из которых характеризуется собственными единицами и отношениями.

Оставляя пока в стороне вопрос о правомерности исключения морфологического уровня из числа основных компонентов грамматической системы, отметим важность самой концепции, устанавливающей, с одной стороны, правильное соотношение между содержательной стороной языка и его структурой, и с другой стороны, отражающей современную коммуникативную и функциональную направленность германистики в ГДР. Выдвижение в качестве одного из компонентов грамматической системы языка коммуникативно-прагматического компонента отражает эту вторую важнейшую черту современной грамматической теории, стремление ее раскрыть в конкретном описании грамматического строя языка коммуникативную функцию языка, его роль в обществе как важнейшего средства общения. Это стремление находит свое выражение в том, что при изложении теоретических основ книги авторы оперируют прежде всего понятием «высказывание» (Äußerung), соотнося именно его с процессами познания мира. Как раз высказывание служит языковой формой отражения фактов и событий действительности (Sachverhalte) и формой речевой коммуникации в процессе вербальной и невербальной деятельности людей.

Авторы не останавливаются перед детальной разработкой трудных, малоисследованных вопросов теории грамматики, к которым относится, конечно, и сам вопрос о составе компонентов грамматической системы языка и диалектики взаимоотношения между ними, и довольно подробно освещаемый вопрос о соотношении субъективного и объективного в структуре высказывания, и лишь намечаемый, но не рассматриваемый в книге вопрос о диахронической, социальной и территориальной вариативности грамматического строя, и мн. др. Представляется спорным решение вопроса о месте морфологии в описании грамматической системы языка. Следуя тенденции, достаточно резко обозначившейся в последние десятилетия, академическая грамматика немецкого языка не выделяет морфологию как особый раздел грамматики и включает связанные с ней явления грамматического строя в синтаксический компонент грамматической системы языка. В пользу такого решения вопроса можно привести много доводов, поскольку грамматические категории частей речи, т. е. категории морфологические, раскрываются полностью лишь на более высоком уровне, на уровне предложения-высказывания. Это и артикль при имени существительном, основные функции которого — выражение референции и выражение актуального членения предложения — выявляются только на уровне высказывания, и категории лица, времени, наклонения, которым принадлежит главная роль в выражении через форму предиката отнесенности высказывания к действительности, и категория падежа, служащая главным средством организации словосочетания и именных членов предложения. Есть, однако, и такие морфологические категории, значение которых полностью раскрывается уже на уровне слова и не связано с организацией высказывания. Можно указать, например, на категорию числа имени существительного, категорию степени качества имени прилагательного. Принципиально более важно, однако, то, что исключение морфологии из перечня компонентов грамматической системы при изложении теоретических основ грамматики приводит к сужению содержания понятия семантического компонента, к ограничению его рамками синтаксической семантики. Нельзя не отметить большой ценности раздела, посвященного смысловой структуре высказывания, умелого использования понятий предикатной логики, четкого и доступного определения понятий пропозиции, предикатно-аргументных отношений, явления референции и характеризации. Однако, если в работах предшествующих десятилетий принцип единства формы и содержания при описании грамматического строя языка находил преимущественное воплощение при раскрытии содержательной стороны грамматических категорий уровня слова и в гораздо меньшей степени осуществлялся при описании предложения, то благодаря исключению морфологии из перечня компонентов грамматической системы в рецензируемом труде происходит обратное. С одной стороны, лишь в этой книге и в предварявшей ее работе того же авторского коллектива [11] впервые в систематическое описание грамматики введены понятия синтаксической семантики, что позволяет раскрыть содержательную сторону предложения-высказывания и тем самым распространить принцип единства формы и содержания на данный уровень грамматического строя. С другой стороны, за пределами семантического компонента грамматической системы остается материал, относящийся к семантике морфологических категорий. Правда, это происходит лишь во вводной части книги. Семантика морфологических категорий полно и весьма интересно описывается в 3-ей главе книги «Части речи и структура слова», основные разделы которой написаны В. Флемигом.

Касаясь тех трудностей, которые пришлось преодолевать авторам рецензируемого труда, нельзя не отметить, что описание коммуникативно-прагматического компонента, грамматической системы, несмотря на значительное внимание, которое уделяется ему на всем протяжении книги, вряд ли можно считать полным, о чем говорят во вступительной части книги и сами авторы. Вопросы коммуникативно-прагматической интерпретации грамматических явлений, вставшие во весь рост перед современной грамматической теорией, нуждаются в дальнейшей разработке и, видимо, смогут быть освещены более полно лишь на основе развития стилистической грамматики и грамматики текста — областей пока еще очень молодых и ждущих более детального исследования.

Композиция рецензируемой книги не тривиальна и в то же время в ней с большой полнотой раскрыты все основные проблемы грамматики немецкого языка, освещаемые часто в другом порядке и последовательности в трудах по немецкой грамматике. Первая, очень обширная, глава посвящена, как уже указывалось, теоретическим основам описания грамматического строя. Вторая глава «Структура словосочетания» посвящена широкому кругу проблем синтагматики. Речь идет прежде всего об описании синтагматического состава предложения, именуемого базой предложения (Satzbasis). Известно, что в истории грамматики друг друга сменяли целый ряд моделей описания синтагматического состава предложения — модель членов предложения, модель непосредственно составляющих, дерево зависимостей, описание структурных схем (моделей) предложения. Ни одна из них не смогла удовлетворить всем требованиям исследователей и не может считаться универсальной. Перед лицом этой множественности моделей описания авторы делают свой выбор, останавливаясь на сочетании модели дерева зависимостей и модели членов предложения. Проблемам синтаксиса посвящены также главы четвертая и пятая рецензируемого труда. Четвертая глава посвящена проблемам словорасположения в предложении (топологии) в связи с современным уровнем теории актуального членения предложения и с вопросами коммуникативно-прагматических функций тематизации и рематизации. Пятая глава посвящена динамическому аспекту синтаксиса предложения. Авторы различают исходные синтаксические структуры и производные синтаксические структуры, которые находятся в регулярных отношениях к исходным структурам. Под производными синтаксическими структурами в рамках простого предложения понимаются вопросительные, восклицательные, побудительные, эллиптические предложения, пассивные конструкции, подробно описываемые с точки зрения структуры, значения и коммуникативно-прагматической функции. В сфере сложного предложения рассматриваются различные возможности соотнесения и объединения в одну сложную синтаксическую структуру высказываний о нескольких фактах и событиях действительности, предлагается классификация реляционных отношений между элементарными предложениями, играющими в составе сложного предложения роль исходных структур. Большой интерес представляет третья глава «Части речи и структура слова». Она дает детальное изложение всех основных проблем морфологии — определение слова и грамматических признаков слова, смысловую структуру слова, классификацию частей речи, подробное описание структурных свойств и грамматических категорий (они именуются категориальными признаками) всех частей речи. Несмотря на то, что морфология представляет собой наиболее разработанный, многократно описанный раздел грамматики, в рецензируемом труде найдено много новых интересных определений, содержательных интерпретаций, классификационных решений. Заключительная шестая глава «Фонология: интонация» посвящена описанию фонологического компонента грамматической системы. Помимо вопросов интонации — движения высоты тона, ритмической структуры высказывания, интонации различных коммуникативных типов предложения, к которым грамматика обращается уже давно, этот раздел включает также описание фонологической системы немецкого языка, поскольку именно она определяет звуковую форму высказывания.

Выход в свет академической грамматики немецкого языка — большое событие для языковедов-германистов и для специалистов в области общего языкознания, разрабатывающих вопросы теории грамматики. Это большое достижение всего авторского коллектива и его руководителей, ценный вклад в развитие общей теории грамматики и теории грамматики немецкого языка.

Москальская О. И.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ammer K.*, *Meier G. F.* Bedeutung und Struktur.— In: Zeichen und System der Sprache. Bd. III. Berlin, 1966, S. 11.
2. *Seidel E.* Sprachwissenschaft, «Weltbild», Philosophie.— Deutschunterricht, Berlin, 1958, Bd. 11, Hf. 11.
3. *Helbig G.* Die Sprachauffassung Leo Weisgerbers.— Der Deutschunterricht, Stuttgart, 1961, Bd. 13. Hf. 3.
4. *Neumann W.* Wege und Irrwege der inhaltbezogenen Grammatik.— Weimarer Beiträge. Studien und Mitteilungen zur Theorie und Geschichte der deutschen Literatur, 1961, Jg. 7, Hf. 1.
5. *Neumann W.* Die Sprachwissenschaft der DDR vor neuen Aufgaben.— Zeitschr. für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 1970, Bd. 23, Hf. 5.
6. *Hartung W.* Der Muttersprachunterricht und die gesellschaftliche Funktion der Sprache.— Deutschunterricht, Berlin, 1970, Bd. 23. Hf. 3—4.
7. *Růžička R.* Bemerkungen zum Struk-

turalismus.— Zeitschr. für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 1970, Bd. 23, Hf. 5.
8. *Motsch W.* Zur Kritik des sprachwissenschaftlichen Strukturalismus. Berlin, 1974.
9. *Schmidt W.* Grundfragen der deutschen Grammatik. Einführung in eine funktionale Sprachlehre. Berlin, 1965.
10. Theoretische Probleme der Sprachwissenschaft. Unter der Leitung von Neumann W. Bd. I—II. Berlin, 1976.
11. Skizze der deutschen Grammatik. Leitung: Flämig W. Berlin, 1972.

Lütten J. **Untersuchungen zur Leistung der Partikeln in der gesprochenen deutschen Sprache.** — Göppingen: Verlag Alfred Kümmerle, 1978. 625 S.

Немецкие частицы, несмотря на их многочисленность и высокую частотность употребления, до последнего времени не были предметом специального исследования, как особый функциональный класс неизменяемых слов. Даже в некоторых грамматиках немецкого языка частицы иронически именуются «словами-заплатками» («Flickwörter»), «словами-заполнителями («Füllwörter») или «словами-вставками» («Einschiebsel»). Это обусловлено тем, что сами немецкие грамматисты объявили частицы «вне закона». Как писал Л. Райнерс, «словечки, которые только украшают, усиливают или приводят к ненужным описаниям, мы должны вычеркивать» [1, с. 131]. Лишь в последние годы появились работы, в которых предприняты первые попытки разобраться в своеобразии этого класса слов. Их начали исследовать в различных странах, в том числе и в ФРГ. В последнее время здесь были проведены специальные коллоквиумы [2, 3], частицам посвящаются монографии [4] и сборники [5—7]. Появление в ФРГ фундаментального исследования Ю. Люттен о немецких частицах свидетельствует о сохранении живого интереса к этой проблеме.

Книга Ю. Люттен распадается на две части. Первая часть, состоящая из пяти глав, посвящена анализу частиц в немецкой разговорной речи; вторая часть представляет собой богато аргументированное приложение. В качестве экспериментального материала используются три тома текстов немецкой стандартной разговорной речи, вышедших в 1971—1975 гг. [8].

Проблема частиц рассматривается в первой главе (S. 6—127) как частная проблема классификации частей речи вообще. Обобщая существующие классификации словарного состава в современном языкознании, Ю. Люттен выявила три принципа: а) логико-семасиологический, б) формальный, в) формально-семасиологический. Анализируя частицы в грамматической традиции XVII—XIX вв., Ю. Люттен обнаружила, что в качестве частиц обозначаются, с одной стороны, вся совокупность неизменяемых слов, с другой стороны — только группа союзов. К последнему классу часто относят также целый ряд слов, союзный характер которых нельзя определить однозначно. Эта неясность основана на многофункциональности (Multifunktionalität) частиц, причем имеются в виду в первую очередь колебания между наречиями и союзами. По мнению автора, выделение в отдельный класс слов, стоящих между наречиями и союзами, зависит от критериев, которые свидетельствовали бы о наличии положительных признаков относительно их употребления в определенных типах предложений. Необходимо также принимать во внимание, каков объем этой группы слов. Что касается модальных частиц, то она склонна рассматривать их как наречия, употребляемые в особой функции (S. 74). Анализируя классы частиц в работах русских языковедов, а также в работах современных немецких исследователей, Ю. Люттен вскрывает слабые и сильные стороны этих теорий, приходит к выводу, что у перечисленных ею авторов частицы характеризуются далеко не однозначно. Особенно запутанным оказывается вопрос относительно их значения, наличие которого некоторыми авторами почти полностью отрицается. Это дает повод к постановке вопроса: каким образом семантическая редукция способствует появлению экспрессивного, «динамического» значения? В заключение главы при анализе группы слов, обозначаемых общим термином «частицы», Ю. Люттен устанавливает в русском и немецком языкознании определенные тенденции, подчеркивая, что советским лингвистам принадлежит особая роль в разработке проблемы частиц.

Во второй главе (S. 128—171) анализируются частицы в немецкой разговорной речи. Основываясь на существующих работах в области разговорного языка, автор выявляет составляющие разговорной речи, имеющие отношение к исследованию частиц, развивает теорию взаимодействия рациональности и эмоциональности и способов их языкового выражения. Это позволяет увидеть проблематику функционального определения частиц с новой точки зрения. Ю. Люттен пришла к убедительному выводу, что употребление термина «частица» в широком смысле по отношению к нерасчлененному множеству как несклоняемых, так и неспрягаемых слов не очень обосновано, ибо один лишь критерий неизменяемости не в состоянии объяснить сущность многих относящихся сюда слов (S. 165). К частицам в собственном смысле, которые должны выделяться по формальным и семантико-функциональным признакам, автор причисляет слова, которые отличаются 1) неизменяемостью, 2) морфологической краткостью, 3) не входят в устойчивые синтагмы, 4) обнаруживают семантичес-

кую редукцию или семантическое изменение (проблема полисемии), 5) не относятся к предлогам, междометиям, союзам, хотя при определенных условиях обнаруживают известную близость к последним. Далее автор постулирует признаки для ограничения потенциальных частиц. Речь может идти лишь о следующих характеристиках, свойственных частицам в узком смысле: 1) содержательно-функциональной, под которой понимается определенное «смягчение» («Abtönung») значения предложения или выражение эмоционального отношения к воспринимаемой действительности; 2) функционально-формальной (неизменяемость); 3) формальной, которая, кроме свойства неизменяемости, находит отражение еще в целом ряде признаков: а) морфологической краткости, б) интонационной безударности, в) контактной позиции по отношению к глаголу, образование интонационно-артикуляторного единства, г) типичном позиционном ограничении и связанной с ним дистрибутивной характеристике.

Перечисленные выше характеристики частиц в узком смысле выдвигают новые проблемы: 1) как соотносятся рациональные и эмоциональные элементы в языке и каковы способы их выражения? 2) зависит ли позиционное ограничение частиц от их морфологических признаков (неизменяемости)? 3) является ли возможность объединения в одном «фонетическом слове», т. е. в одном тесном словосочетании с контактно расположенными словами, только уделом частиц, которые становятся энклитиками, или подобное объединение возможно также для слов других классов?

В третьей главе (S. 172—199) проводится частотный анализ всех выделенных автором частиц. Чтобы достичь, с одной стороны, определенной полноты, а с другой стороны, по возможности исключить такие слова, участие которых в классе частиц может быть поставлено под сомнение, автор идет следующим путем: она составляет полный список частиц, выделенных другими авторами, отмечает случаи совпадения и несовпадения частиц у разных авторов и, используя формальную процедуру анализа, вносит свои коррективы. Затем в оставшихся после этой процедуры словах она ищет возможные частицы на материале экспериментальных текстов разговорного языка и исследует их частотность с целью приближенного статистического анализа. Это помогает ей с самого начала исключить некоторые гипостазированные «частицы» из сферы дальнейшего исследования. На базе корпуса текстов разговорного языка, разбитых по степени их тематической специфичности, она пытается ответить на поставленные вопросы и тем самым дать классификацию и определение частиц. На основе анализа списков частиц, представленных у различных авторов, с учетом критериев, введенных Ю. Люттен, возникает новый список, в который включены 30 частиц. Критерием принадлежности перечисленных ею слов к частицам является наличие примеров, в которых обнаруживается постоянно ускользающее значение (Leistung), возникающее в определенных, постоянно повторяющихся предложениях или взаимосвязанных комплексах предложений. Составление нового списка возможных частиц ограничено следующими условиями: 1) слова должны быть как можно более краткими и неизменяемыми, 2) слова не должны принадлежать ни к междометиям, ни к предлогам; кроме того, они не должны быть временными, локальными и причинными наречиями, 3) необходимо наличие полифункциональности. В противоположность своим собственным критериям автор, как она пишет сама, «тем не менее учитывает изменяемые слова при анализе корпуса» (S. 185). В конце концов список потенциальных частиц, т. е. слов, рассматриваемых в качестве частиц в работах других авторов, критикуемых Ю. Люттен, остается в качестве базы для анализа всего корпуса.

В четвертой главе (S. 200—319) проводится анализ частиц с точки зрения их функции в обосновывающих репликах (Argumentationszusammenhängen), развивается лежащая в основе анализа модель языкового поведения. В связи с этим появляется четвертый аспект (кроме морфологического, частотного и семантико-функционального), который позволяет исследовать частицы с точки зрения того, каким образом в дискуссию вводятся доказательства (Agrumente). Этот четвертый аспект автор называет коммуникативным, полагая, что утверждениям и доказательствам внутренне присуще коммуникативное намерение убедить собеседника в истинности точки зрения говорящего (S. 202—203). Этому способствуют частицы. Они являются, таким образом, индикаторами иллокутивной роли высказывания. Поскольку в основе всей книги лежат элементы «теории речевого акта», автор пытается несколько подробнее определить этот термин и все связанные с ним проблемы. Она пытается иерархически расчленить совокупность речевых актов и выявить их структуру (S. 208), состоящую из уровней, подуровней, составных частей. Это структурирование играет очень важную роль, т. к. позволяет установить участие отдельных частиц в конституировании различных языковых уровней. Исследование этого вопроса для автора очень важно, независимо от того, является ли каждое из зафиксированных автором слов частицей или нет. Однако для идентификации перечисленных автором слов в качестве частиц большее значение могли бы иметь другие факторы, к сожалению, не затрагиваемые в книге. Анализ нацелен в первую очередь на установленную Ю. Люттен для каждой частицы типовую структуру. Подводя итоги главы, автор пишет о двух особенностях семантического значения частиц: а) частицы находятся в определенной связи с первичной функцией, которую можно описать как логико-рациональную функцию, б) семантически частицы не обесценены, не редуцированы. Это заставило автора усомниться в том, можно ли вообще говорить о частицах в узком смысле (S. 315).

В пятой главе (S. 320—383) исследуются способы употребления частиц, дистрибу-

ция частиц в текстах различной тематической спецификации. Употребление частиц столь сильно привязано к повторяющимся, стереотипным выражениям, что это дает автору право говорить о формально связанных схемах. Эта связь реализуется не только в «спаянности» частиц с определенными речевыми актами, но и в употреблении соответствующих частиц вместе с характерными для них глаголами, местоимениями, типами позиций. Автор констатирует, что семантическое содержание «частиц» не подлежит никакому сомнению. О частицах можно говорить скорее как о лексемах, семантически неоднозначно интерпретируемых (S. 324). Употребление термина «частицы» для обозначения особой функциональной группы слов в разговорном языке не оправдано, так как функция всех обследованных лексем не проявляет никакого единства признаков (за исключением особой группы (*doch*, *eben*, *ja*). Употребление термина «частицы» в более узком смысле было бы оправдано в том случае, если бы можно было установить их специфическую функцию,соответствующую основным признакам разговорной речи. Однако группа *doch*, *eben*, *ja*, хотя она и характеризуется единством признаков вследствие ее немногочисленности, не дает оснований к тому, чтобы узаконить ее существование в качестве особого класса (S. 326). Поэтому еще раз возникает вопрос о том, имеет ли смысл употреблять термин «частицы». Для всей группы частиц нельзя обнаружить общего функционально-семантического аспекта. Те же частицы, которые участвуют в определенных речевых актах, особенно лексемы *doch*, *eben*, *ja*, могут быть выделены в отдельную группу (S. 332). Таким образом, автор не нашла внутреннего единства в исследованной группе «частиц» в широком смысле. Хотя термин «частицы» в узком смысле и может быть приписан целому ряду слов, однако, по мнению автора, «существует лишь одна возможность: видеть в них периферийную группу наречий» (S. 366—367).

В Приложении (S. 384—611) обобщается весь эмпирический материал. Методом реконструкции автор выявляет семантические конституенты, из которых состоит высказывание, и проверяет их согласованность с результатами теоретического анализа. Этот контрастивный метод позволил выявить те способы употребления «частиц», которые могут считаться типичными формулами разговорного языка.

Фундаментальная работа Ю. Люттен представляет собой значительный шаг вперед в исследовании структуры немецкой разговорной речи и семантического анализа определенной группы неизменяемых слов, многие из которых принадлежат к классу модальных и логических частиц или одновременно к тем и другим. Что же касается частиц как чрезвычайно употребительного класса слов в немецкой разговорной речи, их классификации, их отграничения от других классов слов, их функций, то эта монография открывает нам не очень много нового, хотя проблема частиц в ней является главной.

Нельзя не заметить, что введенные автором критерии выделения частиц могут рассматриваться лишь как некое приближение, не позволяющее выделить частицы достаточно точно и тем более исчерпывающе. Если все немецкие слова проанализировать на основе этих критериев, то мы обнаружим, что в класс частиц войдет масса слов, принадлежащих другим неизменяемым частям речи. Этому не приходится удивляться, ибо введенные автором критерии не вытекают с необходимостью из анализа самих неизменяемых слов. Так, *richtig*, *da*, вопреки мнению Ю. Люттен, никогда не выступают как модальные частицы. Слова *nicht*, *ja* могут, действительно, функционировать в качестве модальных частиц, однако как модальные частицы они обнаруживают у автора слишком высокую частотность: для *nicht* — 162, для *ja* — 1169 на 100 тыс. словоупотреблений. Это произошло потому, что основную массу примеров составляют случаи, где *nicht* и *ja* на самом деле не являются модальными частицами. Остальные слова, представленные в списке частиц, рассматриваются автором как немодальные частицы, хотя большинство из них, по нашему мнению, может функционировать именно как модальные частицы (в безударной позиции): «Da ist nichts zu machen, es ist *halt* so» (J. R. Becher); «Poldi, Poldi, was fehlt dir *blo*3?» (F. C. Weiskopf); «Das ist es *gerade*!», «Das wäre *einfach* herrlich!» (R. Klappenbach, W. Steinitz); «Was ist *denn* das für eine Frau?» (H. Fallada); «Dann laß es *eben* bleiben!» (F. G. Weiskopf); «Kutscher, halten Sie *mal*!» (F. C. Weiskopf); «Die würde den Mund *schon* halten!» (H. Fallada) и др.

Говоря о двух функциях частиц (для выражения логического отношения и для ссылки на общую для говорящего и слушающего коммуникативную подоплеку), автор неосознанно лишь подтвердила тот уже общеизвестный в советской германистике факт, что группа частиц распадается на два различных класса — на (a) модальные и (b) логические частицы, принципиально отличающиеся друг от друга: (a) «Wo habe ich *nur* die ganze Zeit meine Augen gehabt?» (E. M. Remarque); «Die würde den Mund *schon* halten!» (H. Fallada); (b) «*Nur* wir beide sind noch da, *nur* wir beide, du und ich, und niemand sonst!» (E. M. Remarque); «Das hat mir *schon* mein Vater erzählt» (H. Fallada). Поэтому таблица частотности частиц, в которой специально отмечены «модальные частицы», не дает убедительного представления о фактической «жизни» модальных частиц в немецкой разговорной речи.

Высказанные здесь критические замечания не должны звучать упреком автору, сделавшему много в этой области. Нам кажется, что прежде чем говорить о функциях частиц в разговорной речи, необходимо как минимум иметь конкретный список частиц, выделенных на основе определенных критериев. И последнее. Книга интересна тем,— и это, естественно, привлечет внимание всех исследователей частиц,— что в ней дан убедительный и до сих пор почти отсутствовавший семантический анализ группы неизменя-

емых слов и показано их взаимодействие с наиболее употребительными моделями разговорной речи немецкого языка, если даже при этом идут споры о том, принадлежит ли то или иное слово к собственно частицам. Вопрос о собственно частицах как в частном, так и в общем языкознании по-прежнему остается открытым.

Кривоносов А. Т.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Reiners L.* Der sichere Weg zum guten Deutsch. München, 1951.
2. Kolloquium «Deutsche Sprachpartikeln». Berlin, 1977.
3. Internationales Kolloquium «Partikeln und Deutschunterricht». Berlin, 1979.
4. *Weydt H.* Abtönungspartikel. Die deutschen Modalwörter und ihre französischen Entsprechungen. Berlin — Zürich, 1969.
5. *Aspekte der Modalpartikeln.* Studien zur deutschen Abtönung. Hrsg. von Weydt H. Tübingen, 1977.
6. Die Partikeln der deutschen Sprache. Hrsg. von Weydt H. Berlin — New York, 1979.
7. Partikeln und Deutschunterricht. Abtönungspartikeln für Lerner des Deutschen. Hrsg. von Weydt H. Heidelberg, 1981.
8. Texte gesprochener deutscher Standardsprache. Erarbeitet im Institut für deutsche Sprache. Bd. 1—3. Freiburg i. Br., 1971—1975.

Relations prédicat-actant (s) dans des langues de types divers. Éd. par Paris C. — Paris: SELAF, 1979. T. I—216 p:, T. II—206 p.

Рецензируемые два тома содержат материалы коллоквиумов по частной типологии языков, состоявшихся в Иври в мае 1977 и 1978 гг. и организованных Французским Национальным центром научных исследований. Они посвящены вопросам синтаксического строя предложения разнотипных языков (флективных, агглютинативных, изолирующих, эргативного и номинативного строя), членения предложений на разных уровнях — синтаксическом, логико-грамматическом и темо-рематическом, вопросам залоговых преобразований, связи актантной структуры с разными типами грамматических значений, выражаемых в предложении (время, вид и т. п.).

Коллоквиумы 1977 и 1978 гг. отразили результаты двухлетней работы группы по изучению предикатно-актантных отношений при Лаборатории бесписьменных языков и цивилизаций Национального центра научных исследований.

Первый том начинается публикацией Ж. Кассэ и К. Пари, в которой дается краткая сводка мнений участников первого коллоквиума по вопросу темо-рематического членения. К. Пари формулирует в своей части вступления три темы, предлагавшиеся вниманию участников второго коллоквиума. Это: иерархия актантов, граница между актантами и сирконстантами, актантно-аспектуальные отношения.

В книге можно выделить ряд работ, выполненных на материале многих языков в типологическом плане или на материале одного языка (ограниченной группы языков). Ценность этих публикаций для общей типологии заключается в специфике представленнных фактов или их нетрадиционной интерпретации. Одна из обсуждающихся тем — оформление предикатно-актантных отношений в различных языках. Традиционному пониманию предложения как единства субъекта и предиката (подлежащего и сказуемого) противопоставлено понимание предложения как структуры, организующим центром которой является предикат (сказуемое) и все строение которой зависит от его валентностей, семантических и синтаксических. Таким образом, вопрос о предикатно-актантных отношениях содержит в свернутом виде весь синтаксис и всю семантику предложения. Интересна статья Ж. Лазара «К типологии грамматических отношений глагола и его актантов». Отказавшись от употребления «недостаточно определенных» терминов «субъект», «объект», автор рассматривает лишь означающие, т. е. в самом общем виде сочетания маркировки предиката и актантов, а также допустимость трансформаций. В работе дается типология возможных маркировок предикатно-актантных отношений.

Близка по теме к описанной работе, но выполнена на материале одного языка — турецкого — публикация Ж. Бастюжи «Отношения между глаголом и именными синтагмами в турецком языке». Здесь показана не только структура глагольной синтагмы, т. е. фактически основной костяк предложения (порядок слов, оформление глагола и актантов), но и структура и оформление именной синтагмы. Показаны также случаи отклонения от нейтрального построения, вызванные различными факторами, как-то: невыраженность подлежащего, локализация по месту и времени.

К этой же теме примыкает статья Ж. Кассэ «Предикат и актантность в венгерском языке». Оформление предиката и актантов, порядок следования актантов рассматриваются в связи с членением на «фокус» и «тему», которое автор считает первичным при порождении предложения. Три основных актанта имеют каждый свою маркировку с незначительными вариантами (морфонологическими и др.). В статье описываются субъектное и объектное спряжение глаголов венгерского языка, причем отмечается, что маркеры объектного спряжения совпадают с маркерами посессивного изменения имен,

что автор считает не случайным, т. к. находит родственными значения обладания и объекта.

Этой же самой теме, т. е. типологическому описанию предикатно-актантных отношений в разных языках, посвящены следующие публикации: С. Платиель «Выражение процесса и предикатное отношение в языке само» (африканский язык семейства манде в республике Верхняя Вольта), Дж. Тэйлора «Сравнительная морфология глагола в кечуа: выражение актантности» и статья Р. Гзелла «Актанты, предикаты и структура тайского языка».

Несколько работ посвящены теме залога. К сожалению, нужно отметить, что авторы не знакомы с универсальным исчислением залогов, предложенным А. А. Холодовичем в 1970 г. [1], и другими работами на эту тему, опубликованными в ЛО ИЯ АН СССР [2, 3].

К этой теме относится статья Ж. К. Шевалье «Понятие залога в романских языках». Интересно, что ее автор, который, как и Ж. Стефанини, исходит из теории Г. Гийома и опубликовал книгу о залогах [4] во французском и испанском языках, приходит, однако, к другим выводам, чем Ж. Стефанини, хотя и имеет дело с близким материалом — залогами романских языков. Автор исходит из трех теоретических постулатов: 1) различение языка и речи: первого как потенций и способностей, второй — как единственной возможности реализации этих потенций; 2) рассмотрение единиц языка как нестабильных и подвижных механизмов; 3) взгляд на физическую организацию языка и особенно на его морфологию как на закономерное проявление архитектоники языка. Исходя из этих постулатов, автор пересматривает традиционную теорию залога, начиная с критики терминов. Он находит, что термины «агенс» и «пациенс» для обозначения семантических ролей имен при глаголах неудачны, и предлагает соответственно термины «gène» («порождение») и «site» («помещение процесса»). В ходе рассуждений он приходит к выводу, что неточно говорить об активном и пассивном залоге, правильнее — о прямом и косвенном.

Все употребления местоименных глаголов автор делит на две группы — медиальные и квазипассивные. Это деление связано, в частности, с категорией одушевленности/неодушевленности имен, употребляющихся при них в позиции подлежащего. Представляется, однако, что нецелесообразно приписывать терминам их прямой нетерминологический смысл. А если делать это, то термины, предложенные Ж. К. Шевалье, окажутся не более удачными, чем традиционные «агенс» и «пациенс», и точно так же не подходят для всех случаев. Так, если воспользоваться тем же примером, который приводит автор (*Я получил письмо*), то термины «gène» и «site» не больше подходят к нему, чем «агенс» и «пациенс». Это касается и названия залогов, которые мы воспринимаем как термины, соответствующие обозначаемому объекту. Для нас при любой перекодировке ясно, что в случае оппозиций залогов типа актива и пассива мы имеем дело с соответствием единиц двух уровней — семантического и синтаксического, а в случае рефлексива и реципрока в оппозиции участвует третий уровень — референции. Основное соответствие в случае рефлексива и реципрока — между семантическим и референтным уровнем. Синтаксический же уровень определяет лишь форму маркировки этих значений — в глаголе или в конструкции.

Среди работ, посвященных залоговой проблематике, интересна статья А. Одрикура «Важность отношения тождества для общей лингвистики». Автор описывает залоговые отношения в австронезийских языках. Если взять предложение языка пайван, которое переводится на русский как «Человек охотится с рогатиной на кабана в горах», то в этом языке можно построить целый ряд залоговых трансформов, в которых каждое имя этого предложения может быть подлежащим (*кабан*, *рогатина*, *горы*), причем в каждом таком варианте глагол будет иметь особую форму залога. А. Одрикур, анализируя эти предложения, отмечает, что они непереводимы на французский язык (имеется ввиду перевод с сохранением стуктуры предложения). Он замечает также, что в них, наряду с глаголами (изменяющимися не только по залогу, но и по виду), есть также маркер именного предложения. Поэтому он считает, что единственный способ их истолкования — это интерпретация через именное предложение, в котором выражено отношение тождества.

Хочется, однако, возразить, что при такой трактовке исчезают некоторые грамматические значения, выраженные в языке пайван, например, отношение вида. Кроме того, отметим, что подобные же примеры из языка маранао, одного из филиппинских языков, разбирались А. А. Холодовичем в цитированной работе и целиком укладываются в его теорию диатез и залогов. Специфика этих языков состоит в том, что в них для каждой из диатез существует своя маркировка в глаголе. Обычно в языках наблюдается своего рода экономия средств выражения, в результате которой несколько косвенных диатез маркируются одной залоговой формой. Для ряда филиппинских и австронезийских языков, напротив, характерна развитая система залогов, в которой каждой диатезе соответствует особая глагольная форма. Что касается показателя именной фразы, встречающегося в описываемых предложениях языка пайван, то его наличие объясняется, вероятно, актуальным членением (см. помещенную в первом томе статью М. Куайо, согласно которой одним из дифференциальных признаков выделения может быть признак именной фразы).

Помимо названных выше, теме пассива посвящены следующие публикации: Ж. Ребуши «Вокруг пассива и антипассива в бискайском диалекте баскского языка» и А. Картье «Об одном типе пассива в индонезийском языке».

Третья тема сборника, которой касаются многие авторы, — актуальное

или темо-рематическое членение. В этой связи интересна работа М. Кауйо «Способы выражения эмфазы в различных языках». Для автора термины «эмфаза», «выделение», «фокализация» являются синонимами. Он рассматривает способы выражения эмфазы в 16 неродственных языках и приходит к выводу, что средства выражения эмфазы (помимо просодических) сводятся к четырем большим типам, которые обычно комбинируются между собой: 1) изменение порядка следования элементов; 2) использование морфемы, более или менее специализированной для выражения эмфазы; 3) использование морфемы, соответствующей французскому *c'est* или *est*; 4) номинализация неэмфатизированной части и отделение эмфатизированной при помощи способа, аналогичного французскому *c'est... que*.

В некоторых работах рецензируемого сборника авторы объединяют несколько тем. Так, например, публикация Л. Галана «Отношения глагола и имени в берберском высказывании» состоит из двух частей, посвященных соответственно проблеме подлежащего и залога. В первой части он показывает, что глагол в берберском языке обязательно содержит маркировку подлежащего (лицо, число) и может употребляться без подлежащего, выраженного именем. Имя, присутствие которого грамматически не обязательно, является, по мнению автора, не подлежащим, а комплементом, обозначающим тему. Приводятся примеры с разной комбинацией одних и тех же элементов, которые трактуются как предложения с различиями в актуальном членении. Во второй части статьи обсуждаются вопросы залога. Проводится различие между значениями актива, пассива и статива, выражаемыми в берберском глаголе, рассматриваются вопросы соотношения залоговых форм и значений.

Четвертая общая тема двухтомника могла бы быть сформулирована так: связь предикатно-актантных отношений с различными типами грамматических значений, выражаемых в предложении, и с грамматическими категориями глаголов и имен. К. Фукс в статье «Некоторые проблемы лингвистического представления процесса» изучает префиксальные глаголы в немецком, английском, греческом и латинском языках и устанавливает связь между конструкцией глагола и пространственным, временным и квалитативным представлениями процесса (образ действия, причина, следствие, отношение к говорящему).

К. Чехова в публикации «Оппозиция одушевленность/неодушевленность и конструкция глагола» устанавливает семантическую иерархию имен (имя лица, одушевленное неличное имя и неодушевленное имя) и утверждает, что в ряде языков конструкция глагола, при прочих равных условиях, зависит от семантического подкласса имени, которое выполняет при глаголе роль пациенса. Так, если в языке есть эргативная конструкция и конструкция с маркированным пациенсом, то употреблению эргативной структуры способствует более низкое положение имени в этой иерархии: конструкция с маркированным пациенсом будет употребляться, если в этой роли выступает одушевленное имя, а эргативная конструкция — при неодушевленном имени. Теоретические положения автора иллюстрируются примерами из хинди. Мысль о связи между подклассами имен в актантных позициях и стуктурой предложения заслуживает внимания.

Теме эргатива в черкесском языке в сопоставлении с баскским посвящена публикация К. Пари «Экзистенциальная интерпретация „эргативной конструкции" фразы в черкесском языке». Автор утверждает, что любая основа (глагола, прилагательного, существительного) может выступать в этом языке в предикативной функции. Основным отношением, которое выражается обязательно в черкесском предложении, автор считает отношение существования, связанное с предикатами бытия, состояния, признака. Любой глагол, если он употреблен не в настоящем времени, выражает не действие, а состояние, существование. Именно с этим основным значением К. Пари связывает эргативный строй черкесского языка.

В одной рецензии нет возможности охарактеризвать все 18 опубликованных в двух томах статей. Помимо названных публикаций, в них напечатаны следующие работы: М. Лонэ «Датив в языке без падежей (классическом нахуатле)» — (нахуатль — язык индейцев Мексики) и К. Моиз-Фори «Актантная структура деху» (деху — один из восточных австронезийских языков).

В целом рецензируемая книга представляет большой интерес для лингвистов различных специальностей, для типологов и специалистов по общему языкознанию.

Корди Е. Е.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Холодович А. А.* Залог. I: Определение. Исчисление.— В кн.: Категория залога. Л., 1970. Переиздано в кн.: *Холодович А. А.* Проблемы грамматической теории. Л., 1979.
2. Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги. Отв. ред. Холодович А. А. Л., 1974.
3. Диатезы и залоги. Л., 1975.
4. *Stefanini J.* La voix pronominale en ancien et en moyen français: Thèse, Université de Paris, 1962.

Aspects de l'espace en Europe. Étude interdisciplinaire. Éd. par Alvarez-Pereyre F.— Paris: SELAF, 1979. 216 p.

Рецензируемый сборник посвящен анализу традиционных представлений о пространстве у народов Европы. С этой точки зрения рассматриваются средства языкового выражения и фольклорные материалы. Внимание авторов привлекают прежде всего маргинальные и реликтовые ареалы. Этому можно найти *объяснение как в относительной* архаичности соответствующих этнокультурных областей, так и в общей этнолингвистической направленности сборника.

Авторы несколько абсолютизируют психолингвистическую и культурно-историческую значимость рассматриваемых явлений: их архаичность должна как бы подкреплять специфическое структурирование пространства в диалектах, не характерное для соответствующих языковых общностей в целом. Тематическое и географическое разнообразие *материала* усугубляется фрагментарностью объектов исследования, представленных единичными и частными примерами. В связи с этим о «междисциплинарном исследовании» (сборник имеет подзаголовок «Etude interdisciplinaire») можно говорить лишь условно. Комплексный подход к изучению пространственных представлений в книге отсутствует, и издание распадается на ряд отдельных этюдов, связанных между собой только темой «пространства», но не общностью теории и единством методов *исследования*.

Обоснованию темы посвящена вводная статья Ф. Альвареса-Перейры «Пространство и язык». Им сделана попытка осмыслить поставленную проблему с учетом лингвистических и культурно-исторических данных. Но само представление о «пространстве» остается при этом расплывчатым, варьируя от обиходно-бытовых представлений до формулировок в терминах теории относительности Эйнштейна (р. 24). При этом Ф. Альварес-Перейра, ссылаясь на *наблюдения* Б. Л. Уорфа, отмечает, что «вообще пространство является субститутом других систем отношений» (р. 22).

Разумеется пространство (как и время) является универсальной точкой отсчета для языковой и соответственно для социальной деятельности человека. Было бы, однако, ошибочным абсолютизировать степень специфичности пространственных представлений у носителей разных языков. Специфичность членения окружающей действительности *в каждом отдельном языке*, в частности и таких универсальных категорий, как пространство и время, является бесспорным фактом. Этот языковой факт сравнительно легко устанавливается на уровне выражения, но не значит, что соответствующие представления носителей языка могут быть выведены из способа их лексического или грамматического оформления.

Преувеличенный интерес к семантическому аспекту языка, как ни парадоксально, приводит к абсолютизации наблюдаемых оттенков значения, которые, как правило, имеют узуальный характер и порождаются устойчивыми отношениями языковой системы. На всех уровнях языка это прежде всего семантические отношения, независимо от того, выражаются ли они лексически или грамматическими средствами или даже отдельными предложениями. С этой точки зрения рецензируемый сборник достаточно показателен, несмотря на общую для всех его авторов установку на выявление именно специфического восприятия пространственных отношений в исследуемых энтнолингвистических ареалах.

Анализу собственно языкового значения в сборнике посвящена только статья Ф. Сиверс «Идея пространства в эстонской флексии и некоторые лексические параллели» (р. 31—42). На материале одного из архаичных диалектов эстонского языка автор исследует две серии падежных флексий, ориентирующих субъект и объект действия с точки зрения его нахождения и перемещения в пространстве. Вместо традиционной группировки падежей, локализующих действие, на «внутренние» с показателем *-s-* (иллатив, инессив, элатив) и «внешние» с показателем *-l-* (аллатив, адессив, аблатив) предлагается перекрестная группировка с учетом перемещения в пространстве и во времени: 1) элатив и иллатив как «внутренние» и аблатив и аллатив как «внешние» падежи; 2) элатив и аблатив как падежи, указывающие на предшествующее положение, а иллатив и аллатив как падежи, указывающие на последующее положение. Соответственно выделяются (1) глаголы, выражающие идею местонахождения, и (2) глаголы, выражающие идею движения, в том числе векторного и невекторного. Затем устанавливаются корреляции схемы падежной флексии и значений глагола (р. 42).

По мнению автора, «схема падежей локализации действия (cas locaux) может быть использована для классификации соответствующих глаголов» (р. 42). Другими словами, различаются (1) векторные глаголы, т. е. указывающие на направление движения или его исходный пункт, и (2) невекторные глаголы, которые могут быть объединены с глаголами состояния. Эта схема, выведенная на материале языка с чрезвычайно развитой флексией, представляется достаточно логичной. По существу она имеет универсальный характер и может быть применена, скажем, к анализу системы предлогов в индоевропейских языках [1].

Категория местных падежей, по-видимому, во многих случаях возникает из послелогов, причем грамматическое значение продолжает зависеть от лексического. Это могло бы объяснить существование в языках, где нет отдельной формы

[1] В этом отношении показательны выводы о вероятном развитии флексии местных падежей из послелогов. Применительно к финно-угорским языкам см. [1]; типологические обобщения см. в [2].

аблатива, реликтовых его форм только для слов со значением «деревня», «поле», «дом», «город», и т. п. [3, 4]. Оперируя исключительно языковым материалом, Ф. Сиверс воздерживается от анализа собственно пространственных представлений носителей языка, но при этом достаточно аргументированно показывает связь грамматических категорий и значений с лексико-грамматическими единицами языка, отражающими реальные пространственные отношения.

Исходя из этих же отношений, Ж. Дретта в статье «Свадьба в Б». интерпретирует векторное противопоставление «внешнего» и «внутреннего» как отражение ряда бинарных оппозиций: «дом невесты — дом жениха», «мужское — женское», «хлеб — земля», «дождь — небо» (р. 84, 90). Как публикация чисто этнографического характера статья полезна, но лингвистический анализ ограничивается констатацией особой частотности глаголов движения в описании свадебного ритуала.

Статья Ф. Альвареса-Перейры «Термины обращения и социальное пространство в департаменте Мен» (р. 105—128) посвящена языковому этикету сельских жителей. Автор отмечает, что в последние годы в связи с социальными изменениями (уменьшение числа сезонных рабочих) в сельской местности исчезают обращения *maître* и *maîtresse*. Термин *gars* по-прежнему очень употребителен, в частности как обращение к чужим; лицеисты часто ставят его перед именем (*gars Paul*). Изменилось употребление местоимений: обращение на «ты» стало общим среди людей одной возрастной группы, происходящих даже из разных деревень, а различие в обращении в зависимости от пола собеседника исчезает, как и обращение на «вы» между сверстниками. Статья интересна своими наблюдениями, но в ней рассматриваются не пространственные представления как таковые, а социальная дистанция между говорящими.

Статья К. Вильгард «Географическое членение и восприятие пространства в сельской местности» (р. 129—141) отчасти примыкает к предыдущей с той разницей, что автор рассматривает реальную коммуникативную ситуацию, которая приводит к делению на «своих» и «чужих». Хотя различные коллективы общения продолжают группироваться по географическому принципу (нижняя часть села — верхняя часть села), однако по мере увеличения воздействия со стороны средств массовой информации (радио, телевидение) ослабевает общение внутри коллектива.

Наблюдения К. Вильгард, очевидно, имеют силу не только для окрестностей Дижона, но и для других местностей, а рассмотренные ею процессы территориального расслоения традиционных коллективов общения, несомненно, должны быть учтены при диалектологическом и социологическом анкетировании.

Статья Ж. Фрибург «Представления о пространстве, отделяющем мир живых от потустороннего мира, в Испании» (р. 143—155) основана на анализе фольклорных данных и эпитафий. Автор полагает, что «в своем желании конкретизировать абстрактное испанцы приближают к себе мир сверхъестественных сил» (р. 153). Анализ русского фольклора (особенно духовного стиха), несомненно, покажет идентичную картину и снимет специфику «испанского восприятия».

Е. Цаварас в статье «Пространство и отождествление местности» (р. 157—188) исследует микротопонимику греческого села Калоскопи (до 1924 г. Кукувиста). Заслуживает внимания установленный автором факт обновления микротопонимики, которое приводит к перестройке системы микротопонимов, что должно учитываться при их этимологическом анализе. Приведены подробные списки (всего 165 топонимов, происхождение 10 из них не определено) с классификацией по отношению к ландшафту, к флоре, к объектам человеческой деятельности, к ритуальным и мифологическим объектам. Характерно, что топонимы, образованные от названий растений (всего 18), занимают четвертое место по частотности, что примерно соответствует частотности аналогичных древнегреческих топонимов.

В отличие от других авторов М. Лабарбье в статье «Ион Талер: путь героя сказки» (р. 189—200) и Ада Мартинкус в статье «Брак и развод воды и земли» (р. 201—211) используют опубликованный ранее материал. Но если литовская сказка «Королева ужей» широко распространена и неоднократно фиксировалась литовскими фольклористами, то румынская явно представляет собой контаминацию различных сюжетов. Вызывает сомнение возможность анализа пространственных представлений на материале сказки, сама поэтика которой предполагает свободное обращение с реальным пространством.

Пространство авторами книги, как можно заметить, понимается и интерпретируется в нескольких аспектах. Это, во-первых, пространство как таковое (т. е. физическое); во-вторых, социальная дистанция между говорящими, или этикет (т. е. пространство метафорическое), в-третьих — пространство как среда обитания (очеловеченное физическое пространство) и, наконец, пространство в качестве структурной организации художественного (фольклорного) текста. В выборе материала (обряд, фольклор, грамматика, микротопонимика), как и в выборе района Европы, авторы ограничены не были. Отсюда дополнительная пестрота и отсутствие соотнесенности методов исследования пространственных отношений. С другой стороны, ограничение пределами Европы не дает возможности сделать достаточно определенные выводы о соотношении различных по «уровню» пространственных представлений в человеческой культуре. Между тем определенное соотношение, например, микротопонимики и мифологических представлений исследователям удалось показать. Отсутствие таких сопоставлений в рецензируемом сборнике заставляет рассматривать его как предварительную постановку темы, не претендующую на методологическое обобщение.

В целом сборник содержит достаточно показательные статьи, привлекая внимание читателя к малоразработанному и крайне интересному вопросу этнолингвистики.

Сухачев Н. Л., Казанский Н. Н.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Майтинская К. Е.* Историко-сопоставительная морфология финно-угорских языков. М., 1979, §§ 163—177.
2. *Гухман М. М.* Историческая типология и проблема диахронических констант. М., 1981, с. 61—70.
3. *Зограф А. Н.* Морфологический строй современных индоарийских языков. М., 1976, с. 91.
4. Конференция «Проблемы реконструкции». 23—25 октября 1978 г. (Тезисы докладов). М., 1978, с. 22.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1982

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 25 по 27 ноября 1981 г. в Баку состоялось отраслевое совещание председателей специализированных советов по языкознанию, организованное Высшей аттестационной комиссией при Совете Министров СССР, Отделением литературы и языка АН СССР и Академией наук Азербайджанской ССР. Совещанию предшествовала большая организационная работа, которая была проведена Оргкомитетом, возглавляемым чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филиным. В нем приняли участие свыше 90 ведущих специалистов в области языкознания из многих городов Советского Союза. Впервые у нас в стране был дан развернутый анализ докторских и кандидатских диссертаций в определенной области науки за пятилетие. Совещание открыл начальник отдела гуманитарных наук ВАК СССР В. М. Мельников, отметивший важность повышения качества подготовки специалистов высшей квалификации в области языкознания в связи с высокими задачами, поставленными перед советскими учеными XXVI съездом КПСС. Вступительное слово произнес заместитель академика-секретаря Отделения литературы и языка АН АзербССР А. Мирахметов. Коллективный доклад акад. Г. В. Степанова, чл.-корр. АН СССР В. Н. Ярцевой, проф. Ю. Д. Дешериева и В. М. Мельникова «Задачи лингвистической науки в свете решений XXVI съезда КПСС и повышение уровня диссертационных исследований по языкознанию» был прочитан В. Н. Ярцевой. В докладе отмечалось, что XXVI съезд партии дал советским ученым общую стратегию научно-технического развития, выработал систему мер, направленную на более полное и масштабное использование научно-технической революции, поставил перед теорией и практикой актуальные задачи научного овладения новыми процессами в общественном производстве, создания таких организационных и экономических условий, которые позволили бы полнее использовать все преимущества социалистического планового ведения научных исследований. В этих условиях в языкознании, как и в любой другой отрасли науки, выдвигается принцип, согласно которому преимущественное внимание должно быть уделено разработке фундаментальных теоретических и прикладных проблем наиболее важных, перспективных направлений, актуальных комплексных междисциплинарных проблем, а также проблем целевых программ. Была подчеркнута необходимость дальнейшего совершенствования проблематики докторских и кандидатских работ, ее разумного укрупнения, т. е. борьбы с мелкотемьем, устранения дублирования, выдвижения тематики, диктуемой логикой развития самой науки о языке, увеличения числа общетеоретических исследований. Требуется активизация фундаментальных исследований в рамках специальностей, по которым мало или вообще не было защищенных диссертаций за рассмотренный период (например, по специальности «монгольские языки»). За последние пять лет ВАК СССР присудила степень кандидата наук 114 тыс. чел. и степень доктора наук 8 тыс. чел. Среди защищенных докторских и кандидатских диссертаций имеются исследования по языкознанию, явившиеся существенным вкладом в науку о языке. Вместе с тем в проблематике, выборе тем кандидатских и докторских диссертаций, в их исполнении, а также в методике исследований встречаются недостатки: невысокий теоретический уровень, абстрактный и описательный характер, слабая связь с практикой и др. Наблюдается перепроизводство докторов и кандидатов в одних областях и острая нехватка их в других областях. Была проанализирована наиболее важная и актуальная проблематика, относящаяся к основным отраслям и разделам общего и частного языкознания. В докладе подчеркивалось, что материалы, предложения, рекомендации, присланные в связи с подготовкой отраслевого совещания, а также ценный опыт, накопленный экспертным советом по филологии и искусствоведению ВАК СССР, нуждаются в более глубоком изучении. Выражалась надежда на то, что широкий обмен мнениями на совещании позволит более глубоко уяснить задачи лингвистической науки, внести ценные предложения и рекомендации по улучшению подготовки лингвистических кадров и повысить уровень диссертаций по языкознанию.

С докладом «О подготовке научных и научно-педагогических кадров по филологическим наукам и дальнейшем совершенствовании работы специализированных советов по языкознанию» выступил председатель экспертного совета по филологии и искусствоведению ВАК СССР проф. В. И. Кулешов. В докладе говорилось, что существующая в настоящее время система аттестации в целом себя оправдывает, она открывает широкие возможности для объективной оценки качества диссертационных работ и заслуженного присуждения ученых степеней.

диссертационной работе отводится чрезвычайно важная роль, т. к. именно в диссертации можно наиболее полно и с учетом творческой индивидуальности автора изложить результаты научного исследования. Написание диссертации не должно быть самоцелью. Стремление во что бы то ни стало вслед за кандидатской защитить докторскую диссертацию не имеет ничего общего с наукой и является негативной тенденцией. В связи с этим следует требовать от докторанта публикации монографии. Доктор наук должен во всяком случае быть компетентным и известным специалистом в своей области. Темы кандидатских и докторских диссертаций необходимо планировать и рационально распределять, не допуская единоличной разработки той или иной научной проблемы одним единственным ученым. Специализированные советы не должны допускать в своей работе брака. Случаи нарушения сдачи кандидатских экзаменов, нарушения правил назначения оппонентов, плагиата и т. д. должны своевременно устанавливаться спецсоветами в процессе подготовки диссертанта к защите. Количество спецсоветов в настоящее время превышает реальные потребности. Необходимо сокращать число советов, объединять их. В докладе была проанализирована работа экспертного совета за истекшее пятилетие, дана на конкретных примерах общая оценка представленных в ВАК докторских и кандидатских диссертаций по языкознанию.

С докладом «Анализ тематики докторских диссертаций по языкознанию, рассмотренных Президиумом ВАК СССР в десятой пятилетке» выступил зам. председателя экспертного совета по филологии и искусствоведению ВАК СССР проф. В. М. Солнцев. В докладе подчеркивалось, что соблюдение высоких требований, предъявляемых ВАК к соискателям, научным центрам и спецсоветам, делает докторские диссертации по языкознанию одним из важных факторов развития данной области науки. Среди более ста докторских исследований, рассмотренных экспертным советом и утвержденных Президиумом ВАК СССР за период с 1 июля 1978 г. по 1 июля 1981 г., подавляющее большинство работ отвечают требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям. В них решаются крупные научные проблемы, возрос их идейно-теоретический уровень, усовершенствовалась методика обработки материала. Значителен вклад диссертационных работ в теорию языкознания и в практическую деятельность преподавателей языка. Почти две трети утвержденных работ посвящены русскому языку и другим языкам народов СССР. Преимущественный интерес к изучению языков в своей собственной стране оправдан и в научном, и в практическом отношении. Он свидетельствует о том, что отечественные языковеды активно участвуют в изучении средств общения, а тем самым жизни и культуры народов СССР. Однако не все работы равноценны по масштабности и актуальности своей тематики и в равной степени отвечают самым высоким требованиям. Нуждается в дальнейшем упорядочении номенклатура самих специальностей. Назрело время для создания координационного совета по определению тематики диссертаций. Совершенствование тематики — важный резерв повышения качества докторских исследований.

На совещании был прослушан доклад члена экспертного совета по филологии и искусствоведению ВАК СССР А. М. Щербака «О совершенствовании тематики кандидатских диссертаций по языкознанию». Докладчик отметил, что ежегодное возрастание числа защищаемых кандидатских диссертаций заставляет повысить требования к их научному уровню. Необходимо разработать конкретную систему мер, направленных на совершенствование тематики кандидатских диссертаций. Если по одним специальностям защищается огромное количество диссертаций, то почти нет диссертационных работ по таким специальностям, как «иранские языки», «семитские языки», ощущается явный недостаток работ по общему языкознанию. Докладчик внес предложение издать справочник «Диссертации по языкознанию, защищенные до 1981 г.».

С докладом «О состоянии и перспективах подготовки языковедческих кадров в республике в свете решений XXVI съезда КПСС и XXX съезда Компартии Азербайджана» на совещании выступил директор Института языкознания им. Насими АН Азербайджана акад. АН АзербССР М. Ш. Ширалиев. Докладчик рассказал об успешном развитии науки о языке в Азербайджане, где работает большой отряд языковедов, среди которых сорок докторов и около двухсот пятидесяти кандидатов наук. В республике фунционируют четыре специализированных совета по языкознанию: в докладе была проанализирована деятельность этих советов. Отмечая трудности, которые испытывают соискатели при попытках опубликовать свои работы, докладчик внес предложение печатать основные положения диссертационных работ в виде расширенных авторефератов с увеличением их тиража.

В прениях по докладам выступили: Р. Г. Котов (Москва, Ин-т языкознания АН СССР), Л. И. Баранникова (Саратовский госуниверситет), Ш. Ш. Сарыбаев (Ин-т языкознания Казахской АН), В. И. Асланов (Ин-т языкознания им. Насими Азербайджанской АН), В. В. Бурлакова (ЛГУ), Б. Г. Таирбеков (Азгосуниверситет), Й. Ю. Поленис (Вильнюсский госуниверситет), Э. Р. Тенишев (Ин-т языкознания АН СССР), В. Н. Ярцева (Ин-т языкознания АН СССР), Н. З. Гаджиева (Ин-т языкознания АН СССР), Н. А. Баскаков (Ин-т языкознания АН СССР), Д. Т. Таджиев (Таджгосуниверситет), А. И. Домашнев (ЛО Ин-та языкознания АН СССР), Л. С. Бархударов (МГПИИЯ им. М. Тореза), А. Я. Блинкена (Ин-т языка и литературы Латвийской АН), М. Т. Тагиев (Азгосуниверситет), Л. А. Введенская (Ростовский госуниверситет), А. Ф. Парастаев (ВАК СССР, зам. начальника отдела гуманитарных наук). Во всех без исключения выступлениях давалась высокая оценка работы совещания и выска-

зывалось предложение продолжить практику проведения подобных отраслевых совещаний. Выступающие информировали совещание о специфике деятельности своих спецсоветов, внесли конкретные предложения, направленные на совершенствование тематики докторских и кандидатских диссертаций, а также системы аттестации специалистов высшей квалификации. Было предложено создать отдельные специализированные советы по некоторым разделам языкознания, в частности, по прикладной лингвистике (Р. Г. Котов), увеличить тираж публикуемых авторефератов и ввести в практику их рассылку во все специализированные советы по языкознанию (М. Т. Тагиев), уточнить существующую номенклатуру и более полно отразить в ней отдельные специальности, а также внести новые (например, «переводоведение» — Л. С. Бархударов, Б. Г. Таирбеков).

В. И. Кулешов и А. Ф. Парастаев ответили на вопросы участников совещания, связанные с процедурой аттестации и работой специализированных советов.

В заключение были приняты Рекомендации отраслевого совещания председателей специализированных советов по языкознанию. В целях повышения требовательности к соискателям, качеству диссертаций, также улучшения деятельности специализированных советов рекомендуется осуществить ряд мероприятий: 1) рекомендовать Президиуму ВАК СССР установить, что по докторской диссертации, как правило, предварительно публикуется монография; 2) в связи с необходимостью повышения теоретического уровня подготовки аспирантов следует регулярно привлекать их к участию в специальных школах, конференциях и совещаниях по проблематике их специальности; 3) в деятельности спецсоветов встречаются недостатки организационного и содержательного характера. Необходимо специально рассмотреть вопрос о целесообразности существования спецсоветов, функционирующих с «недогрузкой» по узкой проблематике; 4) центральным лингвистическим институтам рекомендовано организовать учет и периодическую публикацию тем защищенных докторских и кандидатских диссертаций по своим специальностям с краткой аннотацией. Это будет способствовать устранению дублирования, повторения и варьирования тем диссертационных работ; 5) всем спецсоветам рекомендовано обсудить на своих заседаниях итоги прошедшего отраслевого совещания. О результатах обсуждения и намеченных мероприятиях по реализации его рекомендаций информировать ВАК СССР.

Алексеев А. А. (*Москва*), *Абдуллаев К. М.* (*Баку*).

10—13 ноября 1981 г. в Перми проходила научно-теоретическая конференция «Проблемы дериватологии», организованная Институтом языкознания АН СССР и Пермским государственным университетом им. А. М. Горького. В ее работе приняли участие научные сотрудники Института языкознания и Института русского языка АН СССР, научные работники более 20 университетов, 22 педагогических институтов и ряда неязыковых вузов пяти республик.

Конференция была посвящена вопросам деривации. На ее пленарных и секционных заседаниях были обсуждены вопросы лексической (собственно словообразовательной), семантической, морфологической и синтаксической деривации. В докладе Л. Н. Мурзина (Пермь) «О динамической природе языка» были рассмотрены вопросы соотношения динамики и статики. По мнению автора, «понятие динамики языка с необходимостью предполагает понятие деривации: вне деривации нет и динамики языка». Доклад П. А. Соболевой (Москва) «Деривационные процессы в связи с разграничением синхронии и диахронии» был посвящен характеристике «словообразовательных отношений» и «словообразовательных процессов». Основная функция словообразовательных процессов — номинация, а основная роль словообразовательных отношений — структурно-унифицирующая. В системе современного русского и английского языков П. А. Соболева выделяет 3 типа словообразовательных отношений — аффиксацию, конверсию, словосложение. Л. В. Сахарный (Ленинград) выступил с докладом «Словообразование в теории речевой деятельности». Он остановился на объектах номинационного и предикационного синтаксиса, способах развертывания и законах свертывания, описании системы словообразовательных моделей, охарактеризовал производное слово как элемент воспроизводимый и как элемент членимый.

К. А. Долинин (Ленинград) в докладе «Высказывание — имя ситуации?» поднял ряд актуальных проблем семантики высказывания. Он охарактеризовал ситуацию как «референт высказывания, который следует отличать от денотата — нерасчлененного или частично расчлененного психического образа референтной ситуации». По его мнению, в значении пропозиции выделяются два аспекта — денотативный и десигнантный (сигнификативный): «денотативный аспект содержания высказывания воплощается главным образом в теме», а «десигнат связан в первую очередь с ремой высказывания». Э. М. Медникова (Москва) в докладе «Реализация семантической потенции языка в словообразовании» рассмотрела роль словообразования в развитии и развертывании семантических возможностей языка. «Семантическая потенция» — это способность языка «фактически неограниченно обозначать любые, до сих пор не существовавшие предметы, не наблюдавшиеся процессы, не возникавшие ситуации, которые следовательно, не имели языкового обозначения». С докладом «Связи словообразования с лексикой и грамматикой (на материале гнезд однокоренных слов)» вы-

ступил А. Н. Тихонов (Москва). Он охарактеризовал различные аспекты системных связей словообразования с лексикой и грамматикой, подробно остановился на роли словообразовательных гнезд в системной организации лексики, в упорядочении антонимических, синонимических и омонимических отношений производных слов. В русском языке словообразовательные гнезда выступают как средство отражения синонимии, антонимии, омонимии производящих слов в производной лексике.

В докладе Е. В. Красильниковой (Москва) «О регулярности словообразовательных моделей в русской разговорной речи» отмечалось, что «ведущим принципом регулярности в РР является „семантический принцип“». Регулярность словообразовательных моделей в РР связана также со структурой высказывания и текста.

Г. П. Мельников (Москва) в докладе «Механизмы скрытой смысловой деривации русских глагольных словоформ» показал, как «одна и та же глагольная словоформа оказывается средством выражения различного категориального содержания, например, вида, времени, залога».

В докладе А. И. Кузнецовой (Москва) «Соотношение центра и периферии в области морфемики русского языка» были рассмотрены количественные и качественные критерии разграничения изучаемых явлений. Им был посвящен также доклад Г. С. Чинчлея (Кишинев) «„Центр“ и „периферия“ словообразовательной и лексической систем». По его мнению, понятия центра и периферии применительно к словообразованию и лексике не совпадают.

На пленарных заседаниях конференции выступили также М. Н. Кожина (Пермь) с докладом «Язык и стиль в динамическом аспекте», И. С. Торопцев (Воронеж) — «Словообразовательная модель в рамках ономастической теории» и др.

По просьбе участников секции были укрупнены и все остальные доклады были прослушаны и обсуждены на заседаниях двух секций — синтаксической деривации и лексической деривации.

На заседаниях секции синтаксической деривации обсуждались доклады А. Н. Печникова (Ульяновск) «К вопросу об организации структуры предложения», Ю. А. Левицкого (Черновцы) «О параллелизме сложного предложения и текста в аспекте их порождения», П. Л. Шишенкова (Пермь) «К вопросу о динамике исходных единиц», В. С. Григорьевой (Тамбов) «О роли экзистенциональных предложений в процессе порождения текста», В. П. Белянина (Москва) «Некоторые закономерности порождения разрушенного текста», С. А. Минеевой (Пермь) «Зависимость порождения текста от его назначения», В. В. Химика (Чебоксары) «Экспрессивная деривация как источник произвольных персонификаций», А. А. Романова (Калинин) «Деривационные особенности перформативных высказываний», Л. А. Дубровской (Пермь) «О разграничении синтаксических структур на основе их деривационных признаков», В. А. Михайленко (Тула) «Условия порождения высказываний с косвенной речью в современном немецком и русском языках».

С сообщениями на этой секции выступили также: Р. З. Назарова (Саратов) «Ономасиологический аспект окказионального значения», Л. А. Авдеева (Ленинград) «Об изменении структуры древнеанглийских сложных существительных с несвободными компонентами», М. Ф. Власов (Пермь) «О семантических наращениях компонентов сложного предложения», Л. Г. Лапина (Пермь) «К вопросу о сжатии и развертывании текста при переводе местоименных субститутов», О. П. Жданова «Модальные трансформы базовых структур с глаголами поведения», В. З. Демьянкова (Москва) «Деривация в концепции гипотетической интерпретации», С. И. Мишланова (Пермь) «Обучение связной речи на уроках русского языка на основе упражнений синтетического характера», Е. Л. Гинзбург, Ж. М. Глозман, Л. С. Цветкова (Москва) «Семантика и морфология комитатива при афазии», М. В. Мельникова (Пермь) «Семантическая деривация глагольных форм», Б. Ф. Игнатов (Тюмень) «Коммуниканема — языковой коррелят высказывания» и др.

На заседаниях секции лексической деривации были прослушаны и обсуждены доклады: Ю. С. Азарх (Москва) «„Центр“ и „периферия“ в деривации суффиксальных имен существительных русского языка», Л. П. Катлинской (Москва) «Мотивированность аффиксальных дериватов как стимул деривационных процессов», М. Н. Янценецкой (Томск) «Тематические объединения производных слов и словообразовательная система русского языка», В. Б. Силиной (Москва) «Динамизм развития русского глагольного вида в словообразовательном аспекте», И. З. Маноли (Бельцы) «„Деривация“, „потенция“, „норма“: их соотношение в стилистике русского словообразования в сравнении с французским», Н. К. Фролова (Тюмень) «К вопросу первичности и вторичности антропонимических и топонимических номинаций», М. В. Китайгородской (Москва) «Специфические особенности деривационных процессов в русской разговорной речи», С. С. Карабековой (Коканд) «Глубинная словообразовательная структура имен прилагательных с префиксом *не-* и суффиксом- *ем-* (*-им-*)», М. Д. Барченковой (Москва) «Диагностирование вторичного слова», И. К. Архипова, А. Г. Гурочкиной (Ленинград) «О распределении средств деривации», С. П. Кушнерук (Тюмень) «Терминообразовательные процессы с позиции нечетких множеств», С. М. Данильченковой (Тюмень) «Присубстантивное идеальное содержание в словопроизводственном процессе», Э. М. Солодухо (Казань) «Общие предпосылки семантических расхождений изоморфических фразеологических интернациона-

лизмов», Ю. К. Волошина (Краснодар) «Динамика деривационных процессов», Б. Н. Ворожцова (Ижевск) «О соотношении семасиологического и ономасиологического подходов в деривацтологии», Р. И. Розиной (Москва) «Роль слова во фразообразовании как критерий различения абстрактного и конкретного в языке», И. Т. Вепревой (Свердловск) «Окказиональное членение как способ создания экспрессивного значения слова», Е. В. Рахилиной (Москва) «Собственно-возвратные глаголы в современном русском языке», С. И. Богданова (Ленинград) «Синхронический и диахронический аспекты отражения деривационных отношений во внутрисловных структурах», Н. П. Потаповой (Пермь) «Деривационные отношения в семантической микросистеме однокоренных глаголов]».

На заключительном пленарном заседании были подведены итоги работы конференции. С отчетами о работе секций выступили председатели Б. Ю. Норман (секция синтаксической деривации) и А. Н. Тихонов (секция лексической деривации).

Участники выразили благодарность языковедам Пермского университета за хорошую организацию работы конференции.

Тихонов А. Н. (Москва)

19—20 ноября 1981 г. в Минске проходила конференция «Методы и приемы перевода научно-технической литературы и документации», организованная Секцией научно-технического перевода при Торгово-промышленной палате БССР, Общественным институтом научно-технического перевода, кафедрой иностранных языков АН БССР, Минским областным советом НТО, Минским Домом техники, Минским городским лекторием общества «Знание». Конференцию открыла председатель Президиума Торгово-промышленной палаты БССР Е. Н. Гриневич. В работе конференции приняли участие переводчики, редакторы и специалисты в области научно-технического перевода, представляющие 232 организации и предприятия. На конференции работали две секции (английского и немецкого языков) и четыре практических семинара: проблемы эквивалентности при переводе, стилистические особенности перевода научно-технической литературы, трудности при переводе описаний изобретений, методы и приемы перевода научно-технической литературы и документации.

В прослушанных и обсужденных докладах и сообщениях, вынесенных на пленарные и секционные заседания, а также в сообщениях, вынесенных на стендовый показ в ТПП БССР, нашли отражение основные результаты научной и практической работы в исследовательских центрах, на предприятиях и в организациях. На конференции были рассмотрены важнейшие вопросы теории повышения качества и совершенствования научно-технического перевода и научно-технической терминологии.

В докладе Б. А. Бенедиктова (Минск) «Проблемы психологии перевода» обсуждались важнейшие компоненты теории и практики перевода — понимание, автоматизм мышления, психологические основы навыков перевода и др. Доклад Е. С. Троянской (Москва) «Методы совершенствования перевода научно-технической литературы» был посвящен в основном лингвостилистическим аспектам научно-технического перевода. В докладе Р. К. Миньяр-Белоручева (Москва) «Проблемы обучения научно-техническому переводу» особое внимание было уделено обучению правильному переводу терминов и слов, меняющих значение в зависимости от содержания текста и стиля изложения, а также умению находить соответствия и аналоги понятиям и фоновым элементам в несовпадающих лексико-семантических микросистемах исходного и переводящего языков. В докладе М. Д. Снегиревой (Калинин), В. Освальд и К. Швиртц (Иена, ГДР) «О немецко-русском разговорнике. Прием больного» речь идет о преодолении лингвостилистической разносистемности немецкого и русского языков. Разговорник посвящен обучению немецких студентов-медиков русскому языку в том объеме, который позволил бы им проводить прием русских пациентов, не прибегая к помощи переводчика. В докладе В. Н. Крупнова (Москва) «О некоторых аспектах письменного перевода и терминологии в ООН» отмечались многие трудности перевода специфических внутриведомственных понятий и терминов, функционирующих в подразделениях и комитетах ООН. В докладе Б. Н. Климзо (Москва) «Определитель словосочетаний — необходимый аппарат двуязычного фразеологического словаря» подчеркивалась настоятельная необходимость расширять толковые указатели в словарях, особенно словосочетательного порядка, поскольку новые научные и технические словосочетания нередко выражают (обозначают) понятия и значения, не выводимые из слов, входящих в то или иное данное словосочетание. В докладе В. Д. Ившина (Калуга) «Об упорядочении научно-технической терминологии в переводе и подлиннике» обращено внимание на ответственность переводчиков и редакторов за чистоту и соблюдение лексических норм современного русского языка, особенно в области терминологии, на необходимость повышения общелингвистической культуры переводчиков и редакторов переводных и непереводных изданий. В. П. Скуиня (Рига) в докладе «Термин и контекст» на богатом материале латышской научной терминологии показала, что термин, переходя из сферы фиксаций (терминологические стандарты, списки рекомендуемых терминов, специальные терминологические словари) в сферу употребления, меняет не только свое грамматическое оформле-

ние, но иногда даже и морфологическую структуру. Доклад Ю. В. Ванникова (Москва) «Основные проблемы теории научно-технического перевода» был посвящен ряду аспектов научно-технического перевода на основе накопленных и новейших публикаций и достижений в разработке теории перевода специализированных текстов, относящихся к различным лексико-семантическим микросистемам языков. В докладе С. З. Иванова (Воронеж) «Пути повышения качества научно-технического перевода и производительности труда переводчика» отмечалась актуальность научного и технического совершенствования перевода и особенно его редактирования при подготовке к печати, а также важность разработки вопросов нормирования, научной организации и производительности труда переводчика. Доклад М. Я. Цвиллинга (Москва) «Принцип семантической конденсации при переводе с родного языка на иностранные» был посвящен различным приемам сжатия содержания и структур переводимого текста, что имеет первостепенное значение для сохранения одинаковости размеров текста исходного языка и языка перевода. В докладе В. М. Лейчика (Москва) «Проблемы создания и стандартизации сокращенных слов и словосочетаний» отмечалась неизбежность появления и употребления сокращенных слов стандартного и нестандартного порядка в переводе научных и узкоспециализированных технических текстов. В. Г. Бойко (Москва) в докладе «Особенности перевода перфектных форм английского глагола» на богатом материале научно-технических переводов вскрывает многофункциональность английского перфекта и устанавливает его разнообразные переводческие аналогии в русском языке (взаимодействие времени и вида). Доклад Л. И. Кочегаровой (Москва) озаглавлен «Об адекватности перевода научно-методической литературы (лексика школьного дела)». В нем идет речь о новой, еще не исследованной области — передаче на русский язык терминологии и специальной лексики этого подъязыка, развиваемого в США и Великобритании, устанавливается немаловажная роль «лексического фона» названной лексики при переводе. А. И. Борук (Минск) в докладе «Специальные приемы достижения адекватности как средство преодоления противоречия „содержание — форма“ в процессе перевода немецкой научно-технической литературы» обратился к проблеме создания курса научно-технического перевода. Э. Ю. Даугатс (Лиепая) в докладе «О приемах перевода немецких переходных глаголов» специально остановился на тенденции немецкого языка к транзитивации, показав на многих примерах, сколь разнообразными приемами и средствами должен располагать переводчик при переводе на русский язык. В докладе Б. М. Балина и Г. А. Ободина (Калинин) «О связности научно-технических текстов и приемах их перевода» обсуждаются содержательные логический и композиционный аспекты связности как основные этого функционального стиля.

Конференция завершилась докладом Г. А. Харисановой (Москва) «Перспективы и проблемы выпуска научно-технических словарей», в котором сообщалось об основных задачах и направлениях в издании ряда двуязычных политехнических словарей, запланированных издательством «Русский язык» вплоть до 1985 г.

Ившин В. Д. (Калуга)

CONTENTS

Articles: Trubačev O. N. (Moscow). Linguistics and ethnogenesis of the Slavs. Ancient Slavs in the light of etymological and onomastic data (to be continued); **Towards the 1500-th anniversary of the town of Kiev:** Rusanovskij V. M. (Kiev). The role of Kiev in the history of literary languages of Kiev Russia; Frančuk V. Ju. (Kiev). The Kiev chronicle as a language monument; **Discussions:** Bertels A. E. (Moscow). Subdivisions of the lexicon, semantic fields and thematic groups of words; Azerbajev E. G. (Moscow). On the origin of ordinal numerals in Turkic languages; Winter W. (Kiel). On markedness, normativity and «naturalness»; Sendels Je. I. (Moscow). Compatibility/incompatibility of grammatical and lexical meanings; Arnol'd I. V. (Leningrad). Implication as a means of text patterning and as subject of philological study; **Materials and notes:** Degtjarev V. I. (Rostov-on-Don). Collective nouns and the category of number in the history of Slavonic languages; Grinaveckis V. Z. (Vilnius). Development of accent attraction in Lithuanian dialects; Polomé E. (Austin). Sociolinguistically-oriented survey (on the activity of the Commission for the study of the role of languages and their teaching in East Africa); Ol'derogge D. A., Žukov A. A. (Leningrad). African languages and general linguistics; Golyšenko V. S., Demjanov V. G., Kotkov S. I. (Moscow). On a certain «interpretation» of publications of Old Russian texts; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: Trubačev O. N. (Moscou). La linguistique et l'ethnogénèse des slaves. Slaves anciens selon les données de l'étymologie et de l'onomastique (à suivre); **À la veille du 1500-ème anniversaire de la ville de Kiev:** Rusanovskij V. M. (Kiev). Rôle de Kiev dans l'histoire des langues littéraires de la Russie kiévienne; Frančuk V. Ju. (Kiev). La chronique kiévienne en tant que monument linguistique; **Discussions:** Bertels A. E. (Moscou). Divisions du lexique, champs sémantiques et groupes thématiques de mots; Azerbajev E. G. (Moscou). Sur l'origine des numéraux ordinaux dans les langues turques; Winter V. (Kiel). Formes marquées, normativité et «naturalité» du langage; Sendel's Je. I. (Moscou) Congruité/incongruité des significations grammaticales et lexicales; Arnol'd I. V. (Léningrad). L'implication en tant que moyen de formation de texte et en tant qu'objet de l'étude philologique; **Matériaux et notices:** Degtjarev V. I. (Rostov-sur-Don) Noms collectifs et catégorie du nombre dans l'histoire des langues slaves; Grinaveckis V. Z. (Vilnius). Developpement de l'attraction de l'accent dans les parlers litouanients; Polomé E. (Austin). Une enquête sociolinguistique (sur l'activité de la Commission d'étude du rôle des langues et de leur enseignement en Afrique orientale); Ol'derogge D. A., Žukov A. A. (Léningrad). Langues africaines et linguistique générale; Golyšenko V. S., Demjanov V. G., Kotkov S. I. (Moscou). À propos de quelques «remarques critiques» sur l'édition des monuments linguistiques du vieux russe; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 29.04.82 Подписано к печати 9.07.82 Т-10545 Формат бумаги 70×108 1/16
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 + 1 вкл. Уч.-изд. л. 17,5 Усл. кр.-отт. 87,2 тыс. Бум. л. 5,
Тираж 6115 экз. Зак. 1589

Издательство «Наука», 103717, ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099 Москва, Шубинский пер., 10